НЁМАН

4/2019
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 12.04.2019. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 17,46. Тираж 1060. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +



Алесь КОЖЕДУБ

Мерцание золота[*]

Роман

Часть пятая. Сабля Цадатова

1

Однажды в издательство заглянул мой однокурсник по Высшим литературным курсам Валерий Косенчук.

— Здорово, — сказал он, оглядывая неказистую обстановку моего кабинета. — Как жизнь?

— Живем, — пожал я плечами.

Я знал, что сын Косенчука владеет какой-то финансовой компанией, и презрительная ухмылка на лице однокурсника была, в общем-то, объяснима. «Что за нищета! — говорила она. — Босяк на босяке и босяком погоняет. Когда в этой стране воцарятся мир и достаток?»

— Никогда, — сказал я. — Сам-то давно в князья вышел?

— Чего? — не понял Косенчук.

Среди моих однокашников он был, пожалуй, самой загадочной личностью. До того как стать писателем, Валерий ловил рыбу в дальних морях. А в моря уходили лишь отпетые романтики. Мой жизненный опыт, пусть и небогатый, подсказывал, что романтики частенько оказывались законченными проходимцами. Для них существовали только они сами и личная выгода, то бишь нажива. Во время учебы Валерий надолго отлучался в Барнаул, откуда и приехал на курсы. Поговаривали, что его крепко взяла за одно место тамошняя прокуратура. Я с прокурорами никогда близко не знался, поэтому шашни Косенчука с ними меня не интересовали.

Но вот Валерий выправился, поднял сынка и теперь выглядел как европейский буржуа средней руки: вымытый, хорошо постриженный, в длинном пальто и туфлях на тонкой подошве.

— Еще обязательно нужны дорогие часы, — сказал он, когда мы случайно встретились в Доме литератора.

Я понял, что часы у него на руке дорогие.

И вот он у меня в гостях собственной персоной.

— Надумал издаваться? — спросил я.

— Как ты догадался?! — удивился Косенчук.

— Интуиция, — хмыкнул я.

Валерий притащил рукопись романа листов на тридцать, и я сразу отправил ее на обсчет в производственный отдел.

— Считать по минимуму? — спросила Ольга, заведующая отделом.

— Ни в коем случае! — испугался я. — Задешево он не станет издаваться.

---

[*] Окончание. Начало в № 2, 3 за 2019 г.

— Что, и гонорар закладывать? — изумилась Ольга.

— Тысяч сто пятьдесят, не меньше, — сказал я.

Отчего-то я был уверен, что Валерий не станет возражать против этой суммы.

— Именно столько я и хотел, — кивнул Косенчук, когда взял в руки расчетную ведомость. — Пенсию оформляю.

— Через три месяца получишь книгу, — сказал я. — С золотым тиснением на переплете.

Валерий удовлетворенно хрюкнул. Золотое тиснение было особенно дорого провинциальным литераторам.

— У меня к тебе еще один вопрос, — задумчиво посмотрел в окно Валерий. — Ты ведь знаешь писателя Василя Быкова?

— Конечно, — сказал я. — Он меня в Союз принимал.

— А как ты смотришь, если мы издадим книгу его повестей?

— С золотым тиснением? — уточнил я.

— Ну да, — поколебавшись, сказал Косенчук.

Два золотых тиснения были некоторым перебором в этом литературном пасьянсе, но Косенчук решил быть щедрым до конца.

— И гонорар две тысячи долларов! — хлопнул он ладонью по столу.

«Плохо ты знаешь романтиков, — подумал я, подпрыгнув на стуле. — Они не только умеют ловить селедку, но и кое-что еще. Интересно, на каком из островов Индийского океана он встретит старость?»

— Не люблю острова, — снова устремил свой взор в окно Валерий. — На Лазурном берегу можно неплохо устроиться. Кстати, где сейчас Василь Владимирович?

— Во Франкфурте-на-Майне, — сказал я.

— Тоже хорошее место, — перевел взгляд на меня Валерий. — Поедем?

— С тобой хоть на Острова Зеленого Мыса.

— Я же сказал — острова не люблю. А во Франкфурт поедем. Обсчитывай книгу. Меня поставь составителем. Кроме «Сотникова» у него какие повести?

— «Круглянский мост», «Альпийская баллада», «Обелиск», «Его батальон»…

— Вот так и назовем книгу, — остановил меня Косенчук. — «Его батальон».

— Хорошее название, — согласился я. — Все эти повести и есть батальон Быкова.

Закипела работа. Сначала мы издали, конечно, роман Косенчука. И надо сказать, он был не так плох, как большинство романов нынешних авторов. А для отца сына-финансиста его можно было считать хорошим.

— Отличный роман, — сказал я, передавая увесистый сигнальный экземпляр в руки автора.

— Ты так считаешь? — заикаясь, спросил Валерий Никитович.

У него дрожали пальцы рук, торчком стояла борода, под мятыми брючинами не видно было дорогих ботинок. Золотые часы на руке тоже куда-то пропали.

— Писать романы гораздо труднее, чем ловить селедку, — прохрипел он.

— А скумбрию? — спросил я.

— Эту вообще… — махнул он рукой. — Поехали в ресторан, меня машина ждет.

— Какая машина?

— По-моему, «мерседес». Или «вольво». Я их не запоминаю.

— Не могу, — вздохнул я. — Надо Быкова в типографию отправлять.

— Ладно, — почесал книгой затылок Косенчук. — Во Франкфурте отметим. Ты за границей бывал?

— Бывал, — сказал я. — Польша, Болгария…

— Разве ж это заграница? — засмеялся Валерий. — А книга хорошая.

Он повертел томик перед собой. Золотое тиснение на переплете сверкало так, что было больно глазам.

— Блестит, — кивнул я. — Только теперь и стала понятна истинная цена золотишка.

— Она всегда была понятна, — строго сказал Косенчук. — Хочешь, я скажу Вепсову, чтобы он отпустил тебя со мной?

— Не надо.

Я посмотрел в окно. Червонным золотом сверкали на солнце листья клена. Еще одна осень дохнула на нас холодом. Сколько их тебе отмерено, человек?

— Уже не так много, как хотелось бы, — спрятал книгу в дорогой портфель Косенчук. — Ну, я пошел.

— Давай.

Сборник повестей Василя Быкова вышел в начале февраля. До этого я позвонил Быкову во Франкфурт.

— Повести? — удивился он. — Меня в Москве давно не издавали.

— А в Минске?

— В Минске издают, но только в оппозиционных издательствах. Государственные делают вид, что меня нет.

До Франкфурта Василь Владимирович жил в Хельсинки. Существовала какая-то система грантов, позволяющая некоторым писателям два года жить в одной из европейских стран. Через два года, правда, приходилось возвращаться на родину. Но бывали исключения, как в случае с Быковым. Из Хельсинки во Франкфурт он уехал по персональному приглашению городского магистрата.

— Хорошо, когда ты известен за границей и тебя может пригласить магистрат, — сказал я.

Быков промолчал.

— Через недельку-другую приедем во Франкфурт, привезем несколько пачек книг и гонорар, — добавил я.

— А кто с тобой приедет? — встревожился Быков.

— Составитель книги по фамилии Косенчук. Это он финансировал издание «Батальона».

— Ты его знаешь?

— Вместе на литературных курсах учились.

— Ладно, приедешь — звони. Во Франкфурте есть где остановиться?

— Найдем, — сказал я.

Отчего-то я был уверен, что жить я буду не в худшей из гостиниц города. Так оно и случилось.

— Вылетаешь двенадцатого февраля, — сказал мне по телефону Валерий. — Билет уже куплен, визу тоже оформили. Но несколько дней тебе придется пожить без меня.

— Почему? — удивился я.

— Дела, — туманно объяснил Валерий. — Во Франкфурте ты берешь такси и едешь в гостиницу «Савой». Номер заказан.

Знание немецкого языка у меня был специфическое: «хальт», «хенде хох», «аусвайс», «матка, яйко, млеко, шнапс». Еще у меня в Минске остался

приятель по кличке «Цурюк», то есть, назад. Это было его любимое слово — цурюк.

«Как-нибудь объяснюсь, — подумал я. — Все-таки в школе и университете английский учил. А этот язык во всем мире знают, не говоря уж о финансовой столице Европы».

С этой сомнительной мыслью я и сел в самолет. Взлетали мы в жуткую пургу. По взлетной полосе гуляла поземка, низкие тучи едва не волочились по земле.

«Как они летают в такую погоду?» — думал я, пялясь в слепой иллюминатор.

Я был автолюбитель и твердо знал, что ехать надо по дороге, которую видно в окно. Здесь не было видно ничего. Однако «боинг» уверенно пробил пелену облаков, засияло солнце. На душе стало спокойнее.

А Франкфурт и вовсе встретил настоящей весной. На газонах зеленела густая трава, люди на улицах были одеты в легкие куртки. Деревья в окрестных лесах, правда, были еще голые.

«Хоть это как у нас, — подумал я. — Еще бы снежку маленько подсыпать, да медведя с балалайкой, да мужика в шапке-ушанке…»

— Цурюк! — услышал я чей-то голос.

Да, в небесной канцелярии выдавать немцам снежок категорически отказывались. То ли не заслужили, то ли не вышли рылом. Ну и ладно.

Я получил в багажном отделении сумку с книгами и прошел фейс-контроль. Внимательный взгляд немецкого пограничника отчего-то отозвался холодком в животе.

«А ведь помню оккупацию, — подумал я. — Все-таки она есть, эта генетическая память».

— Яволь, — отдал паспорт пограничник.

Мне показалось, он усмехнулся.

В отеле «Савой» все, от швейцара до портье, были то ли индусы, то ли пакистанцы. Мне полегчало. Черные глаза на смуглых лицах определенно были добрее, чем водянистые глаза на белых.

Я принял душ и позвонил Быкову.

— Приезжай, — сказал он. — Где твой отель находится?

— Возле вокзала.

— Садись в метро и езжай до «Гауптвахты», так остановка называется, оттуда пешком. По сравнению с Москвой Франкфурт маленький город.

С грехом пополам я разобрался в схеме городского транспорта, доехал до гауптвахты и направился к дому, где жил Быков.

Город производил двойственное впечатление. С одной стороны, впечатлял деловой центр. Верхние этажи «Дойч-банка», «Коммерц-банка» и прочих солидных учреждений терялись в облаках. Неподалеку торговые центры, заполненные людом. А вот улочки, в которых жили бюргеры среднего достатка, были вполне милы и уютны.

«Хороший город, — подумал я. — В нем можно и жить, и работать. А Майн и вовсе похож на Днепр в Речице».

У меня это была высшая оценка для реки. Днепр в Речице был не такой маленький, как в Смоленске, и не так широк, как в Киеве. Я еще не задумывался, в каком из земных уголков хотел бы встретить старость, но могилы моих дедов и прадедов на высоком берегу Днепра кое о чем говорили.

«Да подождите вы! — отмахивался я. — В Париже еще не был. Да и в Нью-Йорке…»

О Нью-Йорке я думал, конечно, смеясь. На что нам что, когда у нас вот что.

И тем не менее, сейчас я шел по Франкфурту-на-Майне и усиленно вертел головой. Впрочем, дома — они всюду дома, хоть в Москве, хоть в Минске, а хоть бы и в Ганцевичах, где я родился.

А вот симпатичные девушки на улицах мне не попадались.

«Куда они попрятались? — думал я. — Не может быть, чтобы во Франкфурте, не самом, между прочим, маленьком городе Германии, не было ни одной симпатичной девушки».

— Вон! — обрадовался я. — Целых две!

Я догнал двух семенящих передо мной девиц. Но симпатичными они оказались только сзади. Анфас это были вполне заурядные белобрысые особы.

«В Москве будешь на девиц пялиться, — одернул я себя. — Или хотя бы в Минске».

Быков встретил меня, можно сказать, с распростертыми объятиями. Последний раз мы виделись лет пять назад, и мне показалось, что он почти не изменился.

— Постарел, — вздохнул он. — Да и доктора… А вот ты точно не изменился.

— Маленькая собачка до старости щенок, — сказал я. — А что доктора?

— Потом, — отмахнулся он.

Я выдал Быкову пачку книг «Его батальон», конверт с долларами и свою книжку, которая называлась «Могила для директора кладбища».

— В Москве все не так, как у других, — усмехнулся он, рассматривая обложку моей книги, на которой и девица в кружевных чулках, и оптический прицел снайперской винтовки. — Про гонорары вообще молчу. Откуда они у вас?

— Оттуда, — показал я пальцем в окно. — На днях зашел в банк поменять сто баксов. Передо мной мужчина невзрачной наружности выкладывает из саквояжа пачки долларов. «Здесь, — говорит, — должно быть тридцать тысяч». Охранник подскочил и отвел меня на пять метров от кассы.

— Ты вроде не похож на уголовника, — прищурился Быков.

— В Москве не разберешь, где писатель, а где бандит, — сказал я. — Это во Франкфурте все понятно.

— Здесь тоже можно жить, — кивнул он.

Жилище классика белорусской литературы было обставлено более чем скромно. Стол, два стула, шкаф с книгами, в углу светится монитор компьютера, тоже не самого дорогого.

— А где супруга? — спросил я.

— Пошла по магазинам, — отвел взгляд Василь Владимирович.

Я понял, что супруга со мной видеться не пожелала. Ну и ладно.

— Пойдем пить пиво, — сказал Быков. — Есть здесь одно местечко…

Я вспомнил, что Быков любил пиво еще с тех времен, когда жил в Гродно. Об этом мне рассказал Черняк, который работал с ним в «Гродненской правде».

— Однажды взяли с ним десять кружек на двоих, — вспомнил он. — А выпили только шесть.

— Куда остальные дели?

— Отдали соседям по столику. У них глаза на лоб вылезли.

— Еще бы, — усмехнулся я. — В те времена одна кружка пива считалась счастьем, а тут целых четыре.

— А ведь он тогда даже классиком не был, — кивнул Черняк. — Добрейшей души человек.

Пивная, которая нравилась Василю Владимировичу, находилась на Ремер-пляц, историческом центре Франкфурта.

— Площадь римлян, — сказал Быков. — Это ведь они город основали. Вернее, внесли его в свои анналы. А поселение, конечно, и при варварах было.

— Для римлян все варвары, хоть германцы, хоть славяне, — согласился я. — Не исключено, правда, что первыми здесь были как раз славяне.

Василь Владимирович промолчал. Мой панславизм, видимо, ему не понравился. Но это и понятно, в Европах проживает.

— Так что все-таки говорят доктора? — вернулся я к беспокоящему меня вопросу.

— Сказали, год остался, — посмотрел мне в глаза Василь Владимирович.

Как фронтовик, он никому не боялся смотреть в лицо.

Мне стало не по себе.

«Могли бы и промолчать, — подумал я. — Иногда ложь бывает лучше правды. Тем более, такой».

— Не бывает, — сказал Быков. — Зато знаешь, что нужно все отбросить и заниматься главным.

— Подбивать бабки?

— Именно.

Я понял, что говорить об этом ему не хочется. Да и мне не хотелось бы. Есть вещи, о которых не говорят.

Пиво, кстати, здесь было отменное. Но оно в Германии всюду отменное.

— Может, рюмку водки? — предложил Василь Владимирович.

— Не откажусь.

— Я бы тоже выпил, но сам понимаешь…

Я кивнул.

— А в Гродно пиво было лучше, — вздохнул Быков. — Интересно, осталась та стекляшка над Неманом?

Теперь я промолчал. У каждого из нас были свои стекляшки.

В последующие дни мы встречались у здания гауптвахты и гуляли по городу. И в какую бы сторону мы ни шли, в конце маршрута неизменно оказывались в пивной на Ремер-пляц.

— Нечистик нас кружит, — усмехался Быков. — Здесь они тоже есть.

— А как же, — соглашался я.

В один из дней погода испортилась, густо повалил снег, под ногами хлюпало, словно мы в Беларуси, а не в Германии, но нам это не мешало.

— Очень странные деревья, — показал я на аллею платанов.

— Вячеслав Адамчик назвал их узловатыми деревьями, — сказал Быков. — Помнишь Адамчика?

— Конечно, — усмехнулся я. — Записывал его, когда работал на телевидении.

— И что? — покосился на меня Василь Владимирович.

— Хороший писатель, — не стал я вдаваться в подробности. — Несколько мрачноват, правда.

— Как и вся деревенская жизнь, — хмыкнул Быков. — Не зря молодежь из деревни в город бежит. Я и сам…

Он замолчал.

«А кто из нас не «сам»? — подумал я. — Некоторые вообще из Ганцевичей прямиком в Москву дунули».

— Я вот мотаюсь по заграницам, а помирать приеду на родину. — Быков остановился. — Мне моя деревня уже и снится. Нищета, голод, а лучшие годы все одно там остались. Тебе еще не снится?

— Нет.

— Молодой. Ты как к новой белорусской мове относишься?

Я уже знал, что при разговорах с классиками нужно быть готовым к любым поворотам.

— Резко отрицательно, — сказал я.

— Почему? — удивился Быков.

— Белорусы в своей массе еще «наркомовкой» не овладели, а им предлагают учить «тарашкевицу». Я никогда не стану писать «плян» или «лёгика».

— Мне тоже привычнее план и логика, — согласился Быков. — Но мягкость я бы оставил. Мы же говорим «сьнег», а не «снег».

Мы оба посмотрели себе под ноги.

— Откуда он здесь в феврале взялся? — изумился Быков.

— Вместе со мной из Беларуси прилетел.

Хотя на самом деле во Франкфурт-на-Майне я прибыл из Москвы.

— Да, на Беларуси пчелы как гуси, — вздохнул Василь Владимирович. — Откуда у нас эта спесь?

— От поляков набрались, — сказал я. — Или от русских империалистов.

Быков крякнул. Давненько, видимо, с молодежью не общался.

В быстро синеющем воздухе рисовалась бесконечная шеренга платанов с растопыренными сучьями-ветками, на которые густо налип снег. А вот Майн так и не тронуло льдом. Да что с них взять, с немцев. В Европе живут. Погибель европейцев в том и кроется, что, разомлев на солнышке, они рвутся покорять Россию, скованную льдами.

Но с Быковым на эту тему лучше не говорить. Он уже далеко отдрейфовал на своей льдине в южном направлении.

На следующий день я проснулся от громкого стука в дверь.

«Приехал», — подумал я сквозь сон.

На пороге действительно стоял Косенчук.

— Шампанское пил? — строго спросил он.

— Какое шампанское? — не понял я.

— На завтрак здесь бесплатно дают шампанское, — объяснил Валерий. — Разве тебе не сказали?

— Я не говорю по-немецки.

— Одевайся, и пойдем в ресторан. А потом к Быкову. Я уже с ним созвонился.

«Кончилась идиллия, — подумал я. — Писатель при деньгах — это худший вариант нового русского».

И я оказался прав. Косенчук пил на завтрак шампанское. В пивной на Ремер-пляц, куда мы пришли с Быковым, он подозвал к себе официанта, велел наклониться к себе, взялся двумя пальцами за «бабочку» и сильно дернул.

— Я думал, «бабочка» пришита, а она оказалась на резинке, — объяснил он нам свой поступок.

Странно, но официант при этом весело смеялся. «Турок», — подумал я.

В ресторане во время обеда Косенчук всякий раз заказывал коньяк, но кончалось все водкой.

— Это потому, что мы русские, — говорил он мне наутро, дрожащей рукой поднося ко рту бокал с шампанским. — Ты почему не пьешь?

— Не хочу.

— Совсем? — тяжело отдувался Валерий. — А я весной покупаю квартиру в Ницце. Приедешь?

— Обязательно, — кивнул я.

Я знал, что с пьяным человеком, особенно таким, как Косенчук, нельзя спорить.

Однажды вечером мы с ним отправились в сауну в нашем отеле, которая тоже входила в перечень бесплатных услуг.

— Нужно алкоголь из организма выгнать, — сказал Валерий.

Я с ним согласился.

Сауна находилась на последнем этаже здания. Перед входом в парилку бассейн с голубой водой. На шезлонгах две девушки топлес, судя по внешности, немки. Сквозь прозрачную крышу видны облака, плывущие по небу. Красота!

Валерий покосился на девушек, осуждающе покачал головой и прошествовал в парилку.

Я знал, что здесь парятся голышом, и разделся как все.

— А я не могу, — сказал Валерий. — Воспитание не позволяет.

Трусы у него были до колен.

Мы вошли в парилку.

Немка, лежавшая на полке, с ужасом посмотрела на Косенчука и судорожно натянула на себя простыню. Через минуту ее в парилке не было.

— Даже и не знаю, чем у них все кончится, — сказал Валерий, взбираясь на полок. — Про гей-парады слыхал?

— Слыхал.

— Ты бы надел трусы. Мы все ж русские.

— Но в Германии, — возразил я. — Здесь даже деревья другие, не только люди.

— Пойду в бар, — сказал Валерий. — Не нравится мне их сауна.

— В Ницце, думаешь, другая? — спросил я.

— В Ницце пальмы и пляж, — объяснил мне разницу Косенчук. — Черных, правда, много.

«Их и здесь хватает», — подумал я.

Мне в парилке было хорошо. В молодости я занимался борьбой и частенько гонял в парилке вес, но стоградусную жару, как ни странно, не возненавидел. А здесь и ста не было, от силы восемьдесят.

В парилку вошел пожилой немец и о чем-то спросил меня.

— Нихт ферштейн, — пробормотал я.

Я уже привык, что немцы, в основном люди в возрасте, обращались ко мне с вопросами. Происходило это не только на улицах, но и в магазинах.

— А ты на них похож, — сказал Быков, когда я пожаловался на излишнее внимание к своей персоне. — Здесь полно таких носатых и пучеглазых.

— Но я же радимич, а не прусак.

— А кто об этом знает?

На лице Быкова промелькнула тень улыбки. У меня защемило сердце. Эта тень отличала белорусов от всех прочих национальностей.

— Вернешься в Москву — передай от меня привет Бочкареву, — сказал Василь Владимирович. — Мы ведь с ним не ссорились.

— Обязательно, — сказал я. — Фронтовикам вообще делить нечего.

— Это как сказать, — вздохнул Быков. — С иным писателем-фронтовиком я уже за один стол не сяду.

Он замолчал.

«Жизнь на чужбине для писателя никогда не была сладка, — подумал я. — Может, у одного Набокова. Про белорусов и говорить нечего».

— Между прочим, из-за тебя моя жена пиццу сожгла, — сказал Быков.

— Из-за меня? — удивился я.

— Поставила в духовку пиццу и начала читать твою книгу. Очнулась, когда уже вся квартира в дыму.

У меня загорелись уши. Не каждый день твоим рассказам такие комплименты отвешивают.

— Я готов заказать пиццу прямо сейчас, — сказал я.

Мы сидели в любимой пивной Василя Владимировича. Косенчук отсыпался у себя в номере.

— Обойдусь кружкой пива, — усмехнулся Быков. — Я тоже посмотрел книжку. Для белорусского писателя у тебя хороший русский язык.

— Так ведь тоже живу в эмиграции, — кивнул я, подзывая официанта. — Цвай бир, битте.

— Два пива, — улыбнулся официант.

Он был то ли поляк, то ли юг, то есть из Югославии, наш человек, одним словом.

На следующий день я улетел в Москву.

— А я остаюсь, — сказал Косенчук, прощаясь со мной. — Еще пару дней с Быковым пообщаюсь — и в Ниццу.

«О чем они говорят, когда остаются вдвоем? — подумал я. — Неужели о судьбе родины, которую один уже покинул, а второй только собирается?»

Но вслух говорить об этом я не стал. Каждый имеет право на свою маленькую тайну.

2

На улице Воровского, которая вновь стала Поварской, я встретил Белугина.

— Привет медальерам! — помахал я ему рукой.

— Ты что тут делаешь? — спросил он.

— Работаю, — удивился я. — И живу.

За все эти годы я так и не привык, что моя работа и комната, в которой я прописан, находятся на одной улице. Да какой! Когда-то это был кулинарный центр столицы — улица Поварская, а вокруг Хлебный, Калашный, Столовый, Скатерный и Ножовый переулки. Как говорится, ешь — не хочу.

В своей комнате, что на четвертом этаже в доме номер восемнадцать, я, конечно, не жил, но бывал. В романе «Мастер и Маргарита» Булгаков квартиру на Садовой называл нехорошей. Моя комната на Поварской могла смело претендовать на статус неудачной.

Я пытался ее сдавать, но разве мои соседки позволят это сделать? Они не гнушались поменять замок в общей входной двери и потом под разными предлогами не давали мне ключ.

— Ты хочешь меня выселить? — допытывался я у Любки, той самой, что держала здесь притон.

— А ты здесь все равно не живешь, — отвечала она.

— Но я прописан.

— Подумаешь! У нас туберкулезного прописали, а мы не пускаем.

— Так, или ключ, или я прихожу с участковым.

— Бери, — достала она из заднего кармана джинсов ключ. — Уже и пошутить нельзя.

— Стукну, что ты проституток держишь, тебя саму выселят.

— Не стукнешь, — ухмыльнулась Любка. — На проституток ни у кого рука не поднимется.

Она, конечно, была стерва, но рассуждала вполне здраво.

— А что за туберкулезный в кухне шьется?

— Из заключения вышел. Куда-то ведь надо прописать, решили к нам. У нас ведь полно пустых комнат. Слушай, у тебя нет человека, чтоб пришил его? Я заплачу.

— Я этих твоих шуток не понимаю, — сказал я. — В доме напротив работаю.

— А там суд, — снова ухмыльнулась Любка. — Они убийц каждый день на заседания привозят. Можно договориться с любым из них.

— У нас, напротив, сначала издательство, а потом уже суд. Как это тебя до сих пор не посадили…

— Не дождешься! — расхохоталась Любка. — Ладно, некогда мне с тобой лясы точить. Жалко, что ты не хочешь договариваться.

С такими, как Любка, я действительно договариваться не хотел и не умел.

Но и посвящать Белугина в свои квартирные передряги тоже не имело смысла.

— Особняк построил? — спросил я.

— Какой особняк? — покосился на меня Белугин.

— Ну, какой… Как у Балбесова, например.

— Сейчас не до особняков, — тяжело вздохнул Владимир Ильич. — Вон сколько народу перемерло: Славка, Сашка, Серега… И все, заметь, молодые.

— Так ведь бизнесмены, — тоже вздохнул я. — Сам говорил: удел избранных. Но ты лично не пропадешь. Медальеры во все времена хорошо жили.

Владимир Ильич испытующе посмотрел на меня. Он не мог понять, насколько глубоко я погружен в тему.

— Ладно, — сказал он. — Что слышно во Внуково?

— А что Внуково, — пожал я плечами, — живем. Провели газ, пристройки соорудили. У Бочаренко она намного больше, чем у меня.

— У него Маринка богатая, — сказал Белугин. — Слушай, твою коммуналку еще не расселяют?

Я поразился его проницательности. Все-таки не зря он стал бизнесменом.

— Началось, — кивнул я. — Какие-то маклеры с брокерами появились.

— Так ведь центр города, — назидательно поднял вверх указательный палец Белугин. — Смотри, не продешеви.

Вокруг нашей одиннадцатикомнатной коммуналки действительно началась суета. Соседки ничего мне не говорили, но шила в мешке не утаишь. И, в конце концов, маклерша сама вышла на меня.

— Что вы хотите за свою комнату? — спросила она.

— Квартиру, — сказал я.

— Какую? Где? — терпеливо допытывалась она.

— Ну, какую… Трехкомнатную все равно не дадите. Район — метро «Юго-западная».

— Дорогой район, — вздохнула она. — И мы не даем, а покупаем. Вы здесь один прописан, значит, и квартира однокомнатная. Ладно, будем искать.

На какое-то время она пропала. А соседки определенно нервничали. Во-первых, они перестали со мной разговаривать, а во-вторых, переругались между собой.

— Хальт! — как-то заступил я дорогу Алевтине, пытавшейся прошмыгнуть в кухню.

— Ничего не знаю… — попятилась она в свою комнату.

Я вынужден был схватить ее за руку.

— Что происходит? — спросил я, глядя на Алевтину в упор.

— Трехкомнатную хочет! — округлила глаза Алевтина. — А у самой девятнадцать метров и один сын прописан.

— У тебя тоже одна дочка.

— Я хочу двухкомнатную.

— А район?

— Где-нибудь в Строгино…

— Туберкулезный тоже в Строгино?

— Он в больнице. Может, и не дождется квартиры.

— Понятно, у нас выживает сильнейший. А кто нашу квартиру покупает?

— Не знаю, — пожала плечами Алевтина.

Похоже, ей и в самом деле было плевать, кто позарился на эту добитую коммуналку. А мне — нет, поскольку я въехал в комнату последнего из Званских. Именно ему, председателю Российского музыкального общества, принадлежала когда-то эта красота из одиннадцати комнат.

— А его расстреляли, — сказала Алевтина.

— Откуда ты знаешь? — удивился я.

— Да уж знаю, — показала мне язык Алевтина. — И пьяницу, вместо которого ты въехал, тоже знаю.

— А про то, какой конец ждет тех, кто слишком много знает, тебе известно?

— У меня чайник в кухне! — попыталась отодвинуть меня бедром Алевтина.

Была она крупная и мягкая, а такие дамочки мне никогда не нравились.

— Иди, — пропустил я ее. — Но запомни — у них длинные руки.

— У кого? — остановилась Алевтина.

— У новых русских. Отберут комнату, а саму по башке и в канализационный колодец.

Между прочим, про канализационный колодец я не выдумал. У нас во Внуково из одного такого колодца достали старичка, квартира которого была приватизирована бандюганами из Солнцево. Теперь мимо этого колодца я проходил не то чтобы с опаской, но с неприятным чувством.

— Наша Татьяна нормальная, — сказала Алевтина.

— Маклерша? — усмехнулся я. — С виду они все нормальные. А что за квартиры нам всучат, никто не знает.

— Думаешь, обманут? — запахнула на груди халат соседка.

Ей вдруг стало зябко.

— Ты откуда в Москву приехала?

— Из-под Рязани.

— Ну и сидела бы там.

— Так ведь у нас ни мужиков, ни работы.

Она стремительно повернулась и исчезла в темноте коридора.

В Москве, конечно, с мужиками и работой было проще. Но у Алевтины не было мужика, а у Любки работы. Обе, правда, не сильно горевали об этом.

— У Любки мужики приходящие, — донеслось из темноты.

— У тебя и таких нету, — сказал я.

— А нам и не надо.

В принципе, мне было все равно, есть у моих соседок мужики или нет. А вот квартирный вопрос волновал.

— Так кто все-таки покупает нашу квартиру? — спросил я маклершу при следующей встрече.

— Не знаю, — спрятала она глаза.

«Врет», — понял я.

— Все равно ведь узнаю.

Татьяна зыркнула по сторонам, вздохнула, притянула меня к себе и жарко дохнула в ухо:

— Березовский.

Вот это было похоже на правду. Никто другой одиннадцатикомнатную квартиру с дырами в потолке потянуть не мог, только секретарь Совета безопасности.

— Пусть берет, — сказал я, — богачам тоже жить надо. А у нас и суд, и казино, Кремль рядом. Хорошее место.

— Вам бы только смеяться, — осуждающе взглянула на меня Татьяна, — а я уже с ног сбилась. Поедем завтра квартиру на Волгина смотреть.

Вот так, потихоньку-полегоньку, я и отправился из центра на запад столицы. Но это был типичный маршрут для большинства москвичей. Страна медленно, но верно переваливалась на рельсы капитализма. Советские рельсы уперлись в тупик, теперь надо было как следует потрястись на капиталистических ухабах.

— Паркет забирать будешь? — спросил Белугин, когда я сказал ему о переезде.

— Какой паркет? — опешил я.

— У тебя же квартира старая, значит, и паркет наборный, — растолковал Владимир Ильич. — Если забирать не хочешь, продай. У нас же рынок.

Я понял, что медальеры все же сильно отличаются от писателей.

— А что, и возьму, — сказал Васильев, когда я ему заикнулся о паркете. — Бесплатно, конечно.

— Бери, — махнул я рукой.

Я знал, что бизнесмен из меня не получится ни при каких обстоятельствах, поэтому легко мирился с материальными потерями.

Впрочем, в России действовали законы, отличные от западных. В ней, например, везло дуракам, и в строгом соответствии с этим постулатом нам на голову упала машина.

По какому-то немыслимому бартеру Алене на работе выделили автомобиль.

— Как лучшему редактору? — уточнил я.

— Наверное, — пожала она плечами.

Я в бартерах ничего не понимал и не сильно удивился, что за пару вагонов с книгами издательство получило от ВАЗа несколько машин.

— Когда едем получать? — спросил я.

— Завтра, — сказала жена.

— Куда?

— В Яхрому.

Ну что ж, в Яхрому так в Яхрому. Хорошо уже, что не в Набережные Челны.

В Яхрому мы поехали на машине Леонида, брата Алены. Перед тем как в нее сесть, я положил в сумку «Книгу рекордов Гиннесса», только что вышедшую в издательстве Алены.

В техцентре было полно народу. На обозрение там была выставлена красная «пятерка». В наших документах тоже значилась «пятерка».

— Будем брать эту? — спросила жена.

Она мало что понимала в машинах, но в ее словах я уловил легкий оттенок презрения.

— Сейчас, — сказал я.

Я подошел к мужику, который был здесь кем-то вроде бригадира. Он беседовал с покупателями и время от времени выгонял из ворот отобранные машины.

— Про «Книгу рекордов Гиннесса» слыхал? — спросил я.

— Чего? — покосился на меня мужик.

— Глянь.

Я достал из сумки книгу.

Мужик быстро пролистал ее, засунул за пазуху и отворил маленькую железную дверь в стене.

— Пойдем, — сказал он.

За дверью находился ангар, в котором ровными рядами стояли черные машины.

— У тебя какая? — спросил мужик.

— «Пятерка».

— Эта пойдет?

— Пойдет.

— Иди плати.

Он дал мне какие-то бумаги. Я помчался в кассу.

— Это наша машина? — не поверила своим глазам Алена, когда я открыл перед ней дверь. — Откуда здесь черные «Жигули»?

— Оттуда, — сказал я.

Я и сам не знал, по какому верховному распоряжению в Яхрому прибыла партия черных «Жигулей». Поговаривали, что на таких по ВАЗу разъезжало начальство. Однако факт оставался фактом: домой мы ехали на черной «пятерке».

Леонид, кстати, долго не верил, что нам досталась черная машина. Он вообще считал, что мы его разыгрываем, когда я попросил отвезти нас в Яхрому.

— Сейчас никто ничего никому не дает, — сказал он. — Какая, к черту, машина?

— У нас бартер, — объяснил я. — А по бартеру можно все.

— И по бартеру нельзя, — уперся Леонид.

— Поехали, сам увидишь.

Леня увидел — и все равно не верил.

— Не может быть, — ошалело вертел он в руках паспорт транспортного средства.

— Вот, написано: владелец Елена Георгиевна, — показал я.

— Она же черная!

— Да, так и написано: черная.

— Но ведь ты простой писатель!

— Хуже, чем простой, но мне и не дали. Бартер у Елены Георгиевны.

Леонид захлопнул дверь «Нивы» и укатил, не дожидаясь нас. Чувствовалось, эта история выбила его из колеи.

— Куда поедем? — спросила жена, усаживаясь рядом со мной.

Она легко освоилась в своем новом автомобиле.

— Домой, — сказал я. — Завтра поедем ставить машину на учет.

— Поехали, — покорилась жена.

В принципе, она легко бы поехала и на неучтенной машине. Но лучше, чтоб все было по закону.

Я тоже долго не мог привыкнуть, что у меня черная «пятерка». Несколько раз у нас пытались ее купить. Как только я подъезжал к какому-нибудь автоцентру, ко мне тут же подскакивал человек кавказской наружности.

— Продашь?

— Не продается, — захлопывал я дверь.

— Хорошие деньги дам.

— Тем более.

Итак, к миллениуму я подкатывал на черном автомобиле. Но до него было еще несколько лет. А во времена миллениумов один год считается за два, если не за три.

Жить в эти времена было интересно, но очень опасно.

3

Однажды ко мне в издательство пришел Володя Виллинович.

— Хочу книгу издать, — сказал он.

— Хорошее желание, — похвалил я его.

— Надо рассказать, как русские осваивали Прибалтику, — объяснил он. — А то про одних немцев пишут.

— Ты из Риги?

— Из Таллина. Один из моих прадедов был начальником конницы в Великом Княжестве Литовском.

— Белорус?

— Тогда белорусов не было, — уклонился от прямого ответа Виллинович.

Это было правдой. Ни белорусов, ни украинцев, ни даже литовцев в Великом Княжестве Литовском не было, одни литвины. И как ни странно, русские, которые назывались русью.

— Какие крови в тебя влиты за тысячу лет? — спросил я.

— Польская, татарская, финская, — стал загибать пальцы Володя. — Наверно, и без немецкой не обошлось.

— А эстонская?

— Этой нет! — открестился он.

— Чем в советские времена занимался?

— Заведовал корпунктом в Копенгагене, — не стал таиться Володя.

Что он птица высокого полета, и так было видно. Не то что мы, воробьи.

— В Таллине бывал? — спросил Виллинович.

— Снимал как-то, — вздохнул я.

Работая на белорусском телевидении, я неделю таскался по Таллину, снимал старый город, море и писателей, которые могли говорить по-русски. Жил, между прочим, в гостинице «Олимпия».

— Приглашаю, — сказал Володя. — Скоро будет вручение премии Достоевского, так что милости просим.

— За твой счет? — удивился я.

— Конечно. Жить будешь в гостинице в центре города. Сегодня же пришлю приглашение.

— Зачем приглашение?

— Для оформления визы, — теперь пришел черед удивляться Володе. — Ты ведь про Эстонию еще ничего не писал?

— Нет, — сказал я.

— Тогда с визой проблем не будет.

— А если бы написал?

— Возможны варианты, — посмотрел в окно Виллинович. — Молодые демократии гораздо обидчивее, чем старые. Отслеживают все, что о них пишут. А ведь в политике сейчас одни дураки, особенно в Европе.

В консульстве Эстонии мне действительно без проблем выдали визу, и я отправился в гости к Виллиновичу.

— Ты приехал на день раньше, чем остальная делегация, — сказал Володя, встретив меня на железнодорожном вокзале. — Но я это специально сделал.

— Зачем?

— Поможешь оргвопросами заниматься.

Я заселился в гостиницу, которая и вправду была в центре города, и мы поехали по делам.

— Нужно заказать дипломы для премии, — сказал Володя, садясь в «мерседес». — А на русском языке это не так просто.

— Город изменился, — согласился я, вертя головой. — Вывесок на русском совсем не осталось.

— Не только вывесок, — хмыкнул Виллинович.

Мы подрулили к фирме, которая занималась изготовлением дипломов. Девушка, сидевшая за конторкой, была настолько хороша, что я раскрыл рот, уставившись на нее.

«В советские времена таких хорошеньких здесь не было», — подумал я.

Володя произнес длинную тираду на эстонском языке, из которой я понял только слово «Достоевский».

— Нет, — сказала девушка, легонько покраснев.

В смущении она была еще более прекрасна.

— Представляешь, — повернулся ко мне Виллинович, — она не знает, кто такой Достоевский.

— Неужели?

Я и так смотрел на девушку широко раскрытыми глазами, но здесь они чуть не вылезли из орбит.

Володю мой вид рассмешил.

— Она не училась в школе? — спросил я.

— В эстонских школах Достоевского не изучают.

— А кого?

— Наверное, Шекспира.

Володя снова заговорил по-эстонски.

— Шекспира тоже не знает, — сказал он мне.

Меня это как-то утешило. Не знать только Достоевского — это одно, Достоевского вместе с Шекспиром — совсем другое.

Девушка, уже вовсю полыхавшая румянцем, поднялась и вышла в соседнюю комнату. Фигура у нее была еще лучше, чем раскрасневшееся личико.

Девушка вернулась и протянула Володе лист с напечатанным текстом. На меня она подчеркнуто не смотрела.

«Боится, что ее привлекут за связь с русским оккупантом», — подумал я.

— На, прочитай, — протянул мне лист Володя.

Я прочитал и вычеркнул лишнее «с» в фамилии Достоевского.

— Да, наш Достоевский отличается от их Достоевского, — кивнул Володя.

— Зато посмотри, какая у нее попка, — сказал я. — Хорошо, что она совсем не понимает по-русски.

Девушка закашлялась, схватила со стола стакан с водой и убежала в соседнюю комнату.

— Про попку они на любом языке понимают, — ухмыльнулся Володя, — но тебе можно, ты гость.

Я и сам это знал.

Володя расплатился, мы взяли дипломы и отправились в магазин, в котором продавались рамки для дипломов.

— Его держит вместе с женой мой приятель, — сказал Виллинович. — Между прочим, русский. Очень хороший художник.

В этом магазине не только продавались рамы и рамки, но была и мастерская, устроенная как салон. Я походил по нему, поглазел на картины.

Хозяин с хозяйкой исподтишка наблюдали за мной.

«Волнуются», — подумал я.

— Хорошие картины, — громко сказал я Володе. — Русские, но с прибалтийским акцентом. Мне вон то море нравится.

Я показал на самую большую картину.

Хозяин расцвел, вышел из салона и вернулся с бутылкой коньяка. В руках его жены неизвестно откуда появился поднос с бутербродами.

«Нет более прямого пути к сердцу художника, чем грубая лесть», — подумал я.

— Его фамилия Зайцев, — сказал Виллинович. — Взял бы фамилию жены, уже давно получил гражданство. А так всего лишь вид на жительство.

— У тебя тоже вид? — поинтересовался я.

— Я в пятом колене местный! — оскорбился Володя. — В Рийгикогу половина моих одноклассников сидит.

— Где-где?! — поперхнулся я коньяком.

— В парламенте. Все до одного националисты. Я с ними борюсь.

— Да, с националистами надо бороться, — согласился я. — Лучше, конечно, перестрелять или хотя бы посадить в тюрьму.

Володя покосился на меня и ничего не сказал. Чувствовалось, политкорректность для него была не пустым звуком.

— За Россию! — провозгласил тост Зайцев.

Его рыжая борода походила на пылающий факел.

Все с воодушевлением выпили.

— Здесь все русские? — спросил я Володю, оглядываясь по сторонам.

— Эстонские русские, — уточнил он. — Это ведь Таллин.

— Да, Ревель, — вспомнил я. — В начале тринадцатого века здесь правил полоцкий князь Вячко. Генрих Латвийский называл его королем.

— Он сидел в Юрьеве, — сказал Володя. — Тарту далеко от Таллина.

Я знал, что «далеко» и «близко» — это философские категории, и не стал дискутировать на эту тему. Хотя интересно было бы узнать, как Вячко добирался сюда из Полоцка. Впрочем, Генрих Латвийский тоже не самолетом летал.

— Все, заканчиваем, — распорядился Виллинович. — Нас ждут в Пюхтицком монастыре.

— Где? — удивился я.

— В женском монастыре. Его настоятельница — моя хорошая знакомая.

Слово «женский» меня как-то успокоило. В конце концов, не я здесь заказываю музыку. А в монастырях я еще не бывал, тем более женских.

— Мы торопимся? — спросил я Володю, глядя на столбы, мелькающие за окном машины.

— На обед, — сказал Виллинович. — Я обещал не опоздать к обеду.

— Сейчас ведь пост, — вспомнил я.

Я знал за собой эту особенность: иной раз меня заклинивало на ерунде. Я вдруг вспоминал о вещах, помнить о которых было совсем не обязательно. Более того, о них лучше было как раз не вспоминать, но меня, что называется, несло. И я называл Таллин Ревелем, Тарту Юрьевом, а перед обедом начинал рассуждать о посте.

— В монастырях и в пост хорошо кормят, — сказал Володя. — А мы с тобой вообще гости.

— Жданые?

— Ну да, вроде татар.

В монастыре нас действительно ждали. Одна монашка торопливо отворяла ворота, вторая бежала перед машиной, показывая, где припарковаться, третья вела к величественным поленницам дров, похожим на замковые башни, четвертая помогала разоблачаться перед покоями, из которых вкусно пахло.

Мы сели за стол одновременно с настоятельницей.

«Однако!» — подумал я, окидывая взглядом открывшуюся картину.

Картина действительно впечатляла. Грибы, капуста, картошка, кулебяки, моченые ягоды и яблоки, — всего было в избытке. Молоденькая послушница внесла блюдо с запеченной семгой.

Девушка была чудо как хороша: алебастровая кожа, ясные глаза, гибкий стан. Под платьем с глухим воротником угадывалась высокая грудь.

Наверное, она сделала что-то не так, потому что настоятельница метнула на нее грозный взгляд. И без того бледная послушница стала белее мела.

«Сейчас упадет в обморок», — подумал я.

Но послушница справилась с собой и упорхнула за дверь.

— Понравилась? — шепнул мне на ухо Виллинович.

— Похоже, я закоренелый грешник, — вздохнул я. — В монастыре мне в голову лезут гораздо более греховные мысли, чем за его пределами.

— Они всем лезут, — хмыкнул Володя. — Давай лучше клюквенного морса выпьем.

Мы выпили. Морс был такой же отменный, как и все остальное.

— Матушка Варвара самый близкий друг нашего патриарха, — сказал Володя. — Он ведь таллинский.

— Крута? — взглянул я на него.

— Хозяйка, — пожал он плечами.

Я заметил, что настоятельница почти не прикоснулась к еде. Нас она тоже не понуждала чревоугодничать.

«Немудрено, что они от одного ее взгляда обмирают», — пожалел я послушниц.

У настоятельницы дрогнули уголки губ. Видимо, она улыбнулась.

— Съешь ложечку картофельного пюре, — предложил Володя. — Как оно у них такое получается?

— Взбивают, — сказала настоятельница. — Ну, я пойду по делам, а вы еще посидите.

Она поднялась с помощью монахини, все это время безмолвно сидевшей рядом.

— Заместительница? — посмотрел я ей вслед.

— Татьяна, кандидат искусствоведения, — сказал Володя. — Уже лет двадцать здесь. Машину хорошо водит.

— Лучше тебя?

— Не хуже, — хмыкнул он.

Да, монастырская жизнь все-таки сильно отличается от мирской. Что сюда приводит этих Татьян?

— Он, — показал пальцем в потолок Володя. — Как тебе трапеза?

— Изысканная, — сказал я.

— Пойдем, покажу место, где Богородица являлась.

— На самом деле?

— Это же Пюхтицы! — похлопал он меня по плечу.

Мы опять прошли мимо гигантских поленниц дров, поднялись на песчаный холм, заросший соснами.

— Здесь, — сказал Володя.

— Кому она явилась?

— Насельницам монастыря, кому же еще. Ночью стало светло, как днем. Прошла вон там, постояла и пропала. Наверное, это был знак.

Он перекрестился.

Я не стал спрашивать, что это был за знак.

Мы попрощались с монахинями и послушницами, готовыми, казалось, выполнить любое наше желание. Бледнолицей красавицы среди них не было.

«Либо прячется, либо не пускают, — подумал я. — Вот бы умыкнуть такую из монастыря!»

— Навсегда здесь остаются немногие, — угадал ход моих мыслей Володя. — Одна Татьяна, да и та, бывает, несется на машине, как ведьма на помеле.

— Остужает страсти?

— Наверное, — пожал он плечами. — Мне, правда, и сотрудниц хватает. Представляешь, все разведенки.

— Так ведь Европа, — сказал я. — Ничего, завтра приедут русские писатели и научат вас уму-разуму.

— Не научат, — засмеялся Виллинович. — У нас даже Северянин перековался.

— Стал эстонцем? — удивился я.

— Почти. Разве русский поэт напишет: «Как хороши, как свежи были розы, моей страной мне брошенные в гроб!»

— Он гений, — сказал я. — Это вне национальности.

Володя снова испытующе посмотрел на меня. Вероятно, я тоже не сильно смахивал на русского писателя.

— Белорусский, — успокоил я его. — У нас на Полесье русалок...

— А оборотней?

— Тоже хватает. Масонов, правда, нет.

— А у нас все депутаты масоны! — захохотал Володя. — Открыли клуб под названием «Красный каменщик», по воскресеньям съезжаются в него и надираются как свиньи. Сам видел.

— Да ну? — не поверил я.

— Я же говорил, у меня половина одноклассников депутаты. Один раз взяли с собой, а я ведь не пью.

— И что ты там делал?

— Смеялся. Живот целую неделю болел. Они же ходят со свечками, паль-

цы крестиком складывают, значки с циркулем друг другу показывают. И все пьяные.

— Веселая у вас тут жизнь, — покачал я головой. — У нас старых масонов в лагеря загнали, а новые в подвалах прячутся.

— У вас в Доме литератора масонский клуб, — сказал Володя.

— Слухи! — махнул я рукой. — Даже при Олсуфьеве масонов не было.

На следующий день прибыла большая писательская делегация во главе с председателем Союза писателей России Ганичевым. На вручении премии он сказал длинную речь, из которой я запомнил только анекдот о маленькой девочке. Она никак не могла понять разницу между бедой и катастрофой. Беда, объяснили ей взрослые дяди, это когда козлик бежал по дощечке через речку, споткнулся и упал в воду. А катастрофа — это когда упал самолет и погибло много людей. «Поняла?» — спросили девочку. «Да, — сказала она. — При катастрофе падает самолет и гибнет много людей. Но это не беда. Беда — это когда козлик бежал по дощечке…» И девочка заплакала.

Я тоже едва не зарыдал, глядя на большой зал, заполненный празднично наряженной публикой. Председатель вручал лауреатам дипломы, изготовлением которых мы с Володей занимались вчера. Сам Виллинович в это время совал им в руки конверты.

Ко мне подошел человек гренадерского роста и вида.

— Чулпанов, — представился он, — председатель Чеховского общества. Не знаешь, в какой валюте выдают премию?

— Нет, — сказал я.

— Но ты же местный?

— Почти, — кивнул я, — со вчерашнего дня здесь.

Чулпанов смерил меня взглядом. Да, размерами я не тянул на местного. Мановением руки он остановил официанта, взял с подноса два фужера с шампанским и один протянул мне.

— Виталий, — сказал он.

Мы чокнулись.

— Писатель? — спросил Виталий.

— Увы, — сказал я.

— Чехова любишь?

— А как же.

— В музее Чехова на Цейлоне был?

— Нет.

— А я на острове Святой Елены не был, — уравнял наши возможности Чулпанов. — Между прочим, тоже в Индийском океане.

Я ничего не сказал, поскольку ни Цейлон, ни Святая Елена в моих планах путешествий не значились.

— А здесь что делаешь? — поинтересовался Чулпанов.

— Гощу, — сказал я. — Вчера вот в монастыре обедал.

— И как? — оживился мой собеседник. — Что наливали?

— Ничего, — ответил я. — Пост.

— Да, в пост к ним лучше не соваться, — согласился Виталий. — Что у нас сегодня в программе?

— Обед, возложение цветов на могилу Северянина и ужин в гостинице.

Мне было приятно ощущать себя доверенным лицом хозяина.

— После ужина в порт со мной пойдешь?

— Конечно, — сказал я.

Однажды я уже снимал таллинский порт на кинокамеру. Но это было в советские времена, когда порт считался секретным объектом.

— Сегодня паром из Хельсинки пришел, — объяснил свой интерес к порту Чулпанов. — Надо посмотреть.

После обеда и возложения цветов мы отправились в гостиницу. Фойе, бар, ресторан и даже коридоры были заполнены раскрасневшимися финнами.

— Всю ночь не будут давать спать, — поморщился Чулпанов. — Пьяных финнов видел?

— Приходилось, — вздохнул я.

Мы вошли в лифт и поднялись на третий этаж. Рядом с лифтом сидела, прислонившись спиной к стене, молоденькая девушка и блаженно улыбалась.

— Напилась? — наклонился над ней Чулпанов. — И тебе не стыдно? Приехала в чужой город и сразу нажралась как свинья.

Он говорил на смеси английского, финского и русского языков, но понять его было можно.

— В каком номере живешь?

Девушка попыталась что-то сказать — и не смогла.

— Ладно, сиди, — сказал Чулпанов. — К утру протрезвеешь.

Мы свернули за угол — и остолбенели. Поперек коридора, уперщись головой в одну стену, ногами в другую, лежал здоровенный мужик. Обойти его было нельзя, только переступить.

— Еще один с парома, — сказал Чулпанов.

Виталий перепрыгнул через пьяного и без стука отворил ближайшую дверь.

— Ваш? — рявкнул он.

— Найн, — донеслось из прокуренного номера.

Чулпанов ногой отворил следующую дверь.

— Я-а, — послышалось оттуда.

Чулпанов одной рукой взял бесчувственного финна за воротник, второй за штаны на заднице и, крякнув, зашвырнул его в номер. Так у нас обращаются с мешками с картошкой.

— Тяжелый, гад, — сказал он. — Девица вдвое легче. Да и не мешает никому.

Мне ход его мыслей нравился. Впрочем, как и здоровье.

Ближе к ночи мы с Виталием отправились в порт.

— Думаешь, он по ночам работает? — спросил я, когда мы подошли к железным воротам.

На них, естественно, висел большой замок.

— Здесь должна быть калитка, — посмотрел по сторонам Виталий.

Незапертая калитка оказалась метрах в пятидесяти от ворот.

«Интересно, кем он был до того, как стал председателем Чеховского общества?» — подумал я.

— А ты кем был? — спросил из темноты Чулпанов.

— Писателем.

— А я литературоведом.

Вопрос был закрыт.

Мы вошли в калитку и направились к парому. Ночью он казался гораздо больше, чем днем.

— Трехпалубный, — сказал Чулпанов. — Не меньше тысячи пьяниц помещается.

— Думаешь, на нем плавают только пьяницы? — спросил я.

— Конечно. Трезвые с женами в Хельсинки сидят.

Чулпанов постучал ногой по одному из канатов, которыми паром был пришвартован к причалу.

— Ладно, пойдем, — сказал он. — Паром как паром, ничего особенного.

— А где охрана? — спросил я. — Тоже с женами сидят?

— Эти спят, — хмыкнул Виталий. — Зачем им в независимой стране охрана?

Я тоже хмыкнул. Мне была не совсем понятна логика поведения людей, получивших независимость на дурачка. Наверное, у них каждый день праздник. Во время праздников об охране не думаешь, по себе знаю.

— Ну что, созрел? — спросил Чулпанов, когда мы подошли к отелю.

— К выпивке?

— Нет, к поездке на Святую Елену.

— А сколько надо денег?

— Тысяч пять долларов, — после короткой паузы сказал Виталий. — В оба конца.

— Чуть погодя, — вздохнул я. — На Цейлон заедем?

— Обязательно. Он теперь Шри Ланка. Я там хорошую пивную знаю.

Мы пробились сквозь толпу уже хорошо набравшихся финнов и поднялись на свой этаж.

Девушки у лифта не было.

— Протрезвела, — удовлетворенно хрюкнул Чулпанов. — Или подобрал кто-то.

Утром я вышел из номера — и увидел ботинок напротив двери, в которую Чулпанов забросил пьяного финна. В гулкой пустоте коридора он смотрелся не только сиротливо, но и символично.

Зачастую только это и остается после разгульной ночи — одинокий, грязный, жалкий ботинок, лежащий на боку.

Я аккуратно поставил его рядом с дверью.

4

Ахмед Цадатов был первым из ныне живущих писателей, о котором я услышал анекдот.

— Одын кофе, — заказал Цадатов кофе буфетчице в Пестром зале Дома литератора.

— Наконец-то попался грамотный писатель! — обрадовалась она. — Только и слышу с утра до вечера: «одно кофе», «одно кофе».

— И одын булочка, — добавил Ахмед.

В советской литературе существовал клан классиков-националов, о которых знал любой школьник. Все они были заслуженные, увенчанные премиями и государственными наградами. О квартирах, дачах и гонорарах и говорить не приходится. Но и среди классиков существовала градация. Истинными небожителями считались писатели из союзных республик: Олесь Гончар, Эдуардас Межелайтис, Нодар Думбадзе, Мухтар Ауэзов, Чингиз Айтматов, Мирзо Турсун-заде. О последнем, кстати, тоже был написан стишок. «Там Мирзо турсует свое заде», — говорилось в нем.

В белорусской литературе всесоюзными классиками были Максим Танк и Василь Быков. Это если не считать Купалу и Коласа, конечно.

Однако огромная Россия состояла из множества национальных республик, которые тоже тщились внедрить в сонм небожителей кого-нибудь из

своих классиков. Но на то и центральная власть, чтобы тащить и не пущать. Существовала строгая субординация. Всем сестрам воздавалось по серьгам, но в определенном порядке.

И все же, как говаривали в кулуарах писательских собраний, настоящий талант пробьет себе дорогу к славе. Имя Ахмеда Цадатова стояло в одном ряду с именами, предположим, Юхана Смуула или Сильвы Капутикян. А может быть, и чуть выше.

Однажды у меня на столе зазвонил телефон.

— Зайди, — услышал я в трубке голос Вепсова.

Директор звонил мне только в исключительных случаях, обычно его распоряжения передавала мне секретарь Галя.

— Сидят, — кивнула на дверь, ведущую в комнату за сценой, Галя.

— Кто? — спросил я.

— Маленький, толстый и с акцентом, — сказал Галя.

Галя в секретари попала недавно и еще не научилась различать писателей по именам.

Я не стал уточнять, кто этот толстый и с акцентом. Сама Галя девушка была рослая, поэтому определение «маленький» можно было смело исключать.

Я открыл дверь и шагнул в святая святых.

— Заходы! — махнул рукой Ахмед Цадатов.

Во второй он держал рюмку.

Вепсов снисходительно усмехнулся. Обычно в этой комнате хозяином себя чувствовал Бочкарев.

С Цадатовым я познакомился еще в Минске. У нас проходило какое-то всесоюзное совещание, и мне было велено встретить на вокзале Цадатова.

— Бери мою машину, — распорядился секретарь Союза писателей Иван Чигринов. — Знаешь Цадатова?

— Слышал, — сказал я.

— Станет предлагать выпить — не соглашайся. Вези прямо в гостиницу. А чарку ему мы здесь нальем.

— Один едет?

— С сопровождающими лицами. Думаю, в машине места хватит. Если нет, поедешь троллейбусом. Все понял?

Я понял не все, но уточнять не стал. Разберусь на месте.

Московский поезд подкатил к перрону, и из вагона номер девять, в котором ехал Цадатов, стали выходить пассажиры.

«Не торопится», — подумал я, когда ручеек этих самых пассажиров иссяк.

Через какое-то время в двери вагона появился Ахмед. Из-за живота ему трудно было разглядеть ступеньки. Мы с проводницей почтительно подхватили его под руки.

— Его принимайте, его! — показал Цадатов.

В дверном проеме показался бочонок. Я попытался его принять, но человек с бочонком легко спрыгнул на перрон, не заметив меня.

— Молодэц! — сказал Цадатов. — Это Минск?

— Минск, — кивнул я.

— Значит, приехали куда надо. Машина есть?

— Есть! — по-военному отчеканил я.

Мне стоило большого труда не взять «под козырек», что было бы вполне уместным.

— Тоже молодэц, — сказал Ахмед. — Белорус?

— Конечно.

— Белорус хороший писатель, особенно Быков. Танк есть?

— Есть!

На этот раз я все-таки вытянул руки по швам и встал по стойке «смирно».

— Веди, — распорядился Ахмед.

В машине Цадатов сел рядом с водителем, мы с помощником разместились сзади. Бочонок уютно покоился между нами.

— Что в бочонке? — спросил я помощника, прислушиваясь к легкому плеску в нем.

— Коньяк, — сказал помощник. — Дагестанский.

— Самый лучший, — уточнил с переднего сиденья Цадатов. — Тебя тоже угостим.

Он говорил с сильным акцентом, но понять его, тем не менее, было можно.

Отведать в тот раз самый лучший коньяк мне не довелось. Зато была велика вероятность, что я вкушу его здесь, в комнатке Вепсова, потому что на столе стояла початая бутылка именно дагестанского коньяка.

По глазам Цадатова я понял, что он не признал во мне белорусского хлопца, когда-то встречавшего его на минском вокзале.

— Будем издавать собрание сочинений, — сказал Вепсов. — Сколько томов?

— Семь, — посмотрел на рюмку в своей руке Цадатов. — Или восемь. Сколько получится.

— Принимайся за работу, — вздохнул Вепсов. — Пусть в бухгалтерии все обсчитают. У вас уже было полное собрание сочинений на русском языке?

— Нет, — тоже вздохнул Цадатов.

— А теперь будет! Давайте за это выпьем.

Мы выпили, и я принялся за работу. Самым сложным в ней было разбить тексты по томам, но я как-то с этим справился. Вместе с воспоминаниями получилось восемь томов.

— Придется ехать в Махачкалу, — сказал Вепсов, изучив смету расходов.

— Зачем? — удивился я.

— Подписывать договор. Платить-то будет республика. А они тратиться не любят, даже на своих классиков. Короче, вот деньги на билеты — и вперед.

Я посмотрел на кота, лежавшего под лампой. Тот широко зевнул, показав изогнутые, как у змеи, клыки, и кивнул: езжай, парень.

Деваться было некуда, и я пошел покупать билеты.

С городом Махачкала я был знаком с раннего детства. В городском поселке Ганцевичи, где я родился и прожил первые десять лет, к нашим соседям по улице однажды на лето приехала девочка из Махачкалы. Удивила меня не сама девочка — девочек у нас и своих хватало, а то, на каком языке она говорила. Считалось, что все мы в Ганцевичах говорим по-русски. После войны в Западную Белоруссию приехали на работу люди из самых разных уголков страны, и языком общения был здесь, конечно, русский язык.

Но русский язык махачкалинской девочки сильно отличался от нашего.

— Второй русский? — улыбнулась Дарья Ивановна, моя первая учительница и одновременно соседка по дому. — Это потому, что ты белорус. Будешь хорошо учиться, и у тебя появится правильный русский язык.

С этого момента Махачкала для меня стала неким языковым эталоном. Уж там, думал я, русский язык не чета ганцевичскому.

Моими соседями в самолете оказались два человека в чалмах, один преклонного возраста, другой моложе. Тот, что старше, ни на кого не смотрел и ни с кем не говорил.

«В прежние времена человека в чалме нельзя было встретить не только в самолете, но и вообще на улице, — подумал я. — Да, изменилась страна».

— В Махачкалу? — тихо спросил меня младший из мусульман.

— В гости к Цадатову, — кивнул я.

— К самому?! — поразился тот.

— К нему.

Старший мусульманин напрягся, и я понял, что он понимает русский язык.

— Цадатов уважаемый у нас человек! — щелкнул языком мой собеседник.

— Его во всем мире знают, — согласился я.

— А это верховный муфтий Чечни, — наклонился к моему уху младший. — В Махачкалу летим, потому что Грозный еще не принимает.

Совсем недавно закончилась очередная чеченская война, и было понятно, почему не работает аэропорт в городе Грозный. Кажется, началась эта война с того, что чеченцы попытались захватить Махачкалу. Внести ясность в этом вопросе могли муфтий или его помощник, но я сдержался.

«В Махачкале узнаю», — подумал я.

В аэропорту меня встретил высокий представительный мужчина.

— Магомед, — представился он. — Министр информации и межнациональных отношений. Как долетели?

— Хорошо, — сказал я. — Сидел рядом с верховным муфтием Чечни.

Муфтий и его помощник в это время грузились в стоявшую неподалеку «Волгу», такую же белую, как и машина министра.

— Да ну? — воззрился на муфтия Магомед, и почтительности в его взгляде я не заметил.

«Хорошо, что я не спросил о взаимоотношениях чеченцев и, предположим, аварцев», — подумал я.

— Пусть едет, — разрешил министр. — Мы тоже поедем.

— К Цадатову?

— Сначала в гостиницу «Каспий».

В гостинице меня поселили в стандартном одноместном номере.

«Все равно в нем только ночевать», — подумал я, окидывая взглядом кровать, стол, стул, телевизор.

— Вот он будет вас сопровождать, — подвел меня министр к крепкому на вид человеку средних лет. — Его зовут Магомед. У меня, к сожалению, дела.

Второй Магомед улыбнулся, и я понял, что с ним лучше дружить, чем не дружить.

Министр стремительно удалился.

— Пойдем? — спросил новый Магомед.

— Куда?

— Пляж рядом.

Что ж, искупаться после долгого полета было неплохо. Я взял в номере полотенце и плавки, и мы отправились на пляж.

Магомед, не раздеваясь, сел рядом с моей одеждой. Под рубашкой у него я заметил кобуру с пистолетом.

«Охранник, — сообразил я. — На войне как на войне, однако».

Каспийская вода отличалась от черноморской, не говоря уж о балтийской. Она была желтовата и менее солона.

Я проплыл метров сто и выбрался на берег. Удивляло, что многие женщины, в том числе молодые, купались в длинных прозрачных рубашках, которые мало что скрывали. «А здесь не совсем светская республика», — подумал я.

— Вон та хорошая, — кивнул в сторону компании молодых особ, расположившихся рядом с нами, Магомед. — Персик!

Я не стал уточнять, которая из них персик. Для меня все они в равной степени были красотки.

Я вытерся, обсох на горячем солнце, и мы ушли с пляжа.

— Чем занимаешься? — спросил я Магомеда.

— Ничем пока, — вздохнул он. — В плену долго сидел.

— В каком плену? — опешил я.

— В чеченском. В Махачкале командиром ОМОНа был. Видишь?

Он показал мне запястье правой руки. На нем были глубокие вмятины.

— В наручниках целый год держали.

— И как… выбрался?

Я с трудом переваривал информацию. В Москве, конечно, братки постреливали друг друга, но о плене я ничего не слышал.

— Выкупили, — просто сказал Магомед. — Теперь кровников ищу.

— Кого? — не понял я.

— Тех, кто меня в плену бил, — улыбнулся Магомед. — Шесть человек. Уже осталось четыре.

Я посмотрел по сторонам. Город нежился под сентябрьским солнцем. Над шутками джигитов громко смеялись девушки. Из многочисленных ресторанчиков и кафе пахло шашлыком. Кричали чайки.

— Зайдем покушаем? — предложил Магомед.

В принципе, я уже проголодался. Мы зашли в кафе под открытым небом. Магомед принес порцию шашлыка и маленькую плоскую бутылку коньяка.

— А вы? — спросил я.

— Говори «ты», — махнул рукой Магомед. — Пока с кровниками не рассчитаюсь, аппетита нет.

Я обратил внимание, что все вокруг говорили по-русски, но с сильным акцентом. Что за девочка приехала из Махачкалы в Ганцевичи, у которой был, как мне казалось, образцовый русский язык? Или он мне тогда только казался образцовым?

— В Махачкале много русских? — спросил я.

— Много, — ответил Магомед. — Всех национальностей много. Даже азербайджанцы есть.

— А чеченцы?

— Чеченцы там, — показал в сторону гор Магомед. — У нас море.

Да, море, пляж, девушки в прозрачных рубашках, магнолии, платаны и олеандры.

— А со мной почему ходишь?

— Попросили, — улыбнулся Магомед. — К Ахмеду пойдем?

— Конечно, — поднялся я.

Магомед взял со стола бутылку, завинтил пробку и положил в задний карман брюк. Мы выпили по рюмке, не больше.

— Куда идти? — бодро осведомился я.

— Туда, — показал на набережную Магомед.

Как и во многих приморских городах нашей страны, набережная в Махачкале была длинная и просторная. Идти по ней было одно удовольствие. Я обратил внимание, что на набережной почти не было самостроя, характер-

ной приметы девяностых. Либо в Махачкале чтили советские традиции, либо здесь был хороший хозяин. А может, и то, и другое.

Вдалеке я заметил одинокий столик, за которым сидел человек. Чем ближе мы к нему подходили, тем мне становилось тревожнее. В нашей стране на всех приморских набережных происходит одно и то же — люди по ним гуляют. Здесь тоже гуляли, но почти каждый из прохожих останавливался у столика и приветствовал человека, сидевшего за ним. Кто-то обнимал, кто-то хлопал по плечу. Женщины и девушки здоровались без фамильярности. Как я понял, фамильярность здесь вообще была не в чести.

«Ахмед! — наконец дошло до меня. — За столиком сидит Ахмед Цадатов и кого-то ждет».

Да, так оно и было: за столиком у моря Цадатов и ждал своего редактора. Я подошел, мы обнялись, неизвестно откуда появился второй стул, и теперь за столиком сидели два человека.

— Как долетел? — спросил Ахмед.

— Хорошо.

— В гостиницу поселили?

— Да.

— Здесь немножко выпьем и поедем ко мне. Ты уже был у меня?

— Нет.

— Сейчас будешь. У меня Кугультинов, Капутикян, Марцинкявичюс, Чиладзе, Драч — все были. Егор Исаев тоже был.

Я обратил внимание, что имена белорусских поэтов в этом перечне не прозвучали. Но белорусы никогда не любили куда-либо ездить, только в эмиграцию и эвакуацию.

Когда-то я работал на телевидении и знал, что такое мизансцена. Эта мизансцена была великолепна. Приморская набережная, на которую опускается нежная южная ночь. Одинокий столик у моря. Усталый патриарх, сидящий за ним. И бесчисленная череда поклонников, приветствующих патриарха.

«В Беларуси такое и присниться не могло», — подумал я.

«В Беларуси нет моря», — одернуло меня второе «я», которое изредка заявляло о себе. С годами, правда, это происходило все реже.

— Книгу смотрел? — спросил Цадатов.

— Конечно, — сказал я. — Получается восемь полноценных томов. Очень хорошее собрание сочинений.

— Как у Михалкова?

— Лучше, — твердо сказал я. — И значительно больше.

Классик удовлетворенно кивнул. Столик у моря, восемь прижизненных томов сочинений, всенародная любовь, — что еще надо, чтобы встретить бессмертие?

— Как здоровье? — спросил я.

Вопрос, конечно, был бестактный, но я из Москвы, мне можно.

— Из больницы вышел, чтобы с тобой встретиться, — вздохнул Ахмед. — Бумаги подпишем — и опять в больницу. Не пью уже! Только с тобой.

Из-за спины показалась рука с бутылочкой коньяка и капнула в две рюмки. «Магомед», — догадался я.

Мы чокнулись. Я глотнул, Цадатов лишь сделал вид, что пьет.

«И тебя это ждет, — снова вылезло мое второе «я». — Сколько твоих собратьев по перу отправилось к праотцам из-за этих вот рюмочек?» — «Пошел вон! — разозлился я. — За столик патриарха позвали меня, а не тебя». — «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав, — не преминул пока-

зать свою образованность мой оппонент. — Пить любой дурак может, а ты вот не пей!» С этими словами он удалился.

— Магомед! — позвал Ахмед.

К столику подскочил помощник Цадатова и помог ему подняться.

«У них тут все Магомеды или есть и другие имена?» — подумал я.

— Есть, — сказал Ахмед. — Это Ибрагим, тоже помощник.

Человек, как две капли воды похожий на Магомеда, помахал мне рукой.

— У тебя помощник есть? — встревожился Ахмед.

— Есть, — сказал я.

— Хорошо, — успокоился классик. — Завтра он тебя ко мне привезет, и мы все решим. Устал сегодня.

Что ж, завтра так завтра. Шумит море, над головой сияют крупные звезды, пахнет акация — куда торопиться?

— Поживи еще, — кивнул Цадатов. — Махачкала хороший город. Не хуже, чем Гуниб или Москва.

«Гуниб, кажется, был последним оплотом Шамиля? — вспомнил я. — А в Москве у каждого из нас по квартире. Проживем как-нибудь».

В гостиницу я снова поехал на машине Магомеда-министра. По дороге он поведал, что недавно едва не стал жертвой террористического акта.

— Выхожу из подъезда, меня вот эта машина ждет, — похлопал он рукой по сиденью, — у двери меня опережает девочка, в школу торопится. Я ее пропустил — и вдруг взрыв. Меня чуть-чуть ранило, девочку нет. Жизнь мне спасла!

В Махачкале я уже почти ничему не удивлялся, но эта история все же выходила за рамки обычной.

— Кто на вас охотится? — после паузы спросил я.

— Враги, — вздохнул Магомед. — Здесь у нас много врагов.

— Ваххабиты?

— И эти тоже, — отвернулся от меня и стал смотреть в окно министр.

Чувствовалось, разговор ему был неприятен. Но ведь не я его начинал.

Магомед-охранник, сидевший рядом со мной, нащупал кобуру под мышкой.

Когда-нибудь на Кавказе воцарится спокойствие? Или он останется пороховой бочкой на все времена?

С этой мыслью я вошел в гостиницу. За мной по пятам следовал Магомед. У нас были соседние номера, и я теперь понимал, почему.

5

Я сел в машину и по привычке включил радио.

«В Махачкале в результате террористического акта погиб министр информации и национальных отношений…» — услышал я голос диктора.

— Ничего себе! — нажал я на тормоз. — Неужели Магомед?

Информацию о теракте передавали по всем новостным каналам, и мои сомнения отпали. Враги все-таки достали Магомеда.

В издательстве уже была практически закончена работа над собранием сочинений Цадатова. Я принес оригинал-макет первого тома на подпись Вепсову.

— Все в порядке? — взял он в руки титульный лист.

— Надеюсь, — посмотрел я на Тима.

Кот даже не открыл глаз. Если Тим дает «добро», значит, действительно все в порядке.

— Выйдет восьмой том, — сказал директор, — придется снова ехать в Махачкалу.

— Зачем? — спросил я.

Кажется, я уже задавал этот вопрос перед первой поездкой.

— Вручать руководству республики! — поднял вверх короткий указательный палец Вепсов. — Может быть, я и сам поеду.

Я с сомнением посмотрел на него. Из своего кабинета он выбирался лишь в исключительных случаях. Бывало, и ночевал в комнатке за сценой. Впрочем, восьмитомник Цадатова вполне тянул на исключительный случай.

В Махачкалу мы все-таки полетели вдвоем, причем из вип-персоны я мгновенно превратился в носильщика.

«Хорошо, не в охранника, — думал я, сгибаясь под тяжестью упаковок с книгами. — Сейчас и не вспомню, как заряжается пистолет».

В махачкалинском аэропорту нас встретил Сулейман, который в предыдущий мой приезд был первым заместителем погибшего Магомеда.

— Теперь ты министр? — спросил я его.

— Нет, остаюсь замом. Вот он министр, — показал Сулейман на молодого человека.

— Заур, — представился тот.

Я посмотрел на Сулеймана. Он не выглядел расстроенным или обиженным, наоборот, улыбался, как жених на свадьбе. «Странно, — подумал я. — Если бы в Москве или Минске первого заместителя не назначили министром на место ушедшего, он застрелился или хотя бы написал заявление об увольнении».

— Пусть работает, — сказал Сулейман. — Молодым надо дорогу давать. Ахмед в больнице, сейчас поедем к нему.

— Да, езжайте, у меня, к сожалению, дела, — сказал Заур.

Я вспомнил, что и у предыдущего министра были дела.

В больнице на входе стояли милиционеры с автоматами.

— Не положено, — сказал старший из них, когда мы попытались пройти внутрь.

— Сейчас, — достал из кармана мобильник Сулейман. — Пусть сам Ахмед скажет.

Он передал телефон милиционеру. Тот с недовольным видом выслушал длинную тираду Цадатова.

— Проходите, — посторонился милиционер, — только ненадолго. Этот с вами?

Он показал на Вепсова.

— С нами, — сказал я.

Вепсов дернулся, но ничего не сказал.

Ахмед бережно принял из моих рук подарочную коробку с восьмитомником. Чувствовалось, она не была для него тяжела.

— Наконец-то у меня появилось настоящее удостоверение личности, — сказал он. — Картинки хорошие?

— Лучший художник рисовал, — обиделся я.

— Если бы у другого поэта вышло такое собрание сочинений, — обвел взглядом своих гостей классик, — я бы ему позавидовал!

Все зааплодировали. Я с облегчением вздохнул. Книги были одобрены на высшем уровне.

— Завтра в двенадцать ждет председатель Госсовета, — напомнил Сулейман.

— Мне нельзя, но я там буду! Ты будешь? — хлопнул меня по плечу Ахмед.

— Обязательно, — сказал я. — И вот он тоже.

Я показал на Вепсова. Тот дернулся и опять ничего не сказал.

— Пусть будет, — согласился Цадатов. — Прошу за стол!

Обильный стол был накрыт в соседней палате.

«Хорошо быть классиком на Кавказе, — позавидовал я. — Ничего нельзя — и все можно».

— Это надо заслужить! — доверительно наклонился ко мне Ахмед. — У вас в Беларуси Танку тоже все можно.

Оказывается, он прекрасно знал, кто я и откуда.

— А Быкову? — спросил я.

— Быкову тоже можно, — подумав, сказал классик, — но он не возьмет. Очень честный.

Похоже, на Кавказе быть очень честным разрешалось не всем. Но я не стал забивать себе голову ерундой. Со своим уставом в чужой монастырь лезут только глупцы. И завоеватели.

— Теперь едем ко мне! — объявил Ахмед. — Уже чуду готовы.

— Что такое чуду? — спросил я.

— Блинчики с сыром, — сказал Сулейман. — По ним у нас определяют, хорошая невеста или нет.

— Чуду все делают хорошо, — возразил помощник Цадатова.

— Магомед? — посмотрел я на него.

— Конечно! — приосанился он.

Да, я уже знал, что всех помощников, охранников и прочих воинов здесь зовут Магомедами.

Сулейман и Магомед помогли Цадатову подняться.

— Эх! — с трудом разогнул колени Ахмед. — Не то я в банк положил. Нужно было не рубль — молодость положить.

Мы засмеялись.

— Молодец! — сказал Сулейман. — Настоящий аварец!

— Шамиль тоже аварец? — спросил я.

— Конечно! — обиделся заместитель министра. — Ахмед, я, Магомед — все аварцы!

— У меня в Союзе писателей двенадцать отделений, — остановился в дверях Цадатов. — Даже ногаец есть.

— Чем ногайцы отличаются от других? — тихо спросил я Сулеймана.

— Степняки, — махнул тот рукой. — От монголов здесь остались.

— А таты?

— Таты в Дербенте.

Я понял, что национальную тему в Махачкале лучше не затрагивать. Очень уж много национальностей.

Дома у Цадатова я был в предыдущий приезд. Собственно, это был не дом, а музей, построенный в честь классика. В нем все было аккуратно расставлено и развешано.

— Жена постаралась, — сказал мне тогда Цадатов. — Очень хорошая женщина.

Она не так давно умерла, и все старались говорить о ней в возвышенных тонах.

Я не поленился и поднялся по узкой лестнице на третий этаж, на котором размещался кабинет классика.

— Я сюда никого не пускаю, — сказал Ахмед, — но тебе можно. Ты мой друг.

Жалко, что этих слов никто не слышал. Все гости сидели внизу за столом.

— В следующий раз приедешь в Махачкалу, — обнял меня за плечи Ахмед, — говори всем, что ты мой друг, и тебе все дадут. Здесь меня знают.

Мне понравилась его скромность.

Кабинет, кстати, был обставлен довольно скромно. Но это тоже признак большого писателя.

— Во Внуково моим соседом был Яков Козловский, — сказал я.

— Все умерли, — вздохнул классик. — Гребнев, Солоухин, Козловский… Совсем один остался.

— Молодые не переводят?

— Переводят, но не так хорошо. У нас была другая страна.

Здесь он был прав. Великая советская литература осталась там, в Советском Союзе.

Надо сказать, я тоже не вписался в новое время, но не жалею об этом. Мне было уютно жить рядом с Быковым, Шамякиным, Думбадзе, Матевосяном, Зиедонисом и многими другими писателями. Что уж говорить о Цадатове, которого знали в самых отдаленных селениях великой страны.

На следующий день мы вручали восьмитомник Цадатова председателю Госсовета Дагестана. Фамилия его была, конечно, Магомедов. Эту ответственную миссию взял на себя Вепсов, хотя тащить коробку с книгами через весь кабинет ему было нелегко. С другой стороны, пусть знает, каково быть носильщиком при сильных мира сего.

— Кто такой? — громким шепотом спросил меня Цадатов.

— Директор, — сказал я.

— У тебя?

— У меня.

— Пусть носит, — успокоился классик.

На церемонии присутствовала вся верхушка республики. Новый министр информации и национальных отношений тоже стоял в уголке с подобострастным видом. Я подмигнул ему. Он этого не заметил.

«Правильно, — подумал я. — Подмигивать каждый может, а ты вот попробуй из простого министра прорваться в премьеры или хотя бы вице-премьеры».

Сулейман, стоявший в самом дальнем углу, улыбнулся мне. Проблемы роста были ему хорошо знакомы.

Праздновать мы опять приехали в дом Цадатова. За столом по-прежнему сидели около десяти самых близких Цадатову людей, но у меня было ощущение, что некоторых я вижу впервые. В том числе и помощника.

— Магомед? — спросил я его.

— Магомедбек, — вытянул он руки по швам.

— Что значит бек? — повернулся я к Сулейману.

— Воин, — ответил тот. — У него в роду все воины. Даже князья есть.

— А вот у белорусов князей нет, — загрустил я. — Как только князь, сразу уходит к полякам или литовцам. Некоторые и вовсе русскими стали.

— У нас горы, — сказал Сулейман, — далеко не уйдешь. В каждом ауле свой князь.

— Зато нет масонов, — вмешался в разговор Цадатов. — Все масоны в Москве или Ленинграде.

— Масоны при советской власти вымерли, — осмелился я возразить ему.

— Масон никогда не вымрет, — поставил точку в нашем споре Цадатов. — Сейчас я тебе подарок сделаю. Директор тоже зови.

Подошел Вепсов. Надо сказать, в незнакомом окружении он явно тушевался, не на кого было прикрикнуть, некому дать указание. Я, к примеру, постоянно терся возле местных.

«Вот ужо приедем в Москву», — поглядывал он на меня.

«Однова живем, — отвечал я ему. — Сначала рюмочку, сверху икоркой. Москва далеко, начальник».

Но вот и его заметили.

— У тебя сабля есть? — спросил Ахмед.

— Нет, — сказал я.

— Сейчас будет.

Ахмед протянул руку. Магомедбек с готовностью сунул в нее саблю.

— Держи! — протянул мне саблю Ахмед. — Смотри на нее и меня вспоминай. Если человек плохой — сразу руби ему голову.

Кавказцы расхохотались.

Я с трудом сдержал слезы. Наверное, среди моих предков все-таки были люди, которые знали, что такое сабля.

— Тебе тоже сабля, — протянул подарок Вепсову Цадатов. — Директору сабля не так нужна, как редактору, но пусть будет.

Я повертел в руках саблю и отдал помощнику. Ставить ее в угол, как швабру, было как-то неудобно. Но и сидеть с ней за столом неловко.

— Сейчас отнесу в машину, — сказал мне на ухо Сулейман.

В этой компании он был самый трезвомыслящий человек.

— Коньяк тоже возьми, — сказал Ахмед. — Магомед, как он называется?

— «Россия», — отчеканил помощник.

— Вот, две бутылки тебе, две ему, — кивнул Ахмед на директора. — Самый лучший коньяк. Но мы пьем три звездочки.

— Почему? — удивился я.

— Не такой вредный.

Сулейман, держа в одной руке сабли, во второй пакеты с коньяком, вышел.

— Вы в самолет, а я в больницу, — вздохнул Цадатов. — Подлечусь, может быть, еще выпью рюмку с гостями.

— Обязательно! — зашумели гости. — Вы еще главную книгу не написали! Врачи все сделают, чтобы вы к нам вернулись!

— Врачи не боги, — махнул рукой Ахмед.

Я вдруг увидел, что он держится из последних сил.

«Классиками случайно не становятся, — подумал я. — Интересно, каковы будут классики новейшего времени?»

Даже думать об этом было неприятно, и я подошел к новому министру информации и национальных отношений.

— Я посмотрел вашу книгу, — сказал я. — Очень сложная тема.

В прошлый приезд Заур подарил мне свою книгу, посвященную проблемам ваххабизма в Дагестане.

— Теперь не до книг, — улыбнулся министр.

У него тоже был очень усталый вид.

— Ничего, войдете в рабочий ритм и снова сядете за стол, — подбодрил я его. — Берите пример с классиков.

— У них не было террористов, — хмыкнул Заур.

— Зато были товарищи из ЦК. Неизвестно, что хуже.

Заур пожал плечами.

— В аэропорт вас отвезет Сулейман, — сказал он. — У меня, к сожалению, дела.

Я уже знал, что разговор о делах в Дагестане — нехорошая примета, и с сочувствием посмотрел на него.

— Приезжайте в Москву, — пожал я ему руку. — Такого застолья, как здесь, не обещаю, но в Дом литератора обязательно приглашу.

— По дороге в аэропорт вы еще заедете в одно место, — успокоил меня Заур.

Этим местом оказался, конечно, ресторан. Снова стол был накрыт по высшему разряду: шурпа, корейка из баранины, осетрина, фрукты, овощи, коньяк, конечно. Лично я от застолий уже устал и часто поглядывал на часы.

— До самолета еще целый час, — заметил мое нетерпение Сулейман.

— Это вылет через час, — сказал я, — а регистрацию надо было проходить два часа назад.

— У нас не будет регистрации, — махнул рукой наш провожатый, — прямо к трапу привезем.

Действительно, к самолету мы подкатили в тот момент, когда он уже запустил двигатели. С саблями в одной руке и пакетами с коньяком в другой мы с Вепсовым вошли в салон. Судя по взглядам пассажиров, наш вид понравился далеко не всем.

— Это чартер или обычный рейс? — спросил Вепсов, устраиваясь в кресле.

— Обычный, — сказал я.

— Надо было вместе со всеми садиться, — зевнул он. — Третий день не высыпаюсь.

Он тут же уснул.

Я смотрел на облака, густящиеся внизу, и думал о миллениуме. Второе тысячелетие от Рождества Христова переходило в третье. Похоже, этот переход не был простой сменой цифр. В мире менялась парадигма бытия. Человечество отворачивалось от устоявшихся канонов и наспех придумывало новые. К чему это приведет, не знал никто. Русскому человеку привычно уповать на авось, но куда прет западный обыватель?

После поездки в Махачкалу отчего-то я был уверен, что Советский Союз еще вернется. Может быть, не в том виде, в каком он наводил ужас на американцев с их сателлитами, но вернется. Во всяком случае, мое издательство «Современный литератор» уже стало советским, и я этому был искренне рад.

Никуда не денется и так называемая советская литература. Без Шолохова, Леонова, Булгакова, Платонова, Паустовского, Катаева и многих других русская литература неполная. А ведь были еще и национальные авторы, к которым принадлежал и аз грешный. Да, особенность советской литературы заключалась в том, что даже националисты в ней становились советскими, то бишь интернационалистами.

Вопрос теперь в том, сможет ли нарождающийся во времена миллениума новый человек преодолеть искус золотого тельца, который вновь засиял перед ним во всем своем золотом величии.

Золото мерцало, уводя человека с нахоженной дороги. В очередной раз он уходил на целину, в которой ни огонька, ни вехи, ни указующего перста. Лишь он — и нехоженая твердь.



Михаил ПОЗДНЯКОВ

Неповторимый, милый сердцу край

* * *

Вновь загорелся куст сирени
Лиловым пламенем рассвета.
И мир очнулся от забвенья
С желанием любви и света.

И рад увидеть сад весенний,
Как через солнечные ливни
Усердно пчелы песнопенья
Переплетают в танце дивном.

Здесь все пронзительно-святое,
Имеет суть, имеет место,
И чувство теплится такое,
Что ты опять вернулся в детство.

И в это трепетное утро,
В гармонии с собой отныне,
Светлеешь мыслями, как будто
Перед иконами святыми.

* * *

Приедь, я покажу тебе тот край,
Где хаты одинокие в крапиве,
Где не приветит чужака собачий лай,
Где даже эхо стало молчаливей.

Здесь одичали светлые сады,
Пусть роскошь та природе и в угоду.
Колодцы пересохли без воды,
И воробьи бродяжить взяли моду.

Но воздух здесь, хоть в кружки наливай.
Собой быть повод есть. Я приглашаю:
Приедь, и покажу чудесный рай,
Где вновь и вновь душою воскресаю.

* * *

Пока еще июньский луг не лег покосами,
В соку трава. Спешу сюда, как в рай,
В мой васильковый, в мой ромашково-березовый,
Неповторимый, милый сердцу край!

Душа здесь, переполненная грезами,
Зовет меня в безудержный полет.
Живет край васильковый, край березовый,
Ромашковый, любимый край живет!

Вмиг все проблемы позабудутся столичные,
Тревоги отпущу в забытый сон,
Лишь гляну на поляны земляничные
И на волнах качающийся лен.

А как лицо умою утренними росами —
Столичной жизни прошепчу: «Прощай!»
Пророс ромашками да белыми березами
В сыновнем сердце васильковый край!

* * *

Куст сирени под нашим окном
Вспыхнул облаком белым. И снова
Я за письменным старым столом, —
Все родное, до боли знакомо.

Лепестки теплотою звенят,
И от нежности сердце хмелеет,
Мне родной в них причудился взгляд,
Что с годами стал только милее.

С той поры, как ушла моя мать,
Листопадов промчалось немало,
А сегодня с небес благодать
Повзрослевшему сыну прислала.

За цветами в окошко склонясь,
Ощутил под прохладою сени,
Будто мама за плечи меня
Обнимает ветвями сирени.

* * *

А мне бы возвратиться в чудный сон,
Туда, где все возвышенное вечно,

Туда, где жизнь казалась бесконечной,
Где тихим морем разливался синий лен.

Там звезды улыбались мне в окно,
Их свет далекий представлялся очень важным.
Горчинкой ежевика утоляла жажду
В таинственно звенящей засени лесной.

Со временем зарос травою двор,
Поникла враз, осиротела наша хата.
И только в окна как-то тихо, виновато
Глядит репейник, как раскаявшийся вор.

Все от калитки в этом сне бегу,
В пропахший хлебом дом бегу напропалую,
Я маму там свою хочу обнять живую,
Обнять и потушить горячую тоску...

Мама

Со щедрым летом схожа добротой,
Ты в памяти осталась чистым утром,
Осталась кроткой, светлой и святой...
И этим детство возвращаешь мне как будто.

Пленят глаза — живые васильки,
Они упреком, знаю, не осудят.
И как когда-то, ласковой руки
Не ощутить в своей руке боюсь я.

Хоть благодарным сыном был, но все ж
Порою кажется: дарил любви я мало.
Теперь не слово я ищу: все — ложь,
Когда не болью в сердце прозвучало.

Нашел в себе, — пусть звучность и хвала
Там не живут, нет пафоса ни грамма, —
Зато они из сердца, где сама
Живешь ты, моя солнечная мама.

* * *

Любопытный и щербатый
Месяц огненный повис.
У замшелой старой хаты
Клен склонился на карниз.

Ухнет филин среди ночи.
А ему в ответ давай —
Заглушить как будто хочет —
Рассыпать дворняга лай.

Деревенькой, как погостом,
Где три хаты на версту,
Одиноким, странный гостем,
Растревоженный, иду.

Темнота вокруг такая —
Обжигает без огня.
Чую, родина встречает
Настороженно меня.

С болью стану возле хаты,
Где сирени пышный куст.
И заплачу, виноватый,
Что родному горько тут.

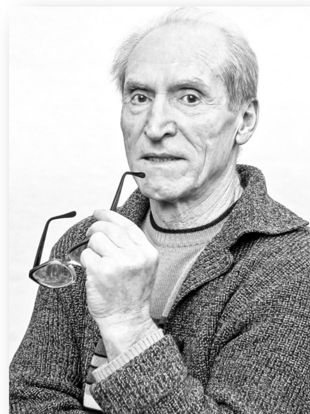
* * *

Трав молодых
и соцветий бальзамный настой.
Вечер на луг опустился дремотный.
Горло полощет
дергач сон-росой.
Тихий туман
расстилает у речки полотна.

Небо на западе
розовый цедит сироп.
Песню завел соловей,
предвкушая свиданье.
К отчему дому
зовет дуновеньем укроп.
Воздух трепещет,
как сердце при быстром дыханьи.

Ночь наплывает
громадною птицей, и в свет
месяц выходит,
как кот из чулана лениво.
Кто-то прилежный
и светлый пошел ему вслед
звезды живые зажечь
в небесах чудотворным огнивом.

Перевод с белорусского Инны ФРОЛОВОЙ.



Олег ЖДАН-ПУШКИН

Знакомые лица

Несентиментальный мемуар

Волшебный колодец

В ТОМ ГОДУ, а это был 2001-й, и город готовился к празднованию Дня белорусской письменности, Мстиславль заметно изменился. Но я приехал за месяц до праздника и был сильно взволнован, когда оказался на центральной площади. Ободранные до красного кирпича здания, без крыш, без окон и дверей… Именно так выглядел центр города в моем далеком послевоенном детстве, приблизительно в 1945—48 годах. Будни мы, мальчишки, проводили, разумеется, в школах, а вот по воскресеньям бегали здесь по грудам битого кирпича, по торцам стен, по тогдашней базарной площади, и послевоенная разруха была привычным антуражем наших тогдашних игр, а общая бедность — естественным условием существования. Базары были людные, шумные, а в дни красных торгов, обычно приуроченных к православным престольным праздникам, выплескивались и на близлежащие улицы… Трудно сопоставить сегодняшний городской рынок с теми базарами. Ни тех товаров уже нет в природе, ни продавцов и покупателей, ни тех надежд, которые питал в душе каждый из нас. Впрочем, надежды всегда есть, но — иные. И связываем мы их с другими событиями, иными людьми. Для нас, детей и подростков, тогдашние базары были тем волшебным колодцем, из которого черпались и пополнялись запасы впечатлений того скудного времени, ну, а для взрослых… Впрочем, позвольте процитировать самого себя.

«…С рассветом, а то и затемно, чтобы занять побойчее местечко, шли к городу обозы из всех прилегающих деревень. Поскрипывали телеги и сани, взмыкивали и всхрапывали животные, покрикивали возницы, сосредоточенно вышагивали пешие. Сегодня такое движение в ночи представилось бы переселением народа, всеобщей бедой, чем-то апокалиптическим. В дни больших — красных — торгов ехали за пять, десять, двадцать, тридцать километров, и у города сливались в несколько широких молчаливых потоков. Занимали места, распрягали лошадей…

У каждого товара было свое определенное место, и поросячий угол нисколько не походил на куриный базар, а горшечная площадка на пятачок мелочевки, не говоря уже о сенном, дровяном или молочном рядах.

Больше всего игры, суеты и веселья было, конечно, на мелочевке, страстей и драм — в том углу, где продавали телок, коров, лошадей. Дети — городские и деревенские — шныряли везде, но этот последний не любили, все здесь происходило слишком серьезно, и радость одних часто отражалась в слезах других. За удачной куплей-продажей устраивалась легкая выпивка, часто с импровизированным концертом, изредка возникали потасовки, и слухи о них с

кровавыми преувеличениями носились, пугая и веселя, по шумным торговым рядам. Ходили инвалиды с гармошками, собирая на водку, пели пронзительные песни, и женщины рыдали, глядя на обожженные лица, слепые глаза.

Люди приходили на базар не только продавать и покупать, но и вроде без причины — прицениваясь, приглядывались, а на самом деле поверяли будущее сегодняшним днем…»

Итак, чего здесь только не продавали! На пятачке мелочевки — кепки-шапки, сапоги-валенки, солдатские ботинки и стариковские бурки, платки, галоши, чертики на палочках, гармошки, патефоны, бубны, дудки… Именно этот участок голосил-гремел, его гомон-ропот разносился по окрестностям. Горшечники в изобилии выставляли свой товар в самом центре базара, постукивали-позванивали деревянными ложками по бокам кувшинов, горшков, горлачей, привлекая внимание покупателей; примерно там, где нынче стоит современный Дворец культуры, продавали лошадей, коров, дрова и сено, там же визжали поросята; молочный ряд располагался напротив нынешнего магазина «Ночной»… Там, где ныне возвышается памятник первопечатнику Петру Мстиславцу, стояла кузница, и мы подолгу торчали здесь, наблюдая, как подковывают лошадей, как полуголые богатыри-кузнецы бьют огромными кувалдами по раскаленным добела шкворням, клецам, как жарко дышит кожаными мехами раскаленный горн…

Я тоже однажды выступил в роли продавца.

Жили мы тогда вчетвером: мать, я и две ее сестры, мои тетки. Жили, как теперь понимаю, очень небогато, по крайней мере, однажды в доме не оказалось денег даже на хлеб. Решили продать курицу. Однако матери продавать не с руки — учительница, одна из теток — глухонемая, вторая серьезно больна. То есть выходило, что продать курицу должен я. «Проси десять рублей, — напутствовала меня мама, — отдавай за семь». До сей поры помню ту курочку — серенькая, упитанная, теплая, она дружелюбно поглядывала на меня то одним, то другим глазом, видимо, надеясь, что отдам ее в хорошие руки и не продешевлю.

— Сколько хочешь, мальчик? — остановились около меня две женщины.

— Продаю за десять, отдаю за семь! — бойко ответил я.

Женщины переглянулись, заулыбались. Я понял, что сказал что-то не то, подумал и поправился:

— Прошу семь, отдаю за десять!

Вообще я довольно часто попадал в смешные положения. Во время оккупации за хлебом посылали моего дядю Володю, который был старше меня на десяток лет. Хлеб продавали раз в неделю, очереди выстраивались огромные, люди брали по несколько буханок. Недалеко от магазина мой «дядька» вручал мне деньги и сумку — малых и старых пропускали без очереди.

— Хлопчик, как ты донесешь столько хлеба? — однажды спросили меня.

— А у меня дядя Володя за углом стоит, — бойко ответил я.

Все ж таки хорошие люди жили (и живут) в нашем городе. Посмеялись, позвали «дядю Володю» — было ему тогда лет пятнадцать, вручили сумку с хлебом — дескать, нехорошо пользоваться детским трудом.

И еще однажды я пытался заработать денежку… Это потом, в школах да институтах нам внушали, что деньги — некая жалкая материя, недостойная сознательного человека, но мы тогда еще не слыхали об этом и страстно мечтали заработать хотя бы несколько рублей. Например, билет в кино стоил два рубля. Вроде и немного, но где их взять? На «карманные» расходы нам не давали. Это понятие казалось анекдотическим, присущим только нелепому

буржуазному, рыночному миру. Однако жили мы именно по законам рынка: деньги надо зарабатывать.

Люди моего поколения (да и помоложе) помнят, как много было вокруг Мстиславля орешника и орехов. Вот мы с приятелем и отправились утром в лес, точнее, в орешник на опушке леса, переплыв Вихру в районе «женского купалища». То есть, спустившись по улочке, на которой сегодня расположен военный комиссариат. И часа через три были уже на базаре. «На рубль два стакана!» — бодро покрикивали раз за разом. «На рубль три стакана!» — щедро снизили цену через полчаса. «На рубль четыре!» — еще через час. Притом продавали мы орехи очищенные, «лузганцы». Но так никто и не достал из кармана заветный рубль. Может, думаете, рубль — это много было в те времена, дорого? Нет, тогдашний рубль — отнюдь не сегодняшний американский доллар. Орехов было много — вот причина.

Единственно надежным способом заработать был сбор металлолома, коего немало валялось в городе в те времена. О, сколько центнеров железа мы перетаскали на своих плечах! Сегодняшним мальчикам этого не понять.

Учителя

СВЯЗЬ С МИРОМ взрослых происходила прежде всего через наших школьных учителей. Благодаря (или вопреки) им вырабатывались и некие личностные критерии и представления о связях человека с обществом. Принципиальность и беспринципность, толерантность и нетерпимость, мелочность и великодушие — все производило работу, и если оглянуться, прислушаться и присмотреться к себе, — живет в наших душах и теперь.

Внешне самое сильное впечатление производил, разумеется, учитель математики Евгений Николаевич Климов, могучий, всегда подстриженный «под ноль», однорукий, с искалеченной второй рукой, громогласный, раскованный в движениях и мыслях, язвительный… Он не церемонился с нами. Мог шлепнуть пустым рукавом правой руки, который постоянно накручивал-раскручивал с культи, а во время контрольной работы мог подойти сзади к скосившему глаза в чужую тетрадь и так щелкнуть по носу большим пальцем, что искры из глаз. И конечно, всеобщий хохот. «Математика — царица наук!» — любил повторять он. Считалось, что он великий математик и что учителя других школ в трудных случаях, например, во время экзамена по математике на аттестат зрелости, обращаются за помощью к нему. Был ярко выраженным оппозиционером, насколько это было возможно в те времена. С иронией относился к дирекции школы, с презрением — к руководству отделом народного образования. «Маленькое большое начальство!» — язвительно громыхал он. Намекал, что нет порядка и выше… По слухам, Климова не очень любили в педагогическом коллективе, но не мое дело раскручивать эту сторону его жизни. Своей единственной рукой с тремя пальцами он вполне управлялся с мужскими работами в домашнем хозяйстве: пилил, колол, косил, а при необходимости плотничал и столярничал одной рукой с помощью культи. Почти все учителя в те времена держали хозяйство: корову, поросенка, кур… Коров жители города подкармливали брагой (бардой), которую продавали на спиртзаводе. И каждый день наш учитель брал после занятий три ведра и коромысло и отправлялся широким шагом на спиртзавод. Забрасывал два ведра на коромысле на плечо, третье брал рукой — так же широко и легко возвращался домой.

Ах, если бы ко всем его достоинствам еще щедрость!.. Дело в том, что скуповат был Евгений Николаевич, а если откровенно — совсем скуп: получить у него пятерку было трудно. Двойку — всегда пожалуйста. С нашим, как говорится, удовольствием. Причем двойки он ставил-выводил особенные: с огромной головой и ничтожным хвостиком. Тройки — такие, что требовалось разглядывать в лупу, все свое презрение к троечникам вкладывал он в это изображение. Четверка рисовалась без эмоций — уверенной и полноценной. Ну а пятерка… Нет, ее графики не припомню: редко мелькала она в наших тетрадях и дневниках.

Когда Евгений Николаевич умер — как выражались в те времена «от разрыва сердца», то есть инфаркта, — мы были поражены. Казалось, ему, могучему и мужественному, суждена вечная жизнь.

Нашим классным руководителем была Елена Митрофановна Курчевская, преподаватель физики. Образованная, красивая, обаятельная, она сразу же вызвала нашу привязанность. Уроки физики стали любимыми, и даже Н. К., жалкий троечник, вызубривал тексты от первого слова до последнего. Но однажды случилась в его жизни беда: Елена Митрофановна неосторожно поставила ему пятерку. С того дня все свои интеллектуальные сила Н. К. бросил на физику. Не существовало больше для него ни истории с географией, ни русской и белорусской литературы, ни математики, ни геометрии с тригонометрией, ни… Только физика. Физика, а не математика, царица всех наук!.. Естественно, что закончиться это должно было если не катастрофой, то серьезной аварией. Пришло время, когда ресурсы памяти у Н. К. иссякли. Он пришел в школу с той кривой, нагловатой скептической улыбочкой, которая была нам хорошо знакома: ничего не знаю и знать не хочу. Физика равна химии, химия математике, математика истории и географии, — и все они не стоят того, чтобы тратить на них время и силы. Когда Елена Митрофановна обратилась к нему, как к знатоку и авторитету, Н. К. улыбнулся и воззрился в окно. Отныне на уроках физики до конца года он не произнес ни слова…

Известно, «классный час», который и теперь проводится раз в неделю, в относительно свободные дни, большая неприятность для школяров: сиди, слушай о своих незначительных успехах в науках, о своей тупости и бестолковости, разглядывай позорящие записи в дневнике, слушай мелкое хихиканье одноклассниц… Однако с того времени, когда «классной» стала Елена Митрофановна, мы ждали с нетерпением этого часа: каждого из нас она назовет по имени и каждый почувствует себя избранным.

Считалось, что наш класс разделился на два якобы враждующих лагеря: мальчиков и девочек. И потому ради примирения и сплочения Елена Митрофановна предложила однажды устроить в школе в субботу танцевальный вечер, причем музыку — радиолу с пластинками — предоставляла свою, домашнюю. Идея эта нам понравилась: мы уже давно были влюблены друг в друга. Но чувство меры не свойственно влюбленным восьмиклассникам: мы взялись танцевать каждую субботу, а однажды явились в дом Елены Митрофановны за радиолой, не спросив предварительно ее согласия и разрешения, — тут-то она выдала нам полной мерой. Впрочем, танцевальный вечер все же состоялся: ее великодушие оказалось сильнее нашего нахальства…

Последние годы жизни она провела в Минске с семьей сына, два-три раза в год мы говорили с ней по телефону, и каждый раз я удивлялся тому, как молодо звучит ее голос.

Безусловно, значительной фигурой был Михаил Матвеевич Калистратов — учитель истории, директор школы. Всегда подтянутый, в синей офицер-

ской гимнастерке, с орденом Красной Звезды на груди, в сапогах, начищенных до черного зеркального блеска, он производил немалое впечатление. Конечно, с позиции нашего сегодняшнего знания истории России и Беларуси преподавание тех лет было упрощенным, исторический материал преподносился по известной схеме, возможностей углубиться в события давно минувших дней практически не было. К примеру, о Великом Княжестве Литовском мы и слыхом не слыхивали. Думаю, ничего не знал о нем и Михаил Матвеевич. Да если бы и знал… Упоминание о ВКЛ было бы связано с риском если не для жизни (слава богу, все же не 37-й год), то для благополучия, а если так, то кому оно, это Великое Княжество нужно? Ну, а в тех пределах, которые были предложены программами советскому учителю, Калистратов преподносил материал четко и ясно. Был требователен и строг. И никогда больше, даже занимаясь на историческом факультете, я не владел хронологией княжений, царствований, всяческих военных походов и сражений так, как в те баснословные времена.

Любимыми историческими лицами российской истории для Калистратова были Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр Первый — только сильные личности, победители, и уж никак не те, кто сомневался и страдал. Из современников — один Сталин, которого он всегда и во всех случаях называл по имени-отчеству и непременно прибавлял — вождь прогрессивного человечества, корифей всех наук. Лицо его при этом становилось особенно строгим, дикция — особенно выразительной. Думаю, что игры в этом не было, он безусловно поклонялся этому человеку. Когда пришел час и корифей всех наук оставил бренный мир, у многих — и автора этих строк в том числе — событие это вызвало большую печаль и даже растерянность: как жить дальше? Но для Калистратова стало личной драмой. Впрочем, перенес он ее, как и положено солдату Его армии, сдержанно и с достоинством. Вспоминая те годы, я думаю порой о том, что жизнь его, несмотря на внешнюю простоту, была в духовном отношении совсем не легкой. Как было человеку, сложившемуся в эпоху расцвета сталинизма, увидеть его крушение? Увидеть, как таинство власти, которое олицетворял Сталин, преобразуется сперва в легкомыслие Хрущева, затем в самодовольство Брежнева и, наконец, переживет разгром в последнем десятилетии ушедшего века? Думается, что люди, подобные Калистратову, могут легко и преданно служить оформившейся идее, но не способны участвовать в формировании новой.

…Мы учились тогда в шестом или седьмом классе. Вдруг, как ветряная оспа, вспыхнула и пронеслась по школе новая игра: рисовать мелом на ладошке фашистский крест, то есть свастику, и припечатывать на спинах приятелей. Все ходили помеченные свастикой. Всем казалось, что это смешно. Естественно, не смешно было нашим учителям, а больше всех — директору. Даже сегодня, полвека спустя, мы с недоумением и возмущением смотрим на московских подростков (да и вполне совершеннолетних дядей), принявших для своего движения фашистские символы, ну а тогда лишь несколько лет минуло после мировой войны. Учителя ничего поделать с нами не могли. Чтобы успокоить разбушевавшихся школяров, нужно было кого-то принести в жертву. Таковым оказался я. Не помню, кто — за ухо или за ворот рубахи — привел меня в кабинет директора. Скорее всего, был это Адам — учитель физкультуры. По крайней мере, таскать за ухо, за ворот, а то и дать пинка мерзкому школяру было для него делом приятным и привычным.

Кабинет был просторным и светлым — одно окно на улицу, другое в яблоневый сад. На одной стене, как водится, портрет Корифея, на другой — политическая карта мира. Конечно, это мы теперь праздно иронизируем, а тогда

портрет Вождя на стене был абсолютной необходимостью, он придавал значимость человеку; являлся для него и каменной стеной и — на сегодняшнем арго — крышей. В это время прозвенел звонок, и директор, прихватив классный журнал, какие-то тетради и не взглянув на меня, вышел из кабинета, оставив меня размышлять в течение сорока пяти минут о характере и степени моей вины. Не стал он говорить со мной об этом и после урока — сидел за столом под портретом Вождя, что-то писал, не обращая на меня ровно никакого внимания. И так прошел первый день. Утром следующего дня Адам снова выловил меня за воротник в школьной толчее и снова впихнул в кабинет директора на то же место. И так прошло несколько дней... Лишь на третий или четвертый день директор поднялся из-за стола, прошелся по кабинету и задумчиво остановился напротив меня. Разговор пошел, надо сказать, вполне серьезный: знаю ли я, что означают и кому принадлежали, что выражали эти символы? Знаю ли я о миллионах и миллионах погибших ради того, чтобы символы эти вместе с их носителями были повержены? Знаю ли я, на какие общенародные святыни покушаемся мы, затевая такие игры? Да и игры ли это? Нет ли здесь особого умысла? Сами мы придумали эту игру или кто-то стоит за нами? Может быть, все сложнее, серьезнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд? Может быть, разбираться во всем этом следует не в школе, а в иных кабинетах, например, в тех, которые занимаются проблемами госбезопасности? Может быть, речь должна идти не о проделках школьников, а о политике врагов нашего государства? И еще много таких и подобных риторических вопросов задавал мне директор.

Известно, в отношениях между учителями и школьниками есть свои правила: учителя должны нас «жучить», а мы должны терпеть. Однако есть и у нас свои преимущества: сколько бы и что бы они ни говорили, как бы грозно ни «жучили», школяры не принимают их слова всерьез. Главное, переждать грозу, перетерпеть. Мне казалось, что и сам директор понимает условия этой игры, праздность своих обильных речей. Но вот это последнее — об органах государственной безопасности и врагах народа, насторожило. А он, уловив, что один из снарядов лег в цель, уже настойчиво стал развивать тему... Нет, я все равно не поверил ни тому, ни другому. На пятый или шестой день стояния в кабинете я понял, что от меня ждут покаяния, а если с покаянием не получается, то хотя бы слез. Чего директор в конце концов и добился, а добившись, с явным облегчением написал приказ об исключении меня из школы на десять дней и с миром отпустил домой... Впрочем, обо всем этом я уже писал в повести «Семейный вечер» — с теми особенностями, которых требует жанр прозы. Мне и далее придется кое в чем повторяться, поскольку надежд на то, что читатели знакомы с моими повестями и рассказами, мало...

После окончания школы мы встречались нечасто, но если доводилось — вовсе не праздный интерес видел я в его глазах. Думаю, то был интерес не ко мне, а к моему поколению: насколько далеко разошлись наши воззрения, и следовательно, пути? (Вот так же и я сегодня смотрю на молодых людей: насколько далеко?..) Нет, разница меж нами не увеличилась, пожалуй, наоборот, сократилась: он ведь тоже менялся вместе со всеми нами, а может, и быстрее нас. Последний раз я видел его в Минске — случайно встретились на площади Победы. В костюме, при галстуке… Со сдержанной улыбкой, негромким голосом… Это уже во всех отношениях был иной человек. Недавно я узнал, что Михаил Матвеевич умер. Печально стало на душе. И так явственно, почти воочию, я снова его увидел — подтянутого, в синей офицерской гимнастерке, с орденом Красной Звезды на груди...

Ну и, наконец, о Пушкиной Вере Ивановне, о которой я мог бы рассказывать всю жизнь, — о моей матери. Однако не о ее многотрудной жизни, не о нравственной высоте души, не о простых, но поколениями выверенных принципах жизни, а — просто об учительнице русского языка и литературы.

Как-то я получил письмо от моего одноклассника Э. Ж., — письмо серьезное, толковое, с безнадежной попыткой понять мир и себя в нем. В школьные времена у него были две особенности: он был прекрасный математик, но вот с русским языком имелись проблемы. Понятно, что и то и другое — на всю жизнь. Не бывает, чтобы человек, с трудом решавший простейшие уравнения, вдруг на склоне лет просветлел умом, как не бывает и того, чтобы пришло прозрение в тонкостях грамматики. Мой старый друг, вполне сознавая это, написал мне, что повинны в этом два человека: первая его учительница и последняя. Первой учительницей была его покойная мать, последней — моя. Нет, мой друг, — подумал я, читая его письмо, — мы и только мы виноваты во всех наших проблемах. Наши достоинства мы получили от людей, но недостатки приобрели сами...

Как известно, во всех школах по разным предметам обучения устраиваются «открытые» уроки. Такой урок и сегодня повод и причина немалых волнений для учителя, что уж говорить о том времени? Однако надо сказать, что моя мать при всех трудностях и хлопотности таких мероприятий любила их. Задолго выбиралась и утверждалась тема урока, начиналась тщательная подготовка. Задолго оповещались учителя-языковеды всего района. И, наконец, этот день наставал…

Празднично одетые, мы приходили в школу. Несли из других классов стулья, тащили парты: известно было, что съедутся учителя со всего района. И даже колокольчик в руке у тети Поли звенел в тот день особенно звонко (до электрозвонков было еще далеко). И правда, следом за учениками сразу после звонка в класс повалили учителя — тоже нарядные и взволнованные, как и сами устроители школьного торжества.

Первая часть урока проходила обыкновенно: вопрос — ответ, отличаясь разве что «результативностью»: все приглашенные к доске давали исчерпывающие ответы и получали пятерки. Причина проста: все усердно готовились к праздничному уроку, но вызывались к доске, во избежание неожиданностей, только отличники и хорошисты, каждый из которых получал накануне прозрачный намек. Но вот — закрыт классный журнал, и Вера Ивановна с просветленным лицом обращается к аудитории...

Следует заметить, что материал для такого урока она выбирала выигрышный: жизнь и судьбу какого-либо писателя «золотого века» русской литературы. Ну а трагических или хотя бы драматических судеб в этот период истории — как говорится, десять из десяти. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь, Тургенев, Толстой...

Еще надо сказать, что хотя моя мать была опытным учителем, вовсе не за опытом приезжали на ее уроки языковеды района. Они приезжали за эстетическим потрясением, за катарсисом и — получали его сполна. В общем, когда она заканчивала урок, рассказывая, к примеру, о смерти Некрасова — «О Муза! Я у двери гроба...» — девочки наши сморкались в платочки, а приезжие учительницы откровенно и с наслаждением плакали.

Думаю, она была не только хорошей, но и справедливой учительницей. Хотя... Помню, в восьмом классе мы писали сочинение по «Слову о полку Игореве». И хотя по содержанию замечаний ко мне не было и орфографических ошибок в сочинении не нашлось, Вера Ивановна поставила мне четвер-

ку. «Со временем ты будешь писать хорошие сочинения», — единственно, что сказала она, вручая мне тетрадь. Пришлось всю жизнь положить на то, чтобы оправдать ее надежды, но пятерку у нее я, кажется, так и не заработал...

Ох, мама, мама! Со временем оказалось, что не только вся твоя жизнь — для меня, но и моя — для тебя. Нет тебя — и все ценности словно потеряли золотое обеспечение. Жизнь продолжается, но краски поблекли, и никому нет дела до моих маленьких побед и больших поражений.

Она отказалась после окончания института от направления в Несвиж и поехала в Мстиславль, потому что здесь жили старые отец-мать. Отказалась от предложения хорошего человека, потому что были на ее руках две сестры — одна глухонемая, другая тяжело больная жесточайшей формой эпилепсии, плюс ваш покорный слуга. Она отказалась...

Вся жизнь ее была чередой постоянных и решительных отказов от своих интересов, от самое себя ради своих близких — тех, кому, кроме нее, никто не мог помочь жить. Когда умерли родители, она взяла на себя роль центра когда-то большой семьи, волею судеб разбросанной по необъятной территории Советского Союза, помогая кому-то словом, а кому и посылками. *Долг и Служение* — вот понятия, которые вполне выражают сущность ее души.

Однако не следует думать, что вся жизнь ее была покрыта ровной пеленой печали. Отнюдь. Были и радости. И может быть, переживались они острее и благодарнее, поскольку соседствовали с печалью. Мама была жизнерадостным человеком. Собственно, только жизнерадостный человек и мог перенести столько горя.

...Зимними вечерами мы садились у теплой стены печи и мечтали о будущем. Например, о том, что будет, если выиграем на 3-процентную облигацию сто тысяч рублей. Или — пятьдесят тысяч, не меньше. На двадцать пять мама не соглашалась. Купим маме новое пальто, платье, одной тетке красивую жакетку и валенки, другой пуховый платок и новые галоши, мне брюки и новую зимнюю шапку, купим ковер на стену, какую-нибудь хорошую картину с горным или морским пейзажем, купим и то, и другое, и третье, и все равно денег останется так много, как дней в жизни, когда она только еще началась. Нет, не помнится, чтобы выиграли больше двухсот рублей... А еще мы пели. У тетки был очень высокий и чистый голос, у мамы альт, и она всегда вела вторую партию, я тоже неуверенно подпевал негустым юношеским баском... Будущее казалось прекрасным. Вполне можно было жить.

Как не вспомнить других учителей: Зинаиду Ивановну Румянцеву, Александру Романовну Бобкову, Станислава Петровича Орловского, Александру Николаевну Немцеву… Это были хорошие педагоги, интересные люди, однако личная жизнь их была для нас сокрыта.

Таланты и поклонники

В ТЕ БЛАГОСЛОВЕННЫЕ времена в моде была художественная самодеятельность. Кажется, все пели, танцевали, читали стихи и прозу, ставили юмористические сценки, показывали литературные композиции и физкультурные пирамиды. Все пользовались у зрителей одинаковым успехом, но, естественно, особенно те исполнители, когда сразу становилось ясно — это самородок, талант.

Такими были Таня Масленникова, обладательница чудесно звонкого, чистого, самой природой поставленного голоса, и Леня Шатковский с той

удивительной энергией голоса, которая захватывает и подчиняет слушателей при первых звуках. Как сложилась судьба Тани, не знаю, а Леня несколько лет назад приезжал в Мстиславль. Жил он на Дальнем Востоке, держал немалое личное хозяйство, хорошо зарабатывал, считал, что жизнь сложилась удачно. А я, с радостью слушая его голос, думал о том, что, конечно, слава и Господу Богу, и той Женщине, которая живет рядом с ним, не нарекая на трудную долю, но родись он в иное время, повернись чуть-чуть иначе судьба, и оба они — и Таня, и Леня — стали бы известны миру. Голос Тани очень напоминал голос знаменитой украинской оперной певицы Мирошниченко, а Лени... Нет, не с кем сравнить. Может быть, голос Зураба Соткилава? Особенное было у него звучание. Но даже в голову никому не пришло, что можно поехать учиться музыке в Могилев, Минск, Москву... Иное тревожило их в то время: как жить и выжить. Таня была детдомовка, Толик — из бедной многодетной семьи деревни Заречье.

Но рассказать я хочу о драмкружке нашей школы, которым режиссировала Мария Михайловна Евневич, учитель русского языка и литературы. Сперва была поставлена драма А. С. Пушкина «Русалка», князя в которой сыграл учитель рисования Облогин, он же написал фантастические декорации, являвшие собой одновременно и домик старика-мельника, и мельницу, и некий подводный русалочий мир. Хорошо помню его рыжие кудри, шапочку-пирожок — по-видимому, знак княжеского достоинства, руки, прижатые к груди: «Откуда ты, прекрасное дитя?»

Затем — пьеса В. Собко «За вторым фронтом». Двухактная, опубликованная в одном из «толстых» московских журналов, она и сейчас встречается порой в драматургических обзорах того времени. Содержание ее сводилось к тому, что репатриированная советская девушка попадает в руки английской разведки и сия разведка пытается склонить девушку остаться за рубежом. Вскоре об этом становится известно советскому военному руководству — начинается политическая, а еще больше психологическая борьба между советскими и английскими офицерами.

Содержание пьесы, да и сам факт полномасштабной постановки оказались столь впечатляющи для районных властей, что показывать спектакль было решено не в школе, а в Доме культуры, который располагался тогда в Соборном Николаевском храме. Зал его вмещал примерно 300 «человекомест», 100—150 — два балкона, на самом же деле людей набилось в два, а может, и в три раза больше. Думаю, где-то там сидели-стояли даже пожарники — гроза нынешних театров и иных мест увеселения. И — послушали бы вы тишину в зале и аплодисменты, которыми зрители наградили артистов, когда советскую девушку удалось вызволить из плена.

Конечно, дело не только в освобождении, но и в исполнении некоторых главных ролей. Таковых было две: советского и английского офицеров. Между ними развертывалось главное противостояние, содержалась патриотическая идея пьесы. Роль советского офицера была поручена вашему покорному слуге. И скажем честно и прямо, как говорится, без ложной скромности, я ее провалил. В начищенных хромовых сапогах, брюках-галифе и кителе я выглядел, наверно, не больше чем военным чиновником, исполняющим чей-то приказ, зал сочувствовал вовсе не мне, а — захваченной девушке, хорошенькой Ниночке Денисовой. Однако, чтобы сочувствовать, зал должен был ощутить некую реальную опасность, угрожавшую ей. И ***эту*** реальную опасность явила фигура английского офицера, роль которого исполнил Алексей К. (не привожу полностью фамилии, опасаясь, за давностью времени, исказить ее).

Накануне, перед спектаклем, встала задача: как одеть английского офицера? Никто не имел представления о форме войск Соединенного Королевства. Кому-то пришла в голову счастливая идея обратиться к учителю истории Казимиру Александровичу Боровичу. Дело в том, что Борович был этническим поляком, воевал в составе дивизии Тадеуша Костюшко, и на одном из праздников его видели в форме этой армии. И когда Алексей К. появился на сцене в польской «конфедератке» и непривычном по цвету и крою кителе, зал замер. Всем стало ясно: это чужой. Особое впечатление произвела и его манера говорить — неторопливая, вдумчивая. И даже его личная беда, его тяжелая болезнь — туберкулез коленного сустава — работала на художественный образ. Размышляя, убеждая девушку и советского офицера в своей правоте и преимуществах западного образа жизни, он, прихрамывая (у него не сгибалась нога), все ходил и ходил по сцене. (Не в пример советскому офицеру, то есть мне, стоявшему истуканом и провозглашавшему голые патриотиченские истины бодрым голосом.) Возможно, так сыграл бы эту роль Армен Джигарханян.

И опять я о том же: как было не понять, что среди нас живет чрезвычайно талантливый человек, надо лишь только легонько подтолкнуть его, показать направление. Ему и помогать не требовалось. Нет, не получилось. Он, кстати сказать, тоже был детдомовец. Ни разу больше я не встречал его и, скорее всего, не узнал бы на улицах города. Дай Бог, если удалось ему победить свою болезнь. Ну а то, что жизнь свою он прожил достойно, это понятно.

(Между прочим, когда я пришел в первый класс, учительница, что-то помечая в журнале, спрашивала каждого из нас, где живет, с кем. И едва не большинство отвечало — детдомовец. Я не понимал, что это означает, мне казалось, что это очень хорошо, завидно, тоже хотелось ответить так, но чувствовал, что не имею права…)

Можно ли сегодня вообразить такую постановку, такой интерес и сочувствие зрителей? Наверно, нет. Изменились времена, вкусы. У новых поколений свои песни. Одно ясно: и это пройдет, как сказано в древнейшей из книг. И может быть, однажды на сцену районного Дворца культуры выйдут Танечка Масленникова, Леня Шатковский, прихрамывая, появится Алексей К. — и на этот раз судьбы их сложатся иначе.

Очень много все же зависит от времени, периода, который проживает страна. Пройдет десять лет, и еще одна ученица нашей школы, любимица моей матери, Таня Минина легко поступит в Белорусский театрально-художественный институт. (Позже она рассказывала: к ней подошли две девушки-абитуриентки, поинтересовались: «Вы тоже поступаете?» — «Да». — «Не поступите, — заявили. — Вы некрасивая». Хотя Таня была очень даже, как говорится, ничего…

Шар порожней головы

НЫНЕШНИЕ МОЛОДЫЕ люди не очень ясно представляют, как праздновались 1 мая и 7 ноября десять-пятнадцать, а тем более полвека тому назад. Собственно, сам праздник — это краткий апофеоз, важнее подготовка к нему. Готовиться начинали задолго. Сперва, разумеется, должна была родиться достойная идея, а уж потом определялось, кто и когда станет ее осуществлять. Еще важнее то, что наша «белорусская» школа негласно соперничала с 3-й, так называемой «русской». Соперничество шло по всем линиям: по выправке,

строю, по убранству колонн, а главное — по символам, которые несли впереди.

За неделю до праздников всех старшеклассников, отменив уроки, выводили на улицу и учили ходить строем. «Ррраз!.. Ррраз!... Ррраз!» — четко командовал учитель физкультуры и военного дела Адам Григорьевич. Мы шагали с удовольствием. И люди с удовольствием поглядывали на нас. Все же не так давно закончилась Великая Отечественная война, мы победили, и эйфория еще не выветрилась из наших душ. Еще очень далеко было до скепсиса, который поразит души людей в семидесятые, восьмидесятые и в конце концов разрушит великий, но, как оказалось, виртуальный мир.

Итак, пришел он, Первомай! Грянул, обрушился музыкой, песнями на всех перекрестках, криками «ура!». Чему, казалось бы, радовались? Тому, что пройдем мимо трибуны с районным начальством, услышим привычные здравицы? Да, и этому тоже. А еще весне, маршам духового оркестра, синеве неба, своей молодости и жизни…

На повороте я оглянулся и увидел, как дружно, нога в ногу, вышагивает наша школа. Такого строя 3-й школе не снилось! Даже построенные в колонну, они шли толпой. Правда, в минувшем году они победили нас тем, что несли впереди колонны огромный шар — макет земного шара с ярко-красной территорией СССР. «Шар порожней головы, — кисло говорил учитель Климов, тоже задетый за живое. — Ничего, мы им…» — и яростно чесал-драл тремя мощными пальцами стриженую голову. И вот наступил он, день нашего торжества. В то время, как 3-я школа опять выкатила из ворот свой «шар порожней головы», мы торжественно вынесли на шестах макет Спасской башни Московского Кремля — едва не в натуральную величину…

В конце восьмидесятых годов прошлого века в Минске образовалось никаким образом не оформленное мстиславское землячество. Встречи происходят нечасто — раз в год. Многие считают, что лучше бы — раз в два года: все давно сказано, все друзья-приятели помянуты… И все же сразу после Нового года ждем: вот-вот раздастся звонок телефона: «В то же время на том же месте!» Конечно, никаких новых слов на встрече мы не услышим, все будет как всегда. Однако есть нечто более важное, чем слова: *знакомые с детства лица.*

Князь

КАЖДЫЙ ПОНИМАЕТ, что история началась не с него, что жили на Мстиславской земле иные люди, хотя более чем полувековое безбожие наложило печать равнодушия на наши души. А ведь они, предки, и внешне очень походили на нас, да и содержание их жизней, по существу, было равно нашему. Например, любовь, которую мы чувствуем к мужчинам, женщинам, детям, это то самое чувство, которое они передали нам. Не говоря о том, что не так уж заметно изменились окрестности нашего города за последнюю тысячу лет. Все так же высились Замковая и Девичья горы, эти же звезды видели предки, все так же бежала Вихра навстречу Сожу. Думаю, не меньше тысячи лет существует знаменитый «пятый песочек» — излюбленное место купания молодежи. Вот и топонимика пятисотлетней давности близка нашему слуху. Вслушаемся в звучание грамоты Александра, «Божьей милостью великого князя Литовского, Русского, Жомойтского и иных пан и дедич», которой он жаловал князю Михаилу Жеславскому город Мстиславль «…з дворцы на

имя Красное, Рясна, а Доброе, а Людогощь, а Пораднино, а Михайловское, а Селища, а Кордязи, а Будогощь…». Кстати, собирая материал о княжении Михаила Жеславского, я встретил в старых книгах иное, двоякое написание нашей любимой Вихры: Вехра, с ударением, по-видимому, на первом слоге, и — Вёхра. Это явно белорусское произношение слова, и лишь позднейшее влияние русского языка превратило Вёхру в Вихру.

Среди руководителей Мстиславщины с давних пор, естественно, были и умные люди, и глупцы. Но память наша и чувства так устроены, что глупцов и лжецов мы забываем быстро и окончательно, а людей добрых, честных, человеколюбивых помним. О первых князьях на Мстиславской земле мало что известно, а вот князь Михаил Иванович Жеславский был личностью особенной. Изучая документы того времени, я видел, что он человек «пришлый», не коренной мстиславец, что княжество Мстиславское не унаследовал, а получил, довольно выгодно женившись на княгине Юлианне (Ульяне), дочери Мстиславского князя Ивана Юрьевича. Однако откуда, как говорится, взялся? Нашел я, что до того, как оказаться в Мстиславле, был наместником Великого князя Литовского в Брянске, Витебске… Вычитал, что был слегка скуповат… Впрочем, что удивляться, наместник Великого князя — только звучит гордо, а на деле это чиновник на зарплате, звено все той же властной вертикали, и сегодня ты на твердом окладе, а завтра попадешь в немилость — и катись на все четыре стороны. Или низко кланяйся в надежде получить новое назначение… «Жеславский» — звучание как бы польское. Известно, что фамилии часто происходят от названия местности (Петр Мстиславец хотя бы). Но города с похожим названием в Польше не было и нет. Напротив, был Жеславль на Рязанской земле. Быть может, Михаил Иванович один из тамошних Жеславских, бежавших в Великое Княжество Литовское, например, от татар?

И вдруг нашел, что было у него два брата — Федор и Богдан. Один наместник Великого князя в Рше, то есть Орше, другой — в самом Минске. Тут-то их общая родина и сверкнула: город Изяславль, что в тридцати километрах от Минска. То есть сегодняшний Заславль. Вот и разгадка фамилии: Жеславский — польское произношение и написание фамилии Заславский.

Однако разыскания эти я предпринял не из простого любопытства книжного следопыта. Причина в том, что к этому времени я уже знал о его политике во время войн Московии и Литвы. В 1515 году, когда войска Василия Ивановича окружили Мстиславль, князь Мстиславский решил не сопротивляться и сдал город, дабы спасти от разорения и напрасной гибели. Дал присягу на верность московскому государю. Но когда войска московитов покинули город и подошли отряды Жигимонта (Сигизмунда), короля Польского, тотчас послал к нему гонцов с клятвой верности, хотя и понимал, что встреча с королем грозит ему казнью, как казнил Жигимонт Смоленского князя Сологуба за такую же временную измену — принародно отрубил ему голову. Сразу скажем: Жигимонт понял нелегкое положение Мстиславского князя и простил измену. Впрочем, жизнь Михаила Жеславского и дальше оказалась нелегкой: один сын умер, другой ушел на московскую службу к Великому князю Василию…

Может быть, придет время — появится в Мстиславле памятник и ему, князю, который думал о своих людях.

Однако я отвлекся. И речь идет о событиях, по времени куда более близких к нам.

Сапожник. Портной

НЕ ЗНАЮ, сколько евреев жило в нашем городе после войны, но идиш на улицах звучал часто. Однако что-то уже происходило в обществе. Еще далеко было до того времени, когда евреи получили возможность и право выехать из страны, но идиш начал уходить из обихода. А вместе со старшим поколением стало исчезать и знаменитое по анекдотам еврейское произношение.

Антисемитизма в нашей семье не было, скорее напротив, сочувственное отношение к гонимой, что ни говори, нации. К деду моему священнику Иоанну Пушкину довольно часто приходил кантор местной синагоги по прозвищу «Манька». У матери было немало приятельниц евреек. Довольно часто бывала у нас учительница истории Стера Львовна Вестерман — высокая, некрасивая — лицо ее было искажено гримасой, видимо, из-за перенесенной когда-то болезни, и вместе с тем — замечательно добрыми глазами. Конечно же, часто бывала Мера Иосифовна Пивоварова — соседка, а в будущем и родственница — сватья, на дочери ее, красавице Татьяне, женился уже упомянутый мною дядя Володя. Все это были хорошие люди.

Много лет спустя я пришел в хлебный магазин, где директором в то время был Герчаников, которого все называли Григорьевич, и он остановил меня у полок с изрядно зачерствевшим хлебом. «Это ваша фамилия Олег Ждан?» — спросил он с намеренно сильным еврейским акцентом: таково было условие словесной игры. «Моя». — «Так это мы ваши книжки читаем?» У меня тогда вышла первая тоненькая книжица. «Может быть, и мои», — ответил я с той же интонацией. «Хорошие книги! Вот вам наш гонорар!» — и протянул две буханки свежего хлеба.

Близких друзей среди еврейских ребят у меня не было, но приятелей — сколько угодно. А, к примеру, на еврейскую Пасху мы обязательно ходили на Еврейскую Слободу, и сверстники угощали нас кое-какими праздничными национальными блюдами. Помню разочарование, которое испытал, попробовав прославленной в народной молве мацы — постные, почти сухие блины. А нам-то казалось…

Не было осознанного антисемитизма и среди жителей города — так, ворчание в случае какого-либо конфликта, дескать — опять они устроились лучше нас. Да и откуда было ему появиться, если уровень жизни не слишком разнился и у евреев, и у белорусов, и у русских. Впрочем, сказать, что не было этого прискорбного явления вовсе, нельзя. Вспомним хотя бы, где располагалось старое еврейское кладбище. Не сами же евреи выбрали для своих близких ров на краю кладбища православного... Но тут речь уже не столько о людях, сколько о национальной политике имперской России.

…Пришла однажды, точнее, приковыляла на изуродованных болезнями ногах маленькая старая еврейка, жена сапожника, попросила какую-нибудь обувь, требующую ремонта. Дескать, муж у нее — хороший мастер. И за работу берет недорого. «Нет у нас такой обуви, — отвечала ей мать. — Есть только такая, что и сапожнику показать стыдно». — «Дайте мне, дайте! Починим — не узнаете!» Что за противная старуха! — думал я. Говорят же ей — нету. «Дайте, дайте!» Нашли в чулане какую-то допотопную, закоревшую — не то что сапожнику, самим глядеть стыдно. «Дайте, не узнаете!» — твердила свое старуха. Прошло несколько дней — опять явилась. «Вот ваши ботинки». — «Наши?» В самом деле, не узнать…

Хороших мастеров среди евреев было немало. Обойщик Саксон с вечным пятном на офицерской фуражке — клеил обои в одиночку, приходилось поддерживать головой. Портной Шейнин… Шейнин шил первый костюм в моей жизни и с таким уважением отнесся ко мне, к моей фигуре и моему пронзительно голубому материалу («О! — произнес он, увидев его. — Фуле!»), что я почувствовал себя самозванцем. Кузнец Авербах, кузница которого стояла на въезде в город со стороны деревни Коробчино, — все крестьяне той стороны знали его. Несколько позже директор горпищеторга Галкин И. Г., редактор районной газеты Шахнович И. Е., работавший на различных ответственных должностях Гинзбург Л. М. внесли немалый вклад в жизнь города. Да и многие другие, может быть, не столь заметные.

«Попишу!»

ЛЕТОМ 1953 года, после смерти Сталина и амнистии заключенным, город наводнили уголовники. Чувствовали они себя вольготно, пожалуй, даже героями. Известно, уголовники комплексами неполноценности или вины не страдают. Работать не хотели, а от безделья слонялись по городу, искали собутыльников, и конечно, находили. Очень часто поначалу дружеские застолья заканчивались истерикой, в которую уголовники впадали легко и охотно, а там и дракой. Особенно запомнился некий Броня — маленький, щуплый, кожа да кости, — он шнырял среди людей в поисках конфликта, поскрипывая зубами, поигрывая желваками. В те времена по вечерам и в выходные дни молодежь собиралась на площади напротив нынешней танцплощадки в парке — играли в волейбол да и просто, как теперь говорят, тусовались. Броня в тот день выглядел особенно неудовлетворенным, возможно, ему хотелось славы или хотя бы всеобщего внимания, а тут — волейбол! Ходил вокруг площадки, демонстрируя половинку бритвенного лезвия, зажатого меж пальцев, истерично вскрикивал: «Попишу!» Никто не обращал внимания.

А еще жил в Мстиславле китаец. По молодости лет я не интересовался им, не знаю, как он появился здесь, где работал и жил. Вот между ним и Броней вдруг вспыхнула ссора. Это в кино показывают драки на полкартины, а в жизни все проще. Китаец держал графин с пивом в руке — угрожающе поднял. Броня отскочил и схватил с земли камень. Правой рукой взмахнул — левой бросил. Броня был левша. Над головой китайца чуть выше виска ударил фонтанчик густой крови, и сразу же, подогнув колени, китаец грохнулся оземь. А Броня тотчас исчез, как исчезли все, кто был рядом, — кроме детей и подростков. Кровь из головы китайца продолжала обильно поливать травку. Нам казалось, он умер или вот-вот умрет. Но минуту спустя китаец зашевелился, кое-как поднялся и, зажав ладонью рану, сильно шатаясь, поплелся домой. А графин с пивом так и не разбился, остался лежать в лужице крови. Охотников забрать его пока не находилось…

Впрочем, таким и подобным драчкам в городе значения не придавали. Начинались уже дела поважнее: воровство, ночные грабежи, убийства.

«Попишу!» — корчился Броня от безадресной ненависти. Порой думалось: а как они, воры и убийцы, будут чувствовать себя, прожив жизнь? Наверно, все так же: корчась от ненависти. Но теперь это, как говорится, их проблемы.

Баня

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ в Мстиславле открылась вскоре после освобождения города, и помещалась она в здании теперешней котельной школы-интерната. Однако я там не бывал, мы мылись дома, жарко натопив железную печку. И только в 1946 году, когда приехал погостить один из моих дядьев, выживший после тяжелого ранения, мы, прихватив из дому сияющий медный таз, отправились в эту баню. Впечатление от посещения было потрясающим. Во-первых, неимоверный шум-гам, полный зал голых, неизвестно что и почему орущих мужиков. Во-вторых… Это и сейчас помнится, как будто было вчера. Как только вошли, распахнулась дверь парной, и два голых мужика за руки-ноги вынесли некоего тощего, бледно-зеленого, бившегося в конвульсиях человека. Много лет я чувствовал тихий ужас при слове «баня». Даже понятие ада было неким образом связано с ней, а грешники на Страшном суде выглядели именно так: голые, бледно-зеленые, дергающиеся всем телом. За руки-ноги их подносят к Судие… К этому надо добавить устрашающий свист из трубы, нагнетающей горячий пар. В общем, картина, напоминающая фантазии Босха.

Конечно, нынешняя городская баня не сравнится по комфорту с некоторыми столичными, в которых можно получить даже кое-какие интимные удовольствия, но рядовым столичным не уступит.

Приходилось мне бывать и в личных банях. Особенно запомнилась одна из них, когда… В общем, когда мы с женой были еще совсем молодые. А в Мстиславле появилась мода на собственные бани.

Жил в городе некий странный, на мой взгляд, человек. Известен был тяжелым характером, ни с кем не здоровался, со всеми соседями переругался. Мы с ним почти не были знакомы, но не было случая, чтобы он при встрече как-то не зацепил меня. «Эй, рыжий, ты как? Ничего?» — «Ничего». — «Ну и вали дальше, если ничего». И вот однажды опять остановил: «Ты, говорят, женился?» — «Ну», — ответил я, ожидая обычного: «Ну и вали дальше, если…» — «Приходи в субботу с женкой, помоетесь. Я баньку построил». — «Ладно», — удивился и обрадовался я. Мне-то казалось, что он почему-то сильно меня не любит.

И в субботу, в назначенный час, мы были в его баньке. Конечно, без ухмылок, подмигивания, простеньких шуточек при встрече не обошлось. «Сам ей спинку потрешь или меня позовешь?.. Одно знаю, бабу лучше перепарить, чем недопарить. Так что старайся. Работай. Если что — крикни. Помогу».

Банька у него была хороша: новенькая, из свежих бревен и досок, еще хранивших густые смолистые запахи. Правда, сделана была на скорую руку, тяп-ляп… Ну, это уже и вовсе не наше дело. Ну а дальше… Представьте, что вы в бане с молодой женой. Что она и вообще желанная для вас женщина, а тут еще и… Понятно? Можно и переменить угол зрения: вы в бане с любимым мужем. Понятно? Как ни посмотри, все ведет к главному в жизни — к любви. И когда я обнял ее, точнее, когда… Нет, не могу точнее. Советское воспитание, старомодные взгляды. Короче, скамейка, прибитая к стене ржавыми гвоздями, рухнула, и мы загремели на пол. Мы — ладно, поболит — перестанет. Но что делать со скамейкой, как объяснить случившееся хозяину? Домылись мы кое-как. Никаких нескромных желаний больше не возникало. Молча и в полной тишине одевались. Вот он, хозяин. Сидит на крылечке, ухмыляется, завидев нас, виноватых, пришибленных. «Ну как? — прозвучал естественный вопрос. — Понравилось? А чего не позвал? Сам справился? Ну, а она? —

подмигнул в сторону жены. — Дал ей пару? Выдержала?» Вот оно, спасительное слово! «Выдержала, — сказал я. — А вот скамейка твоя не выдержала». И еще что-то я говорил в том же духе, закрепляя некий шутливый тон. По мере того, как до хозяина доходило, что скамейка и в самом деле не выдержала, лицо его менялось. Наконец он кинулся в баньку, а когда выскочил… «Ах ты … … … …» И так далее. Он стоял на крыльце, глядя нам вслед, и, потрясая кулаками, посылал проклятия и такие ругательства, которые привести здесь никак нельзя.

Но это было очень давно. Теперь мы моемся либо в нашей чистой и удобной городской бане, либо в бане соседа, во всех отношениях достойного человека. Скамейки давно не портим, ведем себя скромно: не тот возраст. Хотя… Нет, надо, как говорится, совесть иметь.

Ретро

КАК-ТО моя старая знакомая, Алиса Ивановна Бородич, в прошлом известный врач в Мстиславле, страдающая болезнью ног, попросила провезти ее по городу: много лет она не выбиралась дальше своей калитки. Мы поехали. Я крутил баранку, а моя жена показывала красоты и в самом деле расцветшего города, не пропуская ни одного отреставрированного здания, ни одной новой чем-нибудь примечательной постройки. Но что ей памятник Петру Мстиславцу, колоннада в центре, новые магазины и улицы! Алиса Ивановна смотрела по сторонам с жадным любопытством, но в конце нашей экскурсии загрустила. «Чужой город, — сказала печально. — Хочу в старый Мстиславль». Таким вот оказался итог. Что — красоты? Родина ее там, а не здесь…

В девяностые годы минувшего века, потеряв работу, зарабатывая извозом на жизнь на своих стареньких «Жигулях», я приостановился около двух девушек, «проголосовавших» перед моим автомобилем. «К Мэдисон-клубу, если можно». Известный этот клуб был мне по пути, и я открыл дверь. «Можно, мы будем курить?» — «Пожалуйста». — «Можно включить музыку?» — «Пожалуйста». — «Можно…» — «Пожалуйста». Они рассмеялись. «Вы нас извините. У нас неприятности, сами не знаем, чего хотим». Так мы познакомились и разговорились. Неприятности оказались обычными: обманул любимый человек, предала подруга, закончились деньги. Но от банальности неприятности не становятся менее горькими. «Противное, противное время! Противные люди, город, государство!.. Свалить бы куда-нибудь, да не получается. Замуж иностранцы не берут, в проститутки идти не хочется… Вот ваше время было — настоящее!» Она, конечно же, имела в виду мой почтенный возраст. «Думаете, в мое время не предавали друзья и возлюбленные? У всех всегда хватало денег?» — «Я не об этом, — с досадой отмахнулась она. К этому времени я уже различил тонкий запах вина в салоне. Этим, видно, и объяснялись откровенность и категоричность девушек. — В ваше время ухаживали! Танцевали танго и вальсы! Мой папа три месяца ухаживал за мамой, пока она позволила себя поцеловать! А теперь? Мэдисон-клуб — крутой клуб, дискотеки лучшие в городе, а зайдите в туалет! Презервативы, шприцы валяются… Противно!»

Разговор пришлось прекратить, поскольку подъехали к клубу. Крепкие парни у входа, на стоянке ряд дорогих машин…

А я, распрощавшись с девушками, подумал о том, что кое в чем они правы. С нравственностью у нынешнего общества есть проблемы — боюсь, неразре-

шимые. Например, сколько раз меня останавливали девушки — с тротуара не видно, кто за рулем — молодой человек или не молодой. Когда это случилось в первый раз, разговор получился комедийный. «Вам куда?» — спросил я, приоткрыв дверь. «Да хоть куда!» — ответила девушка. «Не понял», — сказал я. «Ну и дурак!.. Отдохнем, расслабимся!»

А еще я подумал о том, что у нас действительно было неплохое время — конечно же, потому, что были молоды. И мы в самом деле *ухаживали* за нашими возлюбленными. Что там — три месяца! Разве это срок?.. И еще подумал — конечно, не срок, ни тогда, ни сегодня, ни завтра, — если, разумеется, повезло и Бог послал тебе настоящее чувство. Любовь.

Мстиславль помаленьку восстанавливался. Постепенно исчезали послевоенные пожарища и пустыри, появлялись новые дома, и следовательно, новые семьи. Вот уже и наследники фронтовиков — голодноватые, прожорливые — выходят на промысел: где тут чей-нибудь сад-огород? Кушать хочется. Голод не тетка, пирожок не поднесет.

Было у меня два приятеля — братья-погодки. Младшего, с лицом печального ангела, звали Сергей-мергей, старшего — Коля. Бедствовали они страшно. Сергей-мергей, когда донимал голод, ходил по домам. «Подайте сироте кусочек хлеба». Голос у него тоже был ангельским. Подавали исправно, никогда не возвращался пустым. Мать за попрошайничество била его смертным боем, но в конце концов смирилась. Если попадалось что-нибудь вкусное, Сергей угощал и ее, и брата Колю, которому лучше умереть, чем просить, и приятелей, которым тоже лучше умереть, а еще лучше — что-нибудь съесть и жить, жить, жить…

К середине пятидесятых исчезли последние признаки минувшей войны. К этому же времени как-то незаметно исчезли с улиц и фронтовики-инвалиды. Кто-то умер, кто-то женился-остепенился, кто-то потерял интерес к молодой толпе. На сцену выходило поколение, рожденное накануне войны, — мое поколение. Но вот и оно уже давно не на сцене, а спокойно сидит в зрительном зале, с любопытством поглядывает на тех, кто пришел. Точнее, кто приходит-уходит.

Приходят разные: и друзья, и враги.

Но, в сущности, как это относительно — друзья, враги… Если подумать, все мы, современники, люди, живущие «здесь и сейчас», более близки друг другу, нежели мы и наши далекие потомки, предки. Близки по смыслу и содержанию наши счастья-несчастья. Окажись вдруг в ином времени — на сотню-другую лет впереди или позади — увидишь чужих, непонятных людей. Свое время — это и есть наше счастье. А еще — лица. Знакомые, знакомые, знакомые лица…





Анжела БЕЦКО

Выше небушка не вырасти

Дурочка

Дурочка живет.
Виктор КРИВУЛИН

А дурочка по-прежнему живет:
плетет венки. Цветами засорила
углы и стены крохотной каморки.
И августовским палевым жнивьем
плетется в ад — к живым — и в небо — к мертвым,
летит в прогал — кончаются перила:
в корзине — яблоки и в банке — мед.

А дурочка по-прежнему. Плавник
Господней рыбы пилит терпеливо
и ждет-пождет внезапного прилива,
серебряного, точно по часам.
Как будто Бог возьмет ее в ладони
(Сам — невесом, а спустит небеса)
и будет с нею. В дурочкином доме.

И станет ей понятен тот язык,
которым говорят цветы и вещи.
И спустятся святые. Будет вещим
тот дивный сон, что никому нигде…
как дурочка с Иисусом — по воде.

К Офелии

На дне она, где ил:
Ил!.. И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах...
Марина ЦВЕТАЕВА

Ах, Офелия, не слушай: все мужчины лгут.
На замок — и слух, и душу: Гамлет — сущий плут,
маска, выскочка, мальчишка, карнавальный смех.

О таких напишут в книжках: на страницах — всех!
О таких — мольбы и гимны. О тебе — строка,
где бурлит — гостеприимна — вешняя река.
О таких — стихи, баллады. Светятся меж век
у таких в жару прохлада, и колючий снег,
и кипучие метели. У таких — держись! —
и Камелий, и Офелий — пачками за жизнь.
У таких — колода маний. О таких — Шекспир.
У таких — весь мир в кармане. О таких — весь мир!..

У тебя — глаза и руки, и поющий рот —
нет, охоту к горькой руте он не отобьет, —
сердце — ласточек гнездовье и Господень вдох.
Станет стылой нелюбовью теплое гнездо,
где хотела быть счастливой… Стонет у воды
вечно плачущая ива с опытом беды.
У тебя — последний венчик злой надеждой всплыл…
Кто не люб и кто не венчан, тем на дно, где ил.
Только, девки, не хотите ль — рядом — два шажка —
в монастырскую обитель и за дурака?!
Глянь, невестушкой нарядной ранняя звезда.
Ох, Офелия, прохладна вешняя вода…

Сбереги, Господь, затворниц, что венки плетут
в мраке келий — в свете горниц ласточкой поют…

снег наоборот

шел снег и вечером, и днем.
шел ты и женщина чужая.
шел снег, едва соображая,
что хорошо идти вдвоем.
и это знает каждый школьник:
«три» образует треугольник.

а снег не знал. он просто шел
на красный, желтый и зеленый,
по «зебре», клумбам и газонам,
рождая рой пушистых пчел:
когда зима еще вначале,
нет места мартовской печали.

снег плыл — и вы за ним — шаг в шаг, —
доверчивые, тихо плыли —
и все пространство украшал,
из мягкой серебристой пыли
лепил пейзаж. но так непрочно,
как лепят из папье-маше:

не надо снегу о душе,
зато муляж выходит точный.

и вдруг споткнулся, вверх шагнул —
внутри забилось что-то птичье —
свалился, встал и отряхнулся,
потом чему-то усмехнулся
и в небо темное рванул,
забыв про возраст и приличья,
смешно и глупо, невпопад!
с земли потоком в небо хлынул!
такой зимы не знали зимы,
такому снегу каждый рад:
проспект, бульвар и сонный дворик,
а больше всех — бессонный дворник…

в окошко девочка глядела,
как снег летел, летел, летел
и выпасть в небе так хотел,
что темнота вокруг редела
и отступала к фонарям —
к танцующим и мутным пятнам.
и очевидным, и понятным
все было в мире.
и не зря…

и снег летел, как человек
влюбленный, выпорхнув из тела,
и ты летел как этот снег,
и рядом женщина летела.

ничей

выше небушка не вырасти
ни на суше, ни в воде.
нет на свете большей сирости,
чем свивать гнездо нигде.
прописался глупый скворушка
в раззолоченном раю.
как живется, серо перышко,
у могилы на краю?

горизонт забит скворечнями
в той заморской стороне,
двухэтажными, нездешними
да пустыми — в глубине…

а у нас снежинки мечутся,
как рыбешки…

но зато
минареты в полумесяцах
в том краю, где ты никто,
богородицы по улицам
да спасители…
не те?..

а у нас — Один…
сутулится,
воскресает на кресте…
а в окне — всполох рябиновый —
рай оседлых снегирей…

а в твоем — горчит чужбиною,
ночь — темнее, день — серей,
оттого и бродишь за морем…

а у нас — белым-бело,
на просвет — все то же самое,
с небом дружится крыло,
только к прозе мы привычные:
горы — снега, ведра — щей —
хорошо до неприличия!..
чей ты, скворушка ничей?





Сергей КОВАЛЕВСКИЙ

Два рассказа

Почти сказочные истории

Хозяйка леса

Два выстрела раздались практически одновременно, громким эхом прокатившись по густому лесу. Охотник заметил, что промахнулся, и второпях перезаряжал ружье, в то время как его помощник снова прицелился в хищного зверя.

Молодая волчица, спрятавшись за широким стволом дерева, осматривалась по сторонам в поисках очередного убежища. Она как будто понимала, что такое ружье и какая опасность от него исходит.

Когда хищница метнулась к ближайшей сосне, выстрелы повторились. Однако пули прошли мимо и ударились в низ дерева, вырывая из него куски коры.

— Не трать патроны зря, раз стрелять не умеешь! — выругался старший по прозванью Димон. — Ты только пугаешь ее. Уйдет ведь!

— Никуда она не уйдет, — отмахнулся второй. — Я ее вижу. Вон, под той сосной сидит. Лучше в обход идти.

Охотники медленно двинулись вперед, пробираясь сквозь заросли кустарника.

* * *

Когда прозвучали первые выстрелы, Сергей подходил к своему автомобилю.

Его красный пикап стоял на обочине лесной дороги в тени огромной раскидистой ели.

Парень открыл дверку с пассажирской стороны и поставил на сидение ведерко, наполовину заполненное грибами, — небогатый урожай для опытного грибника, но... Сергей больше не мог находиться в лесу. Его раздражала стрельба в этих тихих местах, а к действиям охотников он относился с явным неодобрением.

Сергей начал обходить пикап, чтобы сесть за руль, когда на дорогу выскочила раненая волчица. Она извивалась на пыльной дороге, а из пробитого бедра сочилась кровь. Хищница зубами пыталась дотянуться до больного места, но вскоре ослабела и упала на песок.

Сергей знал, насколько опасно приближаться к раненому зверю, тем более к такому грозному хищнику, как волк. Загнанный в ловушку или находясь на пороге смерти, он способен на многое. И любое столкновение с ним может оказаться для человека фатальным.

Но в ту минуту Сергей не думал об этом. Сострадание ко всему живому взяло верх над здравым рассудком, и парень сделал несколько шагов в сторону волчицы.

Та вдруг, приподняв голову, стала внимательно следить за ним. Сергей сделал шаг, потом еще один, и вот он рядом.

Волчица смотрела на него обреченно, и этот взгляд влажных зеленых глаз на мгновение парализовал его. Что-то необычное было в этом взгляде, словно измученное животное безмолвно просило о помощи.

Сергей опустился перед волчицей и осторожно коснулся ее грубой мохнатой шерсти, стараясь не потревожить свежую рану.

— Надеюсь, ты не оттяпаешь мне полруки? — сказал он с опаской.

Но волчица не шевельнулась. Она продолжала смотреть ему в глаза, и Сергея пробила дрожь. Но не от страха, а от нереальности происходящего. Волчица не проявляла никаких признаков агрессии, словно она росла не в дикой природе среди себе подобных, а среди добрых людей. Сергей даже начал сомневаться, что перед ним волк, а не домашняя собака, — таким все казалось неестественным.

Волчица еще выше приподняла голову, а потом неожиданно лизнула Сергею руку. Этот жест дал окончательно понять, что животное настроено дружелюбно.

Справа в кустах послышались голоса и треск ломающихся веток — охотники приближались.

Сергей колебался буквально секунду.

— Хорошо, — сказал он. — Я увезу тебя. Но если выкинешь какой-нибудь фокус, отдам на растерзание вон тем нехорошим людям.

Волчица издала долгий подвывающий звук, словно соглашалась с человеком.

Он осторожно приподнял животное и понес к своей машине.

Открыв задний борт, Сергей уложил волчицу на брезент в грузовом отделении. Затем закрыл его и, обойдя машину, уселся за руль.

Когда он запускал двигатель, из леса вышли охотники. Они остановились посреди дороги, рассматривая багровое пятно на песке.

Сергей проехал мимо них, а когда взглянул в зеркало заднего вида, заметил, что те машут ему руками, требуя остановиться.

* * *

Леонид Авхимович, шестидесятилетний мужчина, почетный ветеринар совхоза «Ухвала», трудился на своем приусадебном участке, когда услышал шум приближающегося автомобиля.

Распахнув ворота, он узнал пикап племянника.

— Что случилось? — Леонид отметил озабоченный вид парня.

Сергей откинул борт автомобиля.

— Требуется ваша помощь.

— Кому? — ветеринар заглянул в кузов машины, и его едва не хватил удар. — Ты с ума сошел?! На кой черт ты ее сюда приволок?!

— Она ранена, — спокойно объяснил парень, извлекая волчицу. — Ваши услуги будут оплачены.

— Осторожно! Она может тебя укусить! Ты разве не слышал о бешенстве...

Сергей ничего не ответил и молча понес животное в дом ветеринара.

Тот бежал следом вприпрыжку, явно обеспокоенный появлением столь необычной пациентки.

— Как, по-твоему, я должен лечить волчицу?! Ведь это не корова и даже не поросенок! Это волк!

— Введите снотворное, достаньте картечь и обработайте рану, — терпеливо сказал парень. — Это все, что от вас требуется.

— Ну да. Совсем ерунда, — с сарказмом произнес ветеринар, смахивая со лба холодный пот. — А я-то подумал...

Сергей прошел вглубь дома и опустил животное на смотровой стол.

Волчица лежала неподвижно, и только по ее неровному дыханию можно было понять, что она еще жива.

— Приступайте, доктор. Я подожду на улице.

* * *

В то время, когда ветеринар проводил операцию по извлечению пули, по длинным улицам деревни Ухвала разъезжала белая «девятка». Ее пассажиры искали владельца красного пикапа.

Охотники опросили местных жителей, и те однозначно указали на молодого дачника из Минска, который на все лето приезжал в свой домик, расположенный в конце деревни.

«Жигули» рванули по указанному адресу, но в домике, стоящем на краю леса, никого не оказалось.

— Может, на Минск укатил? — предположил Димон.

— Ага. Из нашего трофея себе шубу шить, — пробурчал второй охотник, Евген. — Вон, смотри, калитка не заперта, а во дворе вещи лежат. Думаю, надо подождать.

Димон согласился.

Мужчины принялись ждать...

* * *

Сергей сидел на скамейке у дома ветеринара, курил и обдумывал ситуацию, в которой оказался. По всей видимости, охотники будут его искать, что само по себе сулило неприятности. Сергей взял их добычу. Их трофей. Тот самый, за которым они весь день гонялись по лесу.

Разумеется, такое прощать нельзя...

Из дома вышел ветеринар и присел рядом с племянником.

— Жить будет, — хмуро произнес он. — Только увози ее побыстрее. У меня скотина нервничает. Петух и тот на крышу залез, и глаза у него стали по пять копеек. Не к лицу такие птице.

— Спасибо, дядь Леня.

— Всегда пожалуйста. Что собираешься с ней делать? Только не говори, что заберешь с собой в Минск, где она будет вместо комнатной собачки. Это плохая идея.

Сергей усмехнулся. Забавный у него дядька.

— Нет. Я отвезу ее назад, в лес. Там ее дом.

Наступила долгая пауза, нарушенная ветеринаром:

— Добрый ты, племяша. Оттого и проблемы все.

— Вы предлагаете быть злым?

Леонид ничего не ответил.

* * *

Охотники наблюдали, как по проселочной дороге двигался красный пикап, а затем заехал во двор дома.

— Пора, — скомандовал Евген, и мужчины вышли из своей машины.

Пикап остановился, но Сергей не спешил покидать салон.

Он ждал, пока охотники подойдут ближе.

Жизнь Сергея состояла из опасных, порой трагических моментов, но он никогда не отступал. Тем более, когда вопрос касался жизни другого существа, пускай даже волка.

Сергей приоткрыл дверку машины:

— Какие проблемы, мужики?

— Проблемы у тебя, парень. Выходи, поговорить надо.

Сергей окинул взглядом мужчин, оценивая их физическую форму, и сделал заключение, что нет ее, формы этой. Оба невысокого роста, худощавые, совсем не спортивные, и без ружья грош им цена.

— Говорите. Я и отсюда прекрасно слышу.

— Где наш трофей? — резко спросил Димон, искоса поглядывая на закрытый борт пикапа.

— Откуда мне знать, где ваш трофей. Полагаю, в лесу остался.

— Не прикидывайся дурачком! Мы знаем, что это ты увез убитого волка. Верни нам зверя и считай, тебе повезло.

— А если нет?

Охотники рассмеялись.

— Тогда мы твою избушку на дрова разберем. И вообще...

Он не договорил. Сергей ткнул его дверкой в нос и вышел из машины.

Второй охотник попытался ухватить парня за грудки, но тот оказался проворнее и быстрее. Резким ударом кулака в область солнечного сплетения Сергей заставил Димона сложиться пополам, а затем и распластаться на земле.

Евген смахнул кровь из разбитого носа.

— Конец тебе, щенок! — злобно прошипел мужчина, но сам не двинулся с места.

— Без ружья вы ничего не стоите, — сказал Сергей и вернулся в машину.

Развернувшись, он поехал в сторону леса.

* * *

Солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая кроны деревьев в огненно-красный цвет.

Сергей вел пикап по грунтовой дороге, стараясь уехать как можно дальше от мира людей и цивилизации.

Парень жалел только об одном: не дал волчице возможности окрепнуть и набраться сил. Но у Сергея не оставалось выбора. Проклятые охотники нашли его раньше, чем он предполагал. Через сорок минут поездки Сергей остановил машину в самой глуши соснового леса. Это были совершенно дикие места, куда боялся сунуть нос даже самый отважный охотник. Богатый разнообразной и густой растительностью лес давал убежище многим хищным зверям. Включая волков и бурых медведей.

Сергей вышел из машины и встал рядом с бортом грузового отделения.

Он не мог поверить своим глазам: волчица выбралась из-под брезента и сидела в кузове на задних лапах.

— Будь я проклят! — произнес Сергей. — Да на тебе все заживает быстрее, чем на собаке!

Он открыл борт, давая понять, что она свободна.

Однако волчица не двинулась и продолжала сидеть на месте.

— Ты не хочешь возвращаться в свой дом?

Волчица наклонила голову, словно прислушиваясь к звукам темного леса, а затем задрала ее вверх и протяжно завыла.

Это был громкий, призывный вой дикого зверя, и Сергей почувствовал, как холодок пробежался по его спине.

Прошло некоторое время, прежде чем волчица замолчала и опустила голову. Хищница посмотрела своими грустными глазами на Сергея, и тот готов был поклясться, что увидел в них благодарность.

Парень не сразу обратил внимание, что вокруг него стали происходить странные вещи: шорох, хруст сухой травы, треск ломающихся веток...

Волчица шагнула на край борта, затем уверенно спрыгнула на мягкую траву. Хищница все еще хромала, но, во всяком случае, более или менее сносно передвигалась на всех четырех лапах.

Волчица испустила какой-то странный звук и посмотрела в сторону дороги, откуда они приехали.

Сергей обернулся...

Белые «Жигули» быстро приближались к ним.

— Вот ублюдки! — едва слышно произнес парень.

Он хотел было достать из кабины монтировку для достойной встречи «гостей», как вдруг замер в оцепенении.

Только сейчас он понял, что задумала волчица, и это само по себе было невероятным. Ведь сознательное мышление — способность людей, но никак не животных. Они подчиняются только своим природным инстинктам.

Но эта волчица пыталась доказать обратное и вела себя как настоящая хозяйка леса. «Жигули» остановились позади пикапа, и охотники вышли из машины. На этот раз они не забыли захватить с собой ружья.

— Отличное место для могилки ты себе выбрал, щенок...

Они сделали пару шагов и застыли от удивления. Им никогда не доводилось созерцать живого волка, дружелюбно стоящего в компании с человеком.

— Зря вы сюда приехали, — спокойно сказал Сергей. — Этот лес не любит охотников. А для них всех, — он сделал широкий жест рукой, — у вас не хватит патронов.

Мужчины непонимающе осмотрелись по сторонам и вздрогнули. Им открылась картина, которая могла явиться человеку только в кошмарном сне — повсюду собирались волки. Сотни красных глаз мелькали среди деревьев, и они приближались. Все ближе и ближе. В вечерних сумерках это было поистине жуткое зрелище.

Охотники медленно попятились назад, а их взгляды наполнились ужасом. Неописуемым ужасом.

Волчица зарычала и клацнула зубами.

Они бросились к своей машине...

Пикап мчался по ночному шоссе, увозя Сергея в Минск.

Всю дорогу парень думал о волчице, с которой расстался в лесу несколько часов назад.

Как животное смогло понять смысл слов человека и отличить врага от друга? Возможно, помимо естественных инстинктов они обладают другими способностями, о которых люди не догадываются. Или все зависит от самого человека и его отношения к природе? Зверь чувствует доброту и доверяет человеку. Наверное, так.

Леший

Димон и Евген возвращались к своей машине. Их первая охота в наступившим сезоне оказалась неудачной — хоть бы один паршивый заяц попался. Но лес словно вымер. Все звери куда-то подевались, да и птицы умолкли, притаившись в чаще. Охотники не знали, что именно их появление в лесу потревожило покой его обитателей. Звери чувствовали опасность и ожидали ухода людей с оружием.

На ветке ближайшей сосны Димон заметил пышнохвостую белку. Она сидела неподвижно, сжимая в лапках желудь.

Он вскинул ружье, прицелился и ради забавы нажал на курок. Раздался выстрел. Пуля попала точно в цель, и пушистый зверек замертво упал на землю.

— Есть! — воскликнул Димон. — Учись, Евген, пока я жив!

— Да ладно... — отмахнулся тот. — Я и сам так умею.

Охотники даже не взглянули на свою добычу, а побрели дальше в сторону лесной дорожки. На ее обочине, прямо под высокой елью, стоял их старенький, видавший виды «Жигуленок».

Каково было удивление охотников, когда возле машины они увидели пожилого человека в лохмотьях. Он стоял, прислонившись к машине, а его руки были сложены на груди.

— Кого ждешь, дед? — грубо спросил Евген, подходя ближе.

Старик улыбнулся.

— Вас.

— Зачем? Мы не такси и извозом не занимаемся. Топай пешком.

Человек развел руками.

— А мне и не нужны ваши услуги. Я просто хотел сказать, что вы нарушаете покой здешних мест...

— У нас лицензия на охоту, — вмешался Димон, брезгливо рассматривая неопрятного старика. Бомж, что ли?

— Лицензия? Но только не для этого леса.

— Для любого леса! И вообще, кто ты такой, чтобы нам указывать?

Старик засмеялся, а затем загадочно спросил:

— И вам не страшно?

— Кого? Тебя, что ли, ветошь старая?

Человек осуждающе покачал головой и, больше не сказав ни слова, зашагал вглубь леса — через мгновение он растворился среди деревьев.

— Испугался, — усмехнулся Евген, открывая дверку «Жигулей». — Поехали, Димон. Я знаю места, где нас ожидает настоящая охота.

Охотники забрались в машину и покатили по пыльной дороге.

Но проехали они совсем немного.

Уже через сотню метров машина начала глохнуть, а затем и вовсе остановилась.

— Что за ерунда?! — выругался Евген, пытаясь снова запустить двигатель. Но безуспешно.

— Это проделки того старика, — заметил Дима. — Он явно что-то в бак насыпал.

— Да я его за это... — Евген выскочил из машины: — Дед! А ну стой! Я тебе сейчас такую лицензию выпишу, век помнить будешь!

Эхо подхватило слова охотника и несколько раз повторило их, гулко разнося по всему лесу.

В ответ послышался далекий жутковатый смех.

— Ты слышал, Димон? Он еще и смеется над нами!

Тот тупо смотрел сквозь стекло автомобиля.

— Белка...

— Что белка? При чем здесь белка?

— Вон там сидела белка, — уточнил он, ткнув пальцем в сторону кустарника.

— И что?

— Проверь.

Евген усмехнулся, но все же прошелся по кустам.

— Нет здесь ничего. Наверное, померещилась.

— Должна быть, — настаивал Димон. — Маленькая такая, пушистая...

— Тогда иди посмотри сам! — не выдержал тот.

Димон взял ружье и вышел из машины.

Быстрый осмотр ближайших кустов показал: никаких белок и в самом деле нет.

— Чертовщина какая-та! Ведь была же... Тихо! — Димон приложил палец к губам. Он уловил едва слышные звуки в зарослях папоротника... — Что-то там...

Охотники прошли вперед и вдруг замерли.

Они услышали треск ломающихся веток и тяжелое дыхание крупного зверя.

— Это явно не белка, — обрадовался Евген. — А как минимум лось!

Охотники не обратили внимания на то, как вокруг них стали сгущаться сумерки и ясный день неожиданно превратился в вечер.

А затем смолкли все звуки. Наступила небывалая тишина, словно вся жизнь в лесу остановилась.

Внезапно послышалось низкое угрожающее рычание, и этот жуткий рык на мгновение словно парализовал охотников. Он явно исходил не от лося и даже не от медведя. Он вообще не мог принадлежать ни одному зверю, когда-либо обитавшему в этих краях.

Охотники заметили, как зашевелились кусты, и вскинули свои ружья.

Они не могли рассмотреть, кто там двигается, но отчетливо слышали, как высокие заросли папоротника трещали под напором крупного существа.

Евген подумал, что в зарослях скрывается тот странный человек, и крикнул:

— Старик! Если это твои фокусы, то пеняй на себя! Мы можем ненароком подстрелить!

Однако существо продолжало двигаться, приближаясь к охотникам. Они подняли ружья и сделали предупредительные выстрелы. Грохот эхом прогремел в лесу, разлетаясь на многие километры...

* * *

Виктор Астапкович, егерь Ухвальского лесничества, стоял на крыльце перед зданием лесхоза, курил сигарету и вслушивался в далекие звуки ружейных выстрелов.

Местный защитник природы пытался определить, откуда они исходят, а когда понял, то быстро вернулся в свой кабинет.

— Олег, по-моему, у нас в лесу завелись браконьеры, — сообщил он помощнику. — Охотятся прямо в заповедной зоне.

Помощник удивленно посмотрел на шефа:

— В заповедной зоне? Не может быть! Впрочем, я знаю пару идиотов, которые могли туда отправиться.

— Мы оба знаем этих идиотов. Звони участковому, нужно организовать задержание.

Помощник вдруг расплылся в улыбке.

— Витя, ты помнишь, что случилось с теми браконьерами, которые пытались охотиться на территории заповедника?

— Конечно, помню. Трое пропали без вести, еще один сошел с ума... — Виктор внимательно посмотрел на Олега. — Ты все еще веришь в легенду про лешего?

— А во что мне верить? Где разумное объяснение чертовщине, происходящей с браконьерами, а главное: что за существо бродит по заповеднику? Возможно, это его проделки.

Виктору хотелось рассмеяться, но вместо этого он серьезно сказал:

— В таком случае, я этим парням не завидую. Они надолго запомнят свою охоту.

— Если останутся живы, — так же серьезно добавил Олег.

Впервые за все это время охотники почувствовали, что подвергаются смертельной опасности. Они едва сдерживали желание бежать. Конечно, им хотелось узнать, что же там, в чаще, но в месте с тем они цепенели от животного страха.

Шум становился все ближе, и уже никакие нервы не могли выдержать напряжения. И предел наступил.

Охотники открыли беспорядочную стрельбу, не думая, находится там в кустах человек или дикий зверь. Они просто стреляли, перезаряжали ружья и продолжали стрелять.

Когда был отстрелен последний патрон, движение прекратилось. Охотники затаили дыхание, пытаясь уловить хоть малейший шум. Но было тихо. Так тихо, что каждый слышал удары собственного сердца.

— Готов, — сказал Димон, смахивая со лба капельки пота. — Евген... Иди проверь.

— Сам иди! Я что, на сумасшедшего похож?

— Тогда пошли вместе.

— Зачем? Давай скорее уносить ноги, пока...

Он не договорил. Яростное рычание повторилось с новой силой, и охотников охватила паника. Они сорвались с места и бросились бежать в сторону деревни. Спотыкались, падали, поднимались на ноги и снова пускались бежать. Охотники не могли понять, кто или что их преследует, а главное, почему вызывает такой небывалый ужас.

Димон бежал чуть позади и, как ему казалось, ощущал на своем затылке горячее дыхание жуткого существа. Но Димон не оглядывался. Он боялся

увидеть за своей спиной нечто такое, при виде чего его сердце могло остановиться.

Недалеко от выхода из леса, там, где редкие деревья более-менее пропускали солнечный свет, охотники настолько ослабели, что рухнули на землю без сил.

Они лежали и ждали. Прошла минута, затем вторая. Однако ничего не происходило.

Димон осторожно приподнял голову, и его рассудок помутился. Прямо перед ним сидела маленькая, пушистая... белка. Евген также ее заметил и впал в истерический смех.

Охотники ползали по земле, смеялись, но вскоре их смех перешел в едва сдерживаемое рыдание...

Они все еще медленно сходили с ума, когда с шоссе на лесную дорожку свернула машина охраны природы.

* * *

Браконьеров усадили в служебный уазик.

Женю трясло в лихорадке, и он был не в силах говорить.

Димон, напротив, улыбался, при этом повторяя одни и те же слова:

— Как я люблю волков, зайчиков, белочек... Как я люблю волков, зайчиков, белочек...

Участковый захлопнул дверь машины, а затем озадаченно посмотрел на Виктора:

— Парни явно тронулись рассудком. Что-то их здорово напугало.

Виктор усмехнулся и обвел взглядом вековые деревья:

— Для хорошего человека лес безопасен. А с браконьером может сыграть злую шутку. Верно, Олег?

— Согласен, — кивнул помощник. — Есть здесь у него свой защитник.

Мужчины уселись в автомобиль и, развернувшись, поехали к деревне.

Никто из них не обратил внимания на одинокого старика на опушке леса. Его руки были сложены на груди, а на лице светилась улыбка. Он смотрел вслед уезжающей машине, а затем не спеша вернулся в лес.

Для современного общества старик был нереальным, сказочным персонажем. И лишь немногие встречались с ним на самом деле...





Валерий КАЛИНИЧЕНКО

Не удержишь судьбу взаперти

Остров Аграфены

— Будет Аграфеной, —
Дочь шаман назвал.
Над рекою Леной
Жизнь ее прошла.

Ладила с округой,
Верила в судьбу.
Так, не встретив друга,
Отошла в пургу.

Остров безымянный —
Упокой души.
Призрак окаянный
С той поры грешит.

Образ над водою
Женщины лежит.
Памятью седою
Выше крест стоит.

Ужасом, тревогой,
Страхом сердце рвет
Тем, кто путь-дорогу
По реке ведет.

То ль характер скверный,
То ль жизнь без любви...
До причуд так, верно,
Бабу довели.

На кого волною
Налетит крутой.
Иль в тумане скроет
Людям путь домой.

Мимо Аграфены
Нам нельзя пройти.

Лик ее надменный —
Вот он — впереди.

Пироги, конфеты
В воду все летят.
Путник и монетой
Откупиться рад.

Только б Аграфена,
Гнев унявши свой,
Шла к судам на Лене
Трепетной волной.

Чучуна[1]

Чучуна, чучуна, чучуна —
То ль проклятье, то ль шутка весны.
Уж не ждали ни мать, ни жена.
Он вернулся из лап сатаны.

На охоту ушел, как всегда,
Только в окнах рассвет замаячил.
Двадцать лет по звериным следам
С той поры крался с верой в удачу.

Износился до дырок наряд,
Тот, в котором простился он с милой.
Сам обросший, затравленный взгляд,
Очерствела душа, как могила.

Чучуна — впереди! Страх, крестись...
Шкур звериных свисают лохмотья.
С дикой шерстью успела срастись
Крепко кожа нежданного гостя.

До крови сбиты ноги в пути —
Дом родной, всего шаг до порога.
Не удержишь судьбу взаперти,
Даже если смотреть за ней строго.

Дети выросли, внуки пошли,
Они бабушкой мать называют.
Поднялись без него, расцвели,
На ромашках таежных гадают.

Коли б знать, коли б ведать он мог,
Что неволею станет охота.
Нет дороги обратной в чертог,
Где навеки оставил кого-то.

[1] Чучуна — так называют пропавших охотников, которых некоторое время ждут, но когда по всем расчетам сроки спасения проходят, их «хоронят», и обратный путь домой им заказан.



Валентин СЕМЕНЯКО

А слова в этом случае — лишнее

* * *

Мы, похоже, сошли с ума,
Заблудились в потоке чувств.
А за окнами жжет зима
И снега на сто верст метут.
Здесь потрескивают дрова,
Наполняя весь дом теплом.
А слова? — Ни к чему слова!
Мы отложим их на потом…
На рассвете, как в первый раз,
Вновь посмотришь в мои глаза,
Лучше самых красивых фраз
Сможешь взглядом мне все сказать.

* * *

Давай с тобой уедем в дождь —
Туда, где нас никто не ждет.
Ты на плече моем уснешь,
Устав от будничных забот.
И будут «дворники» мелькать,
Шурша резиной по стеклу,
А плейер — тихо напевать
Про чью-то вечную тоску.
Давай с тобой уедем в ночь,
Чтоб нас никто догнать не смог,
От суеты ненужной прочь
Укрыться лентами дорог.
Давай уедем далеко —
Туда, где вечная весна,
Где будет нам с тобой легко
Простые истины понять.
Зовут чужие города,
Когда ты этого не ждешь.
Давай уедем навсегда,
Глубокой ночью, в тихий дождь.

* * *

Не люблю выяснять отношения —
Если есть они, что выяснять?
От презрения до восхищения —
Можно взглядом одним все сказать.
А слова в этом случае — лишнее,
Если веришь, то веришь без слов.
И любить можно только лишь искренне,
А иначе — какая любовь?
Если люди близки и по-прежнему
Дорога эта близость для них,
То словесное море безбрежное
Не решает проблем никаких.
Как словами поведать о нежности?
Как обиду словами излить?
Разве можно поспорить о внешности?
Разве можно заставить любить?

Да и слово само — «отношения» —
Не ложится на душу никак.
Отношения, значит, сомнение —
Не любовь и не дружба, а так…
Отношения — штука занятная,
В них, как водится, можно вступать.
Стало модным понятия внятные
В хитроумные схемы скрывать.
Вы со мной не согласны, наверное?
Что ж, не буду вас разубеждать —
Не люблю выяснять отношения:
Есть они? Что ж тогда выяснять?



Найо МАРШ



Убийство в Маунт-Мун[*]

Роман

Глава III

Версия Дугласа Грейса

— Да ты с ума сошел! — обрушились на него остальные.

Но Аллену показалось, что предположение, высказанное Фабианом, вызвало негодование домашних не столько в силу своей абсурдности или неправдоподобности самой версии, сколько потому, что мысль о том, что живая и невредимая Флоренс Рубрик могла бродить ночью по дому, потрясла их воображение и даже вызвала некое подобие шока. Ярко вспыхнувшее полено осветило пространство перед камином, и Аллен увидел, как Теренс Лин нервно сплела пальцы обеих рук.

— Что за кощунственные вещи ты говоришь, Фабиан! — воскликнула она пафосно.

Дуглас Грейс положил руку на ее спину, словно приготовился обнять девушку за плечи, и сказал.

— Полностью и целиком поддерживаю Терри. Более того! Это не только кощунственно, но и глупо. Какого черта Флосси стала бы шляться по ранчо до трех часов ночи, чтобы потом вернуться к себе, снова уйти, и на сей раз для того, чтобы быть убитой? Фантасмагория какая-то!

— Я же не говорю, что это была именно Флосси. Но и утверждать обратное мы тоже не можем! Вот в чем суть проблемы.

— Тогда озвучь хотя бы одну причину, по которой ей надо было выйти из дома в такой поздний час.

— Ну, например, любовное свидание! А почему бы и нет? — Фабиан бросил загадочный взгляд в сторону Теренс Лин.

— Тебе не кажется, Фабиан, что ты только что сказал пошлость? — возмутилась Урсула.

— Тебе это кажется пошлым, детка? Ну прости, ради бога! Разве мы не можем пошутить по адресу тех, кого уже с нами нет? Если ты считаешь, что я затронул честь и достоинство тети Флосси, то публично каюсь в этом. Прошу простить меня! А сейчас давайте вернемся к нашим баранам.

— А я уже закончила! Так что никаких баранов больше не будет! — жестко ответила ему Урсула, и в комнате повисло неловкое молчание.

---

[*] Продолжение. Начало в № 3 за 2019 г.

— Я немного дополню, если вы позволите! — попытался разрядить обстановку Дуглас. — На следующее утро Урсула заглянула в комнату тети Флосси и не обнаружила там ничего необычного. Кровать была застелена, но это в порядке вещей, ибо все мы здесь прибираемся в своих комнатах. Вот Урсула и решила, что тетя перед отъездом сама навела порядок у себя в комнате.

— Нет, не все здесь в порядке вещей! — возразила ему Теренс. — Обычно, когда миссис Рубрик уезжает, то ее постельное белье снимают и отдают в стирку. А к ее приезду кровать застилают свежим бельем. А потому миссис Рубрик всегда оставляла свою кровать неприбранной.

— Да? — удивилась со своей стороны Урсула. — Но тогда это меня ни капельки не насторожило. Я даже не обратила внимания. Почистила ковер пылесосом, вытерла пыль со стола и ушла. В комнате было чисто, и все стояло на своих местах. Впрочем, у тети в комнате всегда был порядок. Она была очень аккуратной женщиной.

— И еще одну деталь ты оставила без внимания, Урсула! — сказала Теренс. — Помнишь, пылесос тебе давала я? А потом, когда ты закончила уборку, я зашла, чтобы забрать его, и увидела, что контейнер полон. Я понесла пылесос к мусорному баку, чтобы вытряхнуть пыль, открыла пылесос и увидела, как за одну из лопастей механизма, гоняющего воздух, что-то зацепилось. Я стала осторожно извлекать комок пыли наружу, — Теренс замолчала и принялась внимательно разглядывать свои руки. — А когда достала, то увидела, что это — клок овечьей шерсти.

— Вот как? Почему же ты раньше молчала? — с плохо скрываемым вызовом поинтересовался у нее Фабиан.

— Детективу я все рассказала. Но он посчитал мои слова ерундой. Сказал, что в сезон стрижки овец шерсть может залететь куда угодно. В общем-то, он городской человек, и ему все наши дела знакомы лишь понаслышке.

— Этот клок шерсти мог зацепиться бог весть когда, — резонно возразила Урсула.

— Вот уж нет! Я давала тебе пылесос с предварительно очищенным контейнером. Сама проверяла: там все было чисто. Я всегда бережно обращаюсь с техникой. И на всякие мелочи у меня память цепкая. И потом, если бы миссис Рубрик заметила на ковре клок шерсти, то наверняка не поленилась бы сама поднять его с пола. У нее вообще была своя фишка насчет всяких соринок и мусора: только заметит и тут же бежит, поднимет и выбрасывает вон. А уж тем более у себя в комнате, да еще на ковре. Нет, готова поспорить на что угодно: пока она была в комнате, никакой шерсти там не было.

— Большой клок? — спросил у бывшей секретарши Фабиан.

— Да нет, совсем крохотный комок. Я бы даже сказала, маленькая прядь.

— Ах, эта прядь твоих волос! — неожиданно пропела Урсула глумливым голосом. Странные перепады настроения демонстрировала эта юная особа на протяжении всего вечера. То была нервозна и даже на грани слез, то внезапно на нее нападали приступы беспричинного веселья.

— Тому есть масса объяснений, — задумчиво обронил Родерик Аллен. — Предположим, шерсть просто прилипла к одежде, а потом ее принесли в дом.

— Очень похоже на правду! — согласился с ним Фабиан.

— А в комнате шерсть взяла и свалилась на пол, — продолжил развивать гипотезу Дуглас.

— Но только не в комнате тети Флоренс! — запальчиво воскликнула Урсула. — Я всегда прибиралась в ее спальне. Уж не хочешь ли ты сказать,

Дуглас, что в комнате после моей уборки повсюду валяются клоки жирной шерсти? Будто я неделями не чищу ковер! Свинья ты после этого. Вот кто!

Дуглас Грейс бросил на девушку ленивый взгляд и, откинувшись на спинку дивана, положил руку на плечи Теренс.

Урсула рассмеялась и скорчила ему смешную рожицу.

— А впрочем, все это такая чепуха! — воскликнула она с некоторой бравадой. — Клоки шерсти, пылесосы… Чушь все это!

— Не торопись с выводами, — сухо обронила Теренс Лин. — Лично мне клок шерсти, обнаруженный рано утром в комнате человека, которого, как выяснилось впоследствии, убили в сарае, набитом доверху овечьей шерстью, — лично мне это совсем не кажется чепухой. Все это ужасно!

— Ты сама ужасная, Терри! — вспылила Урсула. — С какой стати ты вдруг вспомнила про этот клок? Хочешь в чем-то обвинить меня? Да я здесь больше всех переживала смерть тети Флоренс! Если хочешь знать, я — единственная в этом доме, кто любил ее по-настоящему. Просто не в моем характере напускать на себя постный вид и произносить всякие высокопарные речи по поводу «всей горечи утраты» и прочее. Лучше на себя посмотри! Разве ты способна понять, что такое любовь? Да ты же ледышка, а не женщина! Ненавижу тебя!

— Урсула! Прекрати немедленно! — грозно насупил брови Фабиан. — Нельзя так распускаться! Ну же! Возьми себя в руки! — Он снова стал перед девушкой на колени и притянул ее к себе обеими руками. — В чем дело, девочка? Разве можно так себя вести при посторонних? Ты ведь уже не ребенок, а взрослая женщина.

— Тетя Флоренс! Она была такая! — всхлипнула Урсула. — И я любила ее больше всех на свете. Если бы не она…

— Ну хорошо, хорошо! Прошу тебя, успокойся!

— Если бы не она, то я никогда не оказалась бы в этом доме. И ты бы никогда со мной не встретился. Вот!

— Да! Пожалуй, за это я, и правда, должен быть благодарен нашей Флосси! — едва слышно пробормотал Фабиан.

— И еще как! — тоном капризного ребенка воскликнула Урсула. «А она из него веревки вьет», — подумал Аллен, взглянув на Фабиана. Девушка повернулась к Теренс. — Прости меня, пожалуйста, Терри! Не знаю, что на меня нашло.

— Так мы продолжим наш экскурс в прошлое? — Дуглас вернул разговор в прежнее русло.

Аллен глянул в его сторону.

— Капитан Грейс! Вы ведь ходили в дом за фонариком, пока остальные искали застежку, так?

— Даже за двумя, сэр. Один фонарь я сразу же отдал дяде Артуру.

— И кого вы встретили в доме?

— Никого. В доме находился только Маркинс, но он, по его словам, сидел в своей комнате. Не могу сказать со всей ответственностью, так это или нет. Фонарики у нас лежат на столике в холле. К тому же, когда я вошел, зазвонил телефон. Я снял трубку: кто-то интересовался, уезжает ли тетя Флосси завтра утром в столицу. Разговор длился пару секунд. Я ответил и снова пошел на улицу.

— Когда вы вышли на крыльцо, вы, скорее всего, невольно посмотрели в ту сторону, где велись поиски. С террасы ведь открывается превосходный вид на лужайки и окаймляющие их дорожки, правда? Кого конкретно вы увидели в ту минуту?

— Только наших барышень. Было уже совсем темно, а потому я прямиком направился к дяде, чтобы отдать ему фонарик.

— И он уже при вас обнаружил брошь?

— Нет. Я отдал ему фонарь и сразу же пошел на свой участок. А буквально через пару минут услышал, как он зовет меня. Он даже специально не трогал застежку до тех пор, пока я не подойду. В свете фонаря она так красиво искрилась и переливалась алыми и голубыми огнями. Оказывается, брошка завалилась за куст цинний. Самое интересное, что дядя уже осматривал эту клумбу, но, видно, в темноте не обнаружил такую крохотную вещицу среди листьев. Бедный дядя Артур! Он тогда изрядно посгибался, что ему было категорически противопоказано. Выглядел он, прямо скажем, неважнецки! Впрочем, у дяди и со зрением было не ахти.

— А вы осматривали крайнюю дорожку, ту, которая идет параллельно с остальными, соединяясь с ними в дальнем конце двора?

— Нет. Ее осматривал мистер Рубрик.

— Сам?

— Да. Он сказал, что уже осмотрел дорожку, пока я ходил в дом за фонариком и пока вы, барышни, о чем-то там спорили.

— Следовательно, мисс Лин, вы должны были видеть мистера Рубрика.

— Но я его не видела, мистер Аллен! — поспешно открестилась мисс Лин. Что-то в ее поспешности показалось Аллену подозрительным.

— Но ведь мисс Харм только что сказала нам, что вы сошлись с ней именно на той дорожке. И она собственными глазами видела, как вы ее осматривали.

— Да, какое-то время я там искала брошку, но мистера Рубрика не видела. Во всяком случае, носом к носу мы с ним не сталкивались.

— Вполне возможно, я кое-что напутал сам, — виновато сказал Дуглас. — Прошло ведь столько времени, какие-то моменты уже просто выветрились из памяти. Может, я просто выдумал себе, что, уходя за фонариками, видел мистера Рубрика копошащимся среди зарослей лаванды. А потом он, как мне кажется, вышел на мою тропинку и пошел вниз. А когда я снова появился на улице, уже с фонарями, он шел мне навстречу. Но повторяю, вполне возможно, что я ошибаюсь и на самом деле все было не так. Одно я помню точно. Вы двое, — он бросил взгляд в сторону девушек, — громко спорили о том, проверять эту последнюю дорожку еще раз или нет.

— Наверное, он там все же был, — сказала мисс Лин. — Но не могу утверждать это со всей определенностью. Может, я его просто не заметила в темноте. Но застежку мы с ним вместе не искали, это точно!

— Зато я хорошо помню, что когда перешла на твою дорожку, то ты подбежала ко мне с дальнего конца, почти от самых зарослей лаванды. Если дядя Артур обыскивал ту часть тропинки, то в тот момент он мог быть только там и нигде больше.

— Не помню, Урсула! Честное слово, ничего не помню. Может, он и копошился молча где-то среди кустов, но я его не видела.

— Да что мы все зациклились на этой дорожке: был там дядя Артур — не был! — воскликнул Дуглас. — Разве все это имеет столь уж принципиальное значение? Дядя вел свои поиски в дальней части сада, и вы там обе были, только и всего! Меня гораздо больше волнуют перемещения другого джентльмена по имени Маркинс. Наш дорогой приятель Маркинс был практически неуловим весь вечер, постоянно вне поля зрения всех нас.

— Вот ты и займись соответствующими изысканиями! — шутливо порекомендовал ему Фабиан.

— Согласен! — поддержал Лосси Аллен. — Так что вы хотите сообщить нам, капитан Грейс, относительно неуловимого мистера Маркинса?

— О, для этого мне придется ненадолго вернуть всех нас в недалекое прошлое. Точнее, в самое начало 1939 года, когда в Новой Зеландии прошли последние торги овечьей шерсти. Тогда тетя Флосс буквально силком заставила дядю Артура познакомиться с мистером Курата Кан. Дядя, скрепя сердце, уступил. Он даже пригласил этого япошку в Маунт-Мун на уикенд. И насколько мне известно из рассказов очевидцев, гость проявил просто бешеный интерес ко всему, что увидел у нас. Все время скалился, как обезьяна, и задавал множество вопросов. У него был с собой какой-то чудо-фотоаппарат, хорошая немецкая камера, и он тут же известил хозяев, что фотография — это его хобби. В первую очередь, ему нравилось снимать пейзажи. Но и фотоснимки всяческих построек его тоже интересовали. Он мотался по плато как заведенный. Сфотографировал перевал, потом испросил разрешения поснимать с борта самолета. Дядя Артур рассказывал мне, что извел кучу денег на воздушные развлечения гостя: аренда частного самолета и все такое. Разумеется, мистер Кан с превеликой готовностью скупал любые фотографии везде где только можно, особенно те, на которых были запечатлены самолеты. Он не поленился прошерстить редакции всех газет и узнал имена всех фотокорреспондентов, работающих на них. Кстати, он занимался всем этим совершенно открыто, не делая секрета из своих поисков. Напротив! Он даже бравировал своей эксцентричностью и был похож на комический персонаж из старой кинокомедии. Флосси купилась на все его чудачества и обрушила на него поистине лавину любви. Она называла его исключительно и только: «Мой дорогой крошка мистер Кан!» Ей особенно льстило, что японец дал на торгах самую высокую цену за нашу шерсть, что было весьма необычно. Ибо, во-первых, японцы всегда довольствовались на аукционах второсортной шерстью. А во-вторых, где и когда шерсть мериносов ценилась так высоко? Думаю, во всей этой затее с покупкой шерсти именно у нас с самого начала было второе дно. Но разве скажешь о своих подозрениях нашей Флосси? Она даже из Англии строчила письма ненаглядному японцу. И вообще, тетя была убеждена, и не раз заявляла об этом вслух, что если начнется война, то Япония выступит на нашей стороне. Обычно она еще добавляла в таких случаях: «О, мистер Кан мне такое рассказывал! Такое!» Словом, мистер Кан сумел очаровать всех, и судя по всему, обвел тетю вокруг пальца. Вот такие они, эти улыбчивые джентльмены из Страны восходящего солнца! По их лицам никогда не узнаешь, что у них на уме! — капитан Грейс издал свой обычный короткий смешок.

— Не стоит так уж сильно преувеличивать их возможности, Дуглас! — остудил его пыл Фабиан. — И, пожалуйста, не отвлекайся от темы. Иначе мы сейчас погрузимся в обсуждение излюбленных проблем наших противников: кто на земле — раса господ и кто должен этих господ обслуживать.

— Хочу сделать особый акцент на том, что мистер Кан проторчал в Новой Зеландии более полугода. Представляете? Уже после завершения всех торгов и аукционов. Флосси возвратилась в Новую Зеландию в сороковом году. Вместе с ней приехали Урсула и Фабиан, а в отсутствие хозяйки наш дом оставался на попечении кухарки и двух служанок. Потом горничные уволились, а подходящих кандидатур на горизонте не просматривалось. На кухарку свалилось все: и готовка, и присмотр за больным дядей Артуром, и уборка по дому. Разумеется, через какое-то время кухарка наотрез отказалась тянуть столь непосильный воз. На первых порах Урсула вызвалась помочь миссис Дак с уборкой по дому. Но нашу Урсулу ведь не

готовили в горничные, да и миссис Рубрик была не в восторге от того, что ее воспитанница мотается по комнатам с шваброй в руках.

— О, она в два счета научилась управляться с ней! — похвалил девушку Фабиан. — Очень ловко все делала.

— Разумеется, делала! Но тетя-то прекрасно понимала, что это работа не одного дня: все отмыть, отскрести все углы и всюду навести порядок.

— Я не возражала, — подала голос Урсула.

— Отлично! Но в любом случае, когда я приехал в Маунт-Мун после Греции, здесь уже на поприще лакея подвизался наш дорогой мистер Маркинс. И знаете, откуда примчалась в наши края эта залетная птичка? Из Сиднея! Между прочим, с рекомендациями от самого «дорого крошки мистера Курата Кан»! Как вам такое?

— То есть, тот написал ему рекомендательное письмо?

— Да. Но что самое поразительное, Маркинс никогда не служил в доме японца. По его словам, он был лакеем у какого-то английского офицера-артиллериста. Тот подобрал его неизвестно где в Америке, потом привез его с собой на новое место службы, в Австралию. И там Маркинс якобы познакомился со слугами, которые работали в доме японца. Когда офицеру вышел срок службы и надо было возвращаться назад в Англию, Маркинс даже рискнул обратиться к мистеру Кану на предмет работы. Но японец со своим семейством тоже уже паковал чемоданы перед отъездом на родину. Тогда Маркинс сказал, что попытает счастья в Новой Зеландии, и тут мистер Кан моментально вспомнил о своей приятельнице миссис Рубрик и о ее постоянных стенаниях по поводу того, как у них, на плато, трудно со слугами. А уж найти хорошего слугу-мужчину и вовсе задача неразрешимая. Так на свет появилось рекомендательное письмо от японца. Скажу честно, все, что связано с личностью мистера Кана, кажется мне крайне подозрительным, если не сказать больше. Судите сами! Такой высококвалифицированный и исполнительный слуга, как Маркинс, мог найти себе работу где угодно. О самом Маркинсе нам тоже известно немногое. Только то, что он англичанин и что у него американский паспорт. Он сообщил хозяевам имя и фамилию своего американского работодателя, но нынешний адрес англичанина ему неизвестен.

— О, с этим все в порядке! — успокоил его Аллен. — Мы нашли этого человека, и он полностью подтвердил слова Маркинса.

Заявление Аллена произвело должное впечатление на слушателей.

— Вот тебе и «вражеский агент»! — весело воскликнул Фабиан. — Тогда я с легкой душой снимаю с Маркинса часть подозрений. Но пока только часть. И потом, я по-прежнему убежден, что этот мистер Джексон, который занимается расследованием убийства, он же почти невменяемый, ей-богу!

— А что это доказывает? — возразил ему Дуглас. — Ровным счетом ничего! Вы лучше послушайте меня, мистер Аллен! Мои доводы базируются на прочном фундаменте: ни грамма эмоций. Уверен, выслушав их, вы полностью согласитесь со мной.

— Не забывай, Дуглас, что мистер Аллен уже успел проштудировать все материалы дела.

— Догадываюсь! — небрежно отмахнулся капитан Грейс. — Но они там такую мешанину устроили! Свалили в одну кучу и факты, и домыслы, и подозрения. Вам можно посочувствовать, сэр! И последнее. Я помню, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. И все же я постараюсь быть не только беспристрастным, но и объективным, излагая свой взгляд на события.

Фабиан негромко чертыхнулся себе под нос.

— Итак, начну по порядку! — возвысил голос капитан. — Наша тетя Флосси была чрезмерно любопытной особой и любила совать свой нос в каждую дырку. Ей очень нравилось знать все и обо всем. Еще бы! Репутация всезнайки страшно льстила ее самолюбию. Ей нравилось демонстрировать окружающим, что она в курсе всего, что творится на свете.

— Я уже заранее знаю, что ты сейчас скажешь, Дуглас! — перебила его Урсула. — И заранее не согласна с каждым твоим словом.

— Моя дорогая девочка! Ты все еще смотришь на мир сквозь розовые очки! Вот в чем твоя беда. Когда меня комиссовали по состоянию здоровья из действующей армии и я вернулся из Греции в Маунт-Мун, то Фабиан уже приступил к работе над своим изобретением. Не стану, по известным причинам, распространяться на эту тему. Тем более что вы, мистер Аллен, в курсе всех наших дел.

— Мистер Аллен знает о наших делах даже больше нас! — подначил его Фабиан.

— Мистер Лосси, держите себя в руках! — резким голосом попенял ему Аллен, и тот в первое мгновение даже рот раскрыл от неожиданности, а потом лишь молча закрыл его. — Вы похожи на кровожадного москита, который все жалит и жалит. Так нельзя!

— Да, есть у меня такая противная черта характера. Согласен!

— Так мне продолжать? — обиженно обратился к ним капитан Грейс.

— Пожалуйста! — милостиво разрешил ему Аллен.

— Итак, Фабиан коротко посвятил меня в суть своей работы. В целях конспирации он назвал ее «венчиком для взбивания яичных белков». Лично я предпочел бы что-нибудь более нейтральное. Например, Х-регулятор.

— Х-регулятор! — расплылся в широкой улыбке Фабиан. — Надо же придумать такое!

Аллен строго сверкнул глазами в его сторону, и Лосси сконфуженно умолк.

— Фабиан попросил меня просмотреть бумаги и чертежи, вдруг смогу подсказать что-то дельное по самой конструкции. Мне и самому было любопытно, над чем он там колдует в своей мастерской. Я ведь бывший артиллерист. Плюс у меня степень в области электротехники. В свое время в университете я достаточно серьезно занимался проблемами магнитных сплавов. Словом, кое в чем я разбираюсь, и даже совсем неплохо.

Капитан бросил выразительный взгляд на всех. «А держится молодцом», — подумал Аллен и молча кивнул в знак согласия.

— Само собой, надо было посвятить в нашу работу и тетю Флосси, то есть, я имею в виду, что надо было поставить ее в известность о том, что мы над чем-то там работаем. А потому нам нужна отдельная комната, кое-какие приборы и все прочее. Она без лишних слов выписала нам чек на покупку электродвигателя. Как вы знаете, по эту сторону плато нет электричества. Нам пришлось соорудить небольшую ветряную мельницу, приводящую в действие нашу, тоже небольшую, динамомашину. Тетя собиралась сделать электропроводку во все комнаты, да не успела. А потому пока электричество есть только в мастерской. Тетя Флосси оплатила все расходы по приобретению комплектации, она исправно платила за саму электроэнергию, ну а мы, в свою очередь, с головой ушли в работу. Не скрою, когда пришло время выдать на-гора первые результаты и можно было уже кое-что продемонстрировать специалистам, то о лучшем импресарио, чем наша тетя, и мечтать не приходилось. У нее везде были связи, у нашей дорогой тети Флосси. Она тут же вышла на какую-то важную шишку в военном ведомстве, организовала нам встречу с ним в столице, он, в свою очередь, отправил соответствующий рапорт в Лондон, и все завертелось.

Вскоре мы получили весьма многообещающий ответ из Лондона за подписью самого… Впрочем, это не столь важно для моего рассказа.

— Согласен! — сказал Аллен. Фабиан молча предложил ему сигару, но тот жестом отказался.

— Итак, повторюсь еще раз: тетя оказалась весьма полезной, но с ней была другая беда. То, что называется «не уметь держать язык за зубами». Она могла часами разглагольствовать о нашем изобретении, например, сидя за обеденным столом, никого и ничего не опасаясь.

— И надо было видеть, как это делалось! — рассмеялся Фабиан. — «А сейчас что интересного нам расскажут наши дорогие изобретатели? Как у них продвигаются дела?» После чего она напускала на себя особо таинственный вид, что делало ее похожей на одну из ведьм в «Макбете», прикладывала палец к губам и шептала, как самый заправский заговорщик: «Но только тсс! Прошу вас, будьте бдительны! Враг не дремлет!»

Аллен машинально глянул на портрет миссис Рубрик. Худощавая, но крепкая на вид женщина пристально уставилась на него немигающим взглядом, как обычно смотрят на публику все модели, изображенные на академических портретах. Но у него вдруг появилось неясное чувство, что миссис Рубрик что-то хочет сказать ему. А что, если сейчас она поднесет свой нарисованный палец к губам, за которыми художник так старательно спрятал ее выпирающие вперед зубы, и скажет ему: «Что же вы молчите? Почему ни о чем не спрашиваете?» Или наоборот, подаст ему предупредительный сигнал: «Внимание! Мы приближаемся к самому важному месту!»

— Точно! Так все и было! — услышал он одобрительный голос Дугласа. — В результате вскоре вся округа была в курсе, что мы с Фабианом занимаемся чем-то таким секретным, что просто слов нет. Правда, Фабиан по большей части отмахивался от моих предостережений. «Ну и пусть себе болтает! — отвечал он. — Мы все свои материалы держим в сейфе. Даже если кто-нибудь и покусится на наши секреты, то все равно никто в них ничего не поймет, кроме нас». Мне это казалось несколько легкомысленным. Да и разговоры Флосси меня изрядно раздражали. Но в один прекрасный момент она кардинально изменила свое отношение к нашим занятиям.

— Да, это случилось вскоре после того, как в палате общин подняли вопрос об утечке секретной информации врагу, — подала свой голос Урсула. — Ты помнишь, Дуглас, как сильно переживала тогда тетя? А потом еще наш военный корабль, который был торпедирован и потоплен вблизи Северного острова. Это сообщение повергло ее в шок.

— Знаете, бдительность Флосси лично меня нервировала даже больше, чем ее прежняя беспечность! — недовольно фыркнул Фабиан. — Такое впечатление, что все мы попали в дурное кино. Она расклеила по дому бумажки с предупреждением быть бдительными. Кошмар какой-то! Но продолжай, Дуглас!

— Недели за три до гибели тети Флосси случилось вот что! Хочу сразу же предупредить внимательных слушателей: просматриваются явные параллели с тем, о чем нам только что рассказала Урсула. По крайней мере, для меня они очевидны. Итак, в один из вечеров мы с Фабианом заработались допоздна: бились над усовершенствованием одной крохотной, но очень важной детальки. Назовем ее «предохранителем».

— Но это и в самом деле предохранитель, — заметил Фабиан.

— Оставь ты свои шуточки, Фабиан! Боюсь, мистера Аллена они тоже ставят в тупик. Ох уж это проклятое английское остроумие! Вот оно где у меня сидит! — Дуглас провел рукой по собственному затылку.

— Да не кипятись ты, дружище! Это же истинная правда! В своем неуемном желании что-то скрыть и утаить мы часто сами же и выдаем это «что-то». Да и потом, ты же не хуже меня знаешь: любое открытие повторяется многократно самыми разными людьми и в самых разных местах. Вспомни, скольким ученым одновременно пришла в голову мысль о создании авиабомб. Так что, как ни обзывай свою детальку, а для того, кто за ней охотится, — самое важное не ее название, а возможность заполучить ее саму или ее чертеж.

— Вот именно! — завопил, как ужаленный, Дуглас. — Об этом я тебе и толкую постоянно! Модель и ее чертежи.

— Ну что ты прицепился к Маркинсу? Он ведь все вечера напролет просиживает у Джонсов.

— Это он тебе так говорит! Но вернемся к событиям той ночи за три недели до того, как убили тетю Флосси. Итак, мы заработались, а потом…

А потом действительно случилось нечто весьма похожее на то, о чем рассказывала Урсула.

Около девяти вечера Фабиан и Дуглас вышли из мастерской и заперли ее на ключ. Какое-то время они еще постояли возле запертых дверей, продолжая говорить о работе. Идея, подброшенная Дугласом, о том, что предохранитель можно и нужно усовершенствовать, зацепила их обоих настолько, что они готовы были работать всю ночь.

— Но Фабиан рассудил здраво: отдых нам тоже необходим! — рассказывал Дуглас. — Мы заперли дверь, еще немного поболтали о всяких пустяках, а потом разошлись по своим комнатам. Обычно ключ от двери мастерской и ключ от сейфа я всегда держу при себе, но в тот раз кому-то из нас пришла в голову явная нелепица. Дескать, а вдруг ночью кого-то осенит блестящая мысль насчет того, как именно следует довести до толку эту проклятую деталь, тогда он немедленно побежит в мастерскую, чтобы тут же, не откладывая дело в долгий ящик, проверить все на практике. А потому решили так: я положу ключи в коробочку и поставлю ее на прикроватной тумбочке у себя в комнате. В этом случае Фабиану не придется будить меня. Он просто тихонько зайдет в комнату, возьмет ключи и пойдет работать. Пока мы обсуждали наш план, причем на достаточно громких тонах, я вдруг увидел боковым зрением, как, крадучись от черной лестницы, по коридору бесшумно скользит Маркинс. Заметив нас, он подошел ближе и спросил, не знаем ли мы, где сейчас находится миссис Рубрик. Якобы ее кто-то разыскивает по межгороду: мол, звонят издалека, и все прочее в том же духе. Я почти уверен, что обрывки нашего разговора, во всяком случае, той его части, которая касалась договоренности о ключах, он слышал, и слышал хорошо. Настолько хорошо, что решил сам воспользоваться нашим планом!

Дуглас пошел к себе и улегся в постель. Но сон не шел: мысли по-прежнему продолжали вертеться вокруг работы. Спал он беспокойно, а среди ночи подхватился, как от толчка. И снова стал ломать голову над тем, как же следует изменить конструкцию модели, чтобы выйти на оптимальные параметры. Тогда он решил пойти в мастерскую и еще раз внимательно просмотреть вчерашние расчеты: вполне возможно, на свежую голову он обнаружит в них нестыковки, которые выведут его на единственно правильное решение. Дуглас уже протянул руку к тумбочке, чтобы взять ключи, но в этот момент услышал странные шорохи в коридоре. Такое впечатление, что кто-то на цыпочках приближался к его двери с явным намерением войти в комнату. Рука его повисла в воздухе, а сам он замер, напряженно вслушиваясь в ночь. Вот шаги замолкли: кто-то уже стоял рядом с дверью. Онемевшая рука Дугласа непроизвольно упала на кровать

и при этом задела подсвечник, стоявший на тумбочке. Тот с грохотом упал на пол. Звук получился столь оглушительно громким, что в нем утонули все остальные звуки, но Дуглас успел расслышать, как кто-то стремительно убегает по коридору по направлению к черной лестнице. Он вихрем сорвался с постели и бросился к дверям. Распахнул их настежь и выскочил в коридор.

В коридоре стояла кромешная тьма. В самом дальнем конце, там, где коридор упирался в небольшой проход, образующий своеобразную букву «Т», мелькнул слабый огонек фонарика, выхвативший на мгновенье из темноты чью-то тень. Но чью? В маленьком коридорчике была лишь одна жилая комната, и в ней обитал Маркинс. Комната находится в левой части, а справа идет черная лестница, других помещений в той части коридора нет.

Дуглас откинулся на спинку дивана и обвел всех самодовольным взглядом.

— Так сделайте же мне милость, скажите! — проговорил он требовательно. — Что изволил делать Маркинс у меня под дверью без четверти три ночи? У него что, была какая-то срочная депеша? Ко мне? Нет, нет и еще раз нет! Уверен, он намеревался проникнуть в мою комнату и выкрасть ключи от мастерской!

— Хорошо, хорошо! — миролюбиво согласился с ним Фабиан. — Но ты продолжай! Рассказывай, что было дальше.

Дальнейшее развитие событий тоже было весьма подозрительным и, по мнению Аллена, наводило на размышления.

Естественно, Дуглас не заснул до самого утра. Утром он первым делом рассказал о ночном эпизоде Фабиану, но тот по своему обыкновению был настроен весьма скептически. «Господи! Ну ходил кто-то по коридору, что из того? — воскликнул он, выслушав приятеля. — Вполне возможно, у человека несварение желудка, только и всего». Однако впредь они решили обращаться с ключами более осмотрительно, а на окна мастерской поставили тяжелые металлические решетки, которые запирались изнутри.

— Но и этого Дугласу показалось мало! — пожаловался Фабиан, обращаясь уже к Аллену. — Он потребовал от меня, чтобы я даже ночью ложился в кровать с ключом от этих решеток. И я послушно нацепил ключ на ленточку и вешал его себе на шею всякий раз, когда укладывался спать.

— Да, мне этого было мало! Потому что ночное происшествие встревожило меня не на шутку. Весь следующий день я внимательно следил за поведением Маркинса. И пару раз я перехватил насмешливый взгляд, который он бросал в мою сторону. Все это случилось в четверг. А в пятницу Флосси дала ему выходной, и он уехал на почтовой машине к перевалу. Я был в курсе того, что он приятельствует с владельцем местного паба, а следовательно, задержится у него на весь день. Я решил воспользоваться случаем и осмотреть его комнату. Надеюсь, сэр, вы не осудите меня за незаконное вторжение в чужое владение. Шаг, вполне правомерный в свете того, о чем я только что рассказал вам.

— Итак, я пошел к комнате Маркинса и обнаружил, что она заперта. Но я точно знал, что в чулане болтается еще одна запасная связка ключей от всех комнат в доме. Я не поленился сходить в чулан и после нескольких попыток подобрал ключ, которым открыл дверь и вошел в комнату! — Дуглас замолчал. Легкая улыбка скользила по его губам. Он снова обнял Теренс Лин за плечи, и она, отложив вязание в сторону, бросила на него вопросительный взгляд.

— Как ты только мог, Дуглас! — возмутилась Урсула. — Опуститься до такого! Это бесчестно!

— Бесчестно, моя девочка, если бы я залез в комнату порядочного человека. А в данном случае я веду речь о шпионаже. Улавливаешь разницу?

— Да, я все понимаю! Но я просто отказываюсь верить тому, что Маркинс — шпион. Он очень симпатичный человек.

Дуглас картинно поднял брови и бросил выразительный взгляд на Аллена. Дескать, ну что я говорил? После чего возобновил свое повествование.

— Сперва я решил, что все мои усилия потрачены впустую. Дело в том, что почти все свои вещи Маркинс хранил под замком. Все его чертовы чемоданы, шкаф, ящики стола, все было заперто. Пришлось довольствоваться буфетом и общим осмотром комнаты. И тем не менее, я все же кое-что нашел! На полу!

Дуглас откашлялся, как делают ораторы перед тем как сказать нечто очень важное, потом полез в карман, извлек оттуда бумажник, а из бумажника достал конверт, который протянул Аллену.

— Взгляните сами, сэр. Конечно, это не оригинал. Его я отдал полиции. Но это точная копия.

— Так-так-так! — задумчиво протянул Аллен. — Небольшой фрагмент от кассеты, в которой хранится фотопленка для «Лейки» или другого фотоаппарата подобного типа.

— Точно так, сэр! Я сразу же определил это на глаз. Я видел такие же у одного своего однополчанина, который тоже увлекался фотографией. Не кажется ли вам подозрительным, сэр, что обычный слуга может позволить себе столь дорогостоящую технику для занятий любимым делом на досуге? Хороший фотоаппарат, такой, как «Лейка», стоит не одну сотню фунтов. Но даже при наличии денег купить его здесь, в наших краях, практически невозможно. В первый момент я даже решил, что это не его камера. Но дальнейший осмотр комнаты переубедил меня. В кармане костюма, висевшего на спинке стула, я обнаружил квитанцию со штемпелем известной фирмы, торгующей фототехникой. На квитанции были указаны товары, которые приобрел у них Маркинс на сумму пять фунтов: проявитель и двенадцать фотопленок для «Лейки». Наверное, решил сделать солидный запас на случай возможного безденежья. Я потрогал один из запертых ящиков стола: там что-то звякнуло и брякнуло. Наверняка бутылки с проявителем и прочие химикаты, необходимые для обработки пленок. Я покидал его комнату с чувством глубокого удовлетворения, ибо мои худшие догадки подтвердились полностью. Этот тип, видно, решил любой ценой пробраться к нам в мастерскую и там сфотографировать все что только можно. После чего он должен будет переправить фотопленки своим хозяевам.

— Ясно! — коротко ответил ему Аллен. — И как вы поступили?

— Рассказал все Фабиану. Сразу же!

Аллен взглянул на Лосси.

— Да, он тотчас прибежал ко мне и рассказал о своей находке, и мы повздорили. Точнее, мы поругались по-крупному, ибо я был категорически не согласен со всеми его доводами.

— Не преувеличивай, пожалуйста! — перебил его капитан Грейс. — Повздорили, поругались! Что за слова ты выбираешь? Просто разошлись во мнениях, только и всего.

— Не разошлись, а разбежались, причем в разные стороны. Видите ли, мистер Аллен, мои аргументы были следующими. Предположим, Маркинс — не тот, за кого он себя выдает. Предположим, он шпион, лазутчик, кто там еще… Словом, враг. Но чем конкретно мы можем припереть его к стенке? Даже если бы Дуглас опознал его тогда ночью, у Маркинса

нашлось бы сто отговорок и сто вариантов убедительных ответов. Внезапно заболел живот, и он решил воспользоваться, так сказать, господским туалетом, а не бежать вниз, туда, где находится туалет для слуг. Это раз. Это был не он, а Дуглас просто обознался в темноте. Это два. Что же до дорогущего фотоаппарата, то вполне возможно, это просто щедрый подарок от прежнего хозяина на память. А может, он копил на покупку деньги несколько лет, откладывал по пенсу, чтобы купить себе именно «Лейку». Наконец, может статься, что он купил в Штатах уже подержанную вещь, которая стоит гораздо дешевле новой техники. И потом, нам что теперь, в каждом фотолюбителе видеть шпиона, так, что ли, получается? Это уже паранойя какая-то, ей-богу! То, что он держит все под замком, тоже ничего не доказывает. Ни-че-го! Мы не доверяем ему, а он с таким же успехом может не доверять всем нам, вот и весь сказ! Тем более, что ты, Дуглас, дал ему личный пример того, что нам и в самом деле не стоит доверять.

— Итак, вы были за то, чтобы оставить все как есть?

— Не совсем. Я сказал, что все наши безделушки нужно как следует припрятать и быть постоянно начеку. А что до Маркинса, то если его личность вызывает у нас подозрения, то мы должны незамедлительно обратиться в соответствующие органы, которые занимаются подобными делами. Пусть разбираются сами!

— Вы были согласны с таким планом действия, капитан Грейс?

— Нет, нет и еще раз нет! — энергично тряхнул головой Дуглас.

Он сказал Фабиану, что вся новозеландская контрразведка — это скопище тупоголовых болванов, ни на что не годных. И уж лучше он сам возьмется за это дело и доведет его до конца.

— Да, сэр! Именно так я ему и сказал. И именно так я и сделаю. Мы здесь не привыкли бросать слова на ветер. И свои дела предпочитаем улаживать сами, без посторонней помощи.

Единственное, что беспокоило Дугласа, так это — сумеет ли он контролировать себя, ибо он по-настоящему разозлился на Маркинса. Можно даже сказать, что то, что он обнаружил в комнате лакея, привело его в бешенство. Предложение Фабиана написать соответствующий рапорт и отослать его куда следует он отмел как малоэффективное. Написать — да, но не ждать, пока кто-то там, наверху, разберется во всем вместо них. Надо раскопать самим, а потом взять молодчика под белы руки и доставить в ближайшую комендатуру уже для дальнейших разбирательств. Они еще минут десять препирались, но расстались, так и не придя к какому-то единому мнению. И надо же было случиться такому везению, что не успел Дуглас выйти из комнаты Фабиана, как тут же в коридоре столкнулся с тетей Флосси, которая, ни о чем не подозревая, принялась петь дифирамбы лакею дяди Артура. «Ах, не представляю, что бы я сегодня делала без Маркинса. Какое счастье, что он не остался ночевать у своего приятеля на перевале, а вернулся домой. Само небо послало мне его в Маунт-Мун! К счастью, ему и самому у нас нравится. Так он говорит, по крайней мере. Дай бог, чтобы так было и впредь. Сейчас по дереву постучу, чтобы не сглазить! — тетя шутливо забарабанила пальцем по собственному лбу. — Если мы лишимся Маркинса, то воистину это будет невосполнимая потеря!»

Тут терпение Дугласа лопнуло, и он перекрыл краник теткиных славословий в адрес потенциального шпиона. Более того, он пошел вместе с ней в кабинет и попытался открыть ей глаза на истинное положение вещей.

— Вообще-то, наша тетя была не худшей тетей в мире. Да! Она была большой мастерицей пороть всякую чушь. Да, ей нравились мои дурачества и безобидные шутки, — задумчиво сказал Дуглас, поглаживая свои роскошные усы. — Но в тот раз я говорил с ней вполне серьезно, и мы

отлично поняли друг друга. В принципе, я всегда придерживался мнения, что с тетей Флосси можно поладить, только не нужно позволять ей садиться тебе на шею. Я и не позволил! Ходить вокруг да около тоже не стал, а выложил ей все, что я думаю о Маркинсе. Я сказал, что она должна немедленно рассчитать своего драгоценного лакея, и объяснил, почему ей следует это сделать.

— А я и не догадывалась, что это ты ее просветил, — тихо прошептала Теренс Лин.

Флосси, по словам Дугласа, сильно расстроилась. Расстаться с таким сокровищем, как Маркинс! Да она дня не мыслила без его присутствия в доме. С другой стороны, у всех на памяти были ее пылкие речи, с которыми она выступала в стенах парламента именно по вопросу борьбы с теми, кто представляет в стране интересы пятой колонны. Дуглас для пущей убедительности даже напомнил ей отдельные фрагменты из этих пафосных выступлений. *«Заявляю со всей ответственностью, что в момент, когда на полях сражений льется кровь наших соотечественников, когда на кон поставлено будущее страны, а быть может, и всего человечества, никто из нас не имеет права на слабости и ошибки. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Любой, чья благонадежность вызывает у нас сомнение, будь то незнакомец или ближайший друг, любой такой человек, повторюсь я, должен стать объектом нашего пристального внимания. Этого от нас требуют высшие интересы государства и безопасности наших граждан».* Разумеется, такой яркий образчик ораторского искусства не мог в свое время не впечатлить всех, кто слушал эти пылкие заявления. И вот тете Флосси пришлось пожинать плоды собственной риторики. Некоторое время она подавленно молчала, глядя на племянника с самым несчастным видом. Потом приободрилась, видно, найдя кое-какие контраргументы.

— Ты слишком много работаешь, Дуглас! — заявила она безапелляционным тоном. — Ты просто устал, и у тебя нервный срыв.

Дуглас не стал развивать эту тему. Зато развил другую, ту, которая напрямую связана с «дорогим крошкой», мистером Курата Кан. Как Маркинс попал в Маунт-Мун? — начал загибать пальцы на своей руке капитан Грейс. Что нам известно о его прошлом? Отдает ли она себе отчет в том, насколько важна работа, которой они сейчас занимаются с Фабианом. Понимает ли она, что для ее успешного завершения нужно исключить любой, даже самый минимальный риск утечки информации. А потому ее прямая обязанность сообщить обо всех возникших у них с Фабианом подозрениях в самые высокие компетентные инстанции, причем сообщить должна именно она, а не он, Дуглас, или Фабиан.

Тетя в отчаянии всплеснула руками.

— Боже мой! Что мне делать? Ты только вспомни, как он ухаживает за Артуром. Никто не может угодить мистеру Рубрику лучше, чем Маркинс. А по дому сколько он всего делает! Он и дворецкий, он и лакей, он и мастер на все руки. В таком огромном доме один-единственный слуга-мужчина, и какой слуга! Ну, уволю я его, и кем заменим? Ведь замены-то нет!

— По дому будут управляться наши девушки.

— Но я вообще не верю в это. Понимаешь? Я просто не верю во все эти шпионские бредни! Я хорошо разбираюсь в людях и всегда доверяю собственным суждениям о них. Так вот, в этом конкретном случае, Дуглас, мое суждение подсказывает мне, что Маркинс ни в чем таком не замешан. Не верю!

Но как уже говорила Урсула, Флоренс Рубрик была порядочной и честной женщиной. А потому, несмотря на экспансивные выкрики, она

не могла не признать, что доводы Дугласа строятся не на пустом месте. Какое-то время она молча ходила по кабинету, нервно покусывая кончик карандаша, верный признак того, что тетя очень расстроена. Дуглас выжидательно молчал.

— Ты прав! — проговорила она, наконец. — Это дело нельзя пускать на самотек! — Она посмотрела на племянника поверх пенсне. — И ты правильно сделал, дорогой, что поделился своими подозрениями именно со мной. Обещаю тебе, я все улажу!

Последняя реплика насторожила Дугласа.

— Как? — коротко поинтересовался он у своей родственницы.

— Еще раз все хорошенько обдумаю и перейду к решительным действиям.

— К каким таким действиям? — не на шутку испугался капитан Грейс, зная темперамент тети Флосси.

— Это сейчас не важно, дружок! — Флосси ласково потрепала его по щеке. — Положись во всем на свою старую тетку. Уверяю, она тебя не подведет.

— Но тетя! — попытался урезонить ее Дуглас. — Разве мы с Фабианом не имеем права знать…

— Имеете! И обещаю, в положенный срок вы все узнаете первыми! — Флоренс с шумом уселась за письменный стол. Несмотря на внешнюю хрупкость, она отнюдь не была газелью. У нее была тяжеловесная походка, а любое движение обязательно сопровождалось шумом. — А теперь ступай, мой дорогой! Не мешай тете работать! — Пару минут Дуглас молча смотрел, как Флосси что-то лихорадочно строчит на листке бумаги. Но вот она оторвалась от стола, подняла на него глаза и грозно сказала: — Я ему покажу!

— О, нет! Только не это! Нам еще самосуда не хватало! — попытался урезонить Дуглас разбушевавшуюся миссис Рубрик. — Здесь надо действовать иначе! Послушайте меня, тетя Флосс!

Но Флоренс резким тоном приказала племяннику немедленно покинуть кабинет и не мешать ей работать. Ты, сказала она ему, сделал свою часть дела: пришел и все рассказал мне. А сейчас не мешай мне самой довести это дело до конца. В конце концов, это ее слуга, а она-то уж лучше знает, как именно следует обращаться с собственными слугами. После чего она снова принялась сосредоточенно скрипеть пером по бумаге. Тогда Дуглас сорвался и стал кричать на нее. Разумеется, она не осталась в долгу. Накричавшись всласть, она велела ему успокоиться и еще раз попросила удалиться. Дуглас мешкал, считая, что они так и не пришли к согласию. Но тут он машинально глянул в окно и увидел Маркинса. Маркинс, облаченный в выходной костюм, прошмыгнул почти под самыми окнами, возбужденно потирая лоб. Он явно спешил.

— Тетя Флосс! Прошу тебя, послушай меня!

— Кажется, я уже все ясно сказала!

Терпение Дугласа лопнуло, и он громко хлопнул дверью. Воистину, ему пришлось собрать бурю, которую он сам же и посеял, начав с ветра.

Чувствовалось, что воспоминания разбередили Дугласу душу. Он поднялся с дивана и стал нервно прохаживаться по коврику возле камина.

— Не могу сказать, что моя размолвка с тетей никак не отразилась на моих с ней отношениях. Она явно затаила на меня обиду и стала обращаться со мной, как с несмышленышем.

— Да, то, что твои акции в ее глазах снизились, заметили все! — прокомментировал эту часть рассказа капитана Грейса Фабиан. — Бедная Флосси! Надо же! Ты решил бить тетю ее же оружием и на ее территории.

Ужасно! А с твоей стороны крайне неосмотрительно. Не удивлюсь, если после всего, что случилось между вами, она возненавидела тебя.

— Ну, это уж ты загнул!

— Совсем чуть-чуть! — усмехнулся Фабиан и добавил с хитрецой в голосе: — Между прочим, ненависть, вполне возможно, стала обоюдной. Чем не мотив для убийства, а?

— Да ты совсем с ума спятил, Фабиан! — заорал на него Дуглас.

— В самом деле, Фабиан! Порой ты бываешь просто несносным! — поддержала капитана Грейса Урсула.

— Прошу простить меня, дорогая!

— Но что я мог? — продолжал кипятиться Дуглас. — Скажи, что мне оставалось делать в подобной ситуации? В конце концов, она мне ясно дала понять: это ее дом и ее слуга, а следовательно, все это не моего ума дело.

— Да, но когда ты лез к нему в запертую комнату, взламывал замок, ты об этом как-то не очень задумывался, разве не так? — язвительно заметил Фабиан.

— Ничего я не взламывал! И потом, это совсем другое!

— Так! Успокойтесь, вы оба! — остудил спорщиков Аллен. — Лучше скажите мне: так что же такого миссис Рубрик «показала» Маркинсу? И показала ли вообще?

— Думаю, да! Хотя со мной на эту тему она не распространялась. А я тоже не лез к ней с расспросами после нашей ссоры. Не горел особым желанием, чтобы меня снова выставили вон, как нашкодившего мальчишку! — Дуглас закурил сигарету и сделал глубокую затяжку.

А у него наверняка припрятана в рукаве пара козырных тузов, подумал Аллен. И словно вторя его мыслям, капитан Грейс бросил как бы между прочим:

— Полагаю, она ему показала, и как следует. Вот поэтому он и убил ее.

— Ну, и как ты представляешь себе эту показательную порку? — рассмеялся Фабиан. — «Мой дорогой Маркинс! Со слов моего дорого племянника Дугласа, мне стало известно, что ты — вражеский агент. Вот тебе расчет за неделю вперед, и ступай отсюда куда глаза глядят. А на ближайшей железнодорожной станции тебя арестуют и наверняка расстреляют через пару месяцев». Так все было, да? После чего в кровожадной душе шпиона созрел коварный план убийства своей благодетельницы, и он подкараулил ее в сарае, подождал, пока та взберется на платформу и начнет декламировать свои речевки, а потом с легким сердцем привел машину в действие, и все! Дело сделано! Во всем этом нет ни капли здравого смысла. Глупо!

— Ты намеренно выставляешь меня дураком, да? — снова возмутился Дуглас.

— Да потому что твоя версия не выдерживает никакой критики, понимаешь? Не в ее характере бросаться на человека ни с того ни с сего. Да и вообще, надо быть последней дурой, чтобы бросить подобные обвинения в лицо человеку, не имея веских доказательств его вины. А уж кем-кем, но дурой наша тетя Флосси никогда не была.

— Но она же сама сказала мне…

— Что она тебе сказала? Что «покажет» Маркинсу? Так это образное выражение, не более того. А на деле это означает, что она серьезно займется всем, что имеет отношение к Маркинсу. И потом, в тот момент она просто хотела поскорее отвязаться от тебя. Вот и сказанула первое, что пришло ей в голову. Ей-богу, я ее прекрасно понимаю!

— Тогда что она могла сделать Маркинсу? Чем припугнуть? — не выдержала Теренс. — Ведь для этого ей нужно было, как минимум, сначала поговорить с ним, задать ему кучу вопросов.

Теренс почти не участвовала в общем разговоре. Наверное, поэтому ее спокойный голос и подчеркнуто ровные интонации показались резковатыми.

— О, по части интриг наша Флосси могла переплюнуть шекспировского Полония! Уверен, она начала действовать безотлагательно. Более того... — Фабиан замолчал, явно наслаждаясь тем, что собирается произнести вслух. — Более того, не удивлюсь, если она даже провела обстоятельные консультации по данному вопросу с дядей Артуром.

— Ни за что! — сказал как отрезал Дуглас.

— С чего тебе взбрело это в голову? — удивилась Урсула.

В комнате повисло гнетущее молчание.

— Покойная была не из тех, кто привык советоваться с кем бы то ни было, — проговорил Дуглас, стремясь разрядить обстановку. — Это не в ее характере.

— И снова мы вернулись к тому же, с чего и начали! — Фабиан бросил выразительный взгляд на Аллена. — В любой ситуации на первое место выходит характер миссис Рубрик. Это — в ее характере, это — не в ее характере! Сколько можно!

— О чем мы спорим? Маркинс прекрасно знал, что именно думает Флосси о представителях пятой колонны. — Дуглас изо всех сил старался не дать разгореться новой перепалке. — Он не раз слушал по радио ее выступления в парламенте, ему было известно, что конкретно она думает о безопасности страны в условиях военного времени. А потому хватило малейшего намека с ее стороны о том, что она не вполне доверяет ему, чтобы нанести упреждающий удар.

— Но предположим, она задумала некий хитроумный план, чтобы вывести его на чистую воду, — сказала Урсула. — Думаете, он не догадался бы об этом? Хотя бы уже по ее отношению к себе.

— Наверняка догадался бы! — согласился с девушкой Дуглас. — Тетя Флосси не сумела бы скрыть свои истинные чувства.

— О, да ты, оказывается, совсем не знал собственную тетку! — вполне искренне удивился Фабиан. — Флосси была умна и хитра, как сто обезьян, сведенных вместе.

— Согласна! — поддержала его Теренс.

— Ну, а что было в реальности? — полюбопытствовал Аллен. — Что изменилось в ее отношении к Маркинсу?

— Кое-что, — неопределенно ответил Фабиан. — Честно говоря, мы отнесли эти перемены насчет того скандала, который произошел у нее с Клифом Джонсом. Ведь мальчишку, как вы помните, поймал именно Маркинс. Ну да и вообще после всего этого она была сама не своя: ко всем подряд цеплялась, на всех кричала. Даже кухарке от нее досталось.

— Тетя Флоренс переживала! Она сильно переживала размолвку с Клифом. Это было видно невооруженным глазом! — заявила Урсула. — Она сама сказала мне об этом. Думаю, если бы она затеяла выяснение отношений с Маркинсом, то тоже поделилась бы со мной. Непременно! Недаром она называла меня своим «предохранителем», который всегда безотказно срабатывает в трудную для нее минуту.

— Ну да! Мой предохранитель, моя незаменимая помощница! — насмешливо воскликнул Фабиан. — Словом, миссис Рубрик и ее палочка-выручалочка мисс Харм собственной персоной.

— А может быть, в ночь своего исчезновения она и назначила ему решающую встречу, — предположил Дуглас. — Скажем так: она обратилась в какие-то высокие инстанции за советом и все эти дни ждала ответа, прежде чем приступить к окончательному выяснению отношений с Мар-

кинсом. Мой бог! Вполне возможно, это было то самое письмо, которое она начала писать еще тогда, когда мы ссорились у нее в кабинете.

— Мне ничего не известно о таком письме, — сказал Аллен.

— Ну, раз вам неизвестно, то, значит, его нет в природе, — отозвался Фабиан. — Вы ведь спустились к нам как раз из этих самых высоких инстанций.

Все снова замолчали. А у мальчишки язык, словно бритва, недовольно нахмурился старший инспектор. И порой этот язык болтает лишнее. Вот, например, сейчас. Зачем он сболтнул про высокие инстанции? Остальные немедленно встрепенулись и насторожились.

— Вот, пожалуй, и все, что я хотел сообщить вам об этом деле, сэр! — Дуглас посмотрел на Аллена. — Не буду говорить, что моя версия — самая исчерпывающая. Но клянусь всеми святыми, мои подозрения относительно Маркинса — отнюдь не пустая блажь! Они все, — он обвел взглядом присутствующих, — не дадут мне соврать: после исчезновения тети Маркинс вел себя весьма подозрительно.

— Не дам! — с готовностью откликнулся Фабиан. — Потому что я снова категорически не согласен с тобой. В его поведении не было ничего подозрительного. Он волновался и переживал ничуть не меньше, чем мы.

— И даже больше! Он сильно нервничал!

— А кто не нервничал? Можно подумать, что ты в эти дни сохранял олимпийское спокойствие! И потом, если бы он не переживал, хранил свою обычную невозмутимость, то это показалось бы тебе еще более подозрительным, чем чрезмерная нервозность. И ты снова стал бы выискивать что-то неладное. На тебя, Дуглас, никак не угодишь!

— Да! Мне было неприятно видеть, как он шатается по дому со страдальческой миной на лице. И сегодня мне невыносим его вид и само его присутствие. С какой стати он все еще отирается здесь?

— И правда! — поддержал Грейса Аллен. — С какой стати он все еще здесь?

— Вы не поверите, сэр! — приободрился Дуглас, услышав слово поддержки. — Но он здесь потому, что об этом дядю Артура попросила полиция. Представляете?!

Незаметно для себя Дуглас снова предался воспоминаниям. Итак, спустя пять дней после того, как тетя Флоренс медленно пошла по дорожке вниз, повернула налево и исчезла среди зарослей лаванды, в доме воцарились хаос и нервозность. Первой ласточкой приближающейся грозы стал звонок из полицейского участка, расположенного на перевале. Полицейский сообщил ошеломленным обитателям дома, что у них имеется телеграмма на имя миссис Рубрик. Можно ли ее зачитать по телефону? Теренс лично приняла послание и застенографировала его. «Надеюсь, Ваше отсутствие на столь важных дебатах, которые состоялись в четверг, было связано с Вашим легким недомоганием, а вовсе не с тем, что Вы не захотели участвовать в них». И подпись коллеги по депутатской фракции. Это вызвало настоящий шок у всех домашних. Как? Так, значит, Флоренс не поехала в столицу? А куда же она тогда поехала? Стали наводить справки. Вначале все делалось осторожно, чтобы не вызывать излишней паники у окружающих. Но по мере того как шло время, напряжение возрастало: звонки друзьям, приятелям и знакомым, звонки адвокатам и юристам, с которыми контактировала Флосси. Кстати, один такой звонок дал ценную информацию: у миссис Рубрик была запланирована встреча со своим адвокатом в нотариальной конторе, на которую она так и не явилась. Потом стали обзванивать больницы, полицейские участки, ранчо, разбросанные по всему плато. И, наконец, последовало SOS уже в масштабах всей стра-

ны. Начались широкомасштабные поиски пропавшей с привлечением полиции, горноспасателей, водолазов и прочее, и прочее. Десятки людей прочесывали окрестности Маунт-Мун, лесные массивы по пути к перевалу, дальние и ближние горные пастбища. Все оказалось безрезультатным. Однако события развивались по нарастающей, и следующим ударом для всех стал острый сердечный приступ у дяди Артура. Несмотря на критическое состояние, он, тем не менее, категорически отказался от присутствия в доме квалифицированной медсестры, сказав, что лучше Маркинса и Теренс Лин за ним никто не присмотрит. Финальной точкой в этой череде аномальных событий, потрясших размеренное существование обитателей поместья, стала печальная находка на складах с шерстью, принадлежащих фирме «Райвен Бразерс».

Аллен мельком взглянул на своих собеседников и подумал, что в этот момент что-то неуловимо изменилось в выражении лиц большинства из них.

Ведь поначалу никто из них не хотел касаться именно этой, самой драматичной части всего происшествия, и первым рискнул затронуть тему Дуглас. А потом, один за другим, вначале неохотно, а потом все более и более раскрепощаясь, они стали вспоминать подробности всего того, что мучило их больше года, что не давало им покоя и о чем они никак не решались заговорить друг с другом.

Обнаружение трупа неизбежно влекло за собой все мероприятия, которые являются частью официального расследования убийства: допросы свидетелей, бесконечные визиты полиции в имение, газетный ажиотаж, достигший своего апогея в день похорон, приобретших поистине размах события общенационального масштаба. Но в тот самый момент, когда Дуглас с дрожью в голосе рассказывал Аллену, какими пышными были похороны (одних оркестров, которые играли все время, непрерывно сменяя друг друга, было целых три!), Фабиан не выдержал и громко расхохотался. Это был смех, очень похожий на истеричный взрыв: взрывы хохота душили Лосси, не давая выговорить ему ни слова: «Я… я… прошу простить меня!.. понимаю, со стороны… это выглядит ужасно… неприлично… Но господи! Как подумаю о том, что предшествовало всем этим торжествам! Как вспомню, при каких обстоятельствах она погибла! И вот финал! Три духовых оркестра вместо одного пресса! Комическая фантасмагория!» Очередной приступ смеха практически заглушил последнюю реплику.

— Фабиан! — тихо прошептала Урсула. — Прошу тебя, не надо!

Она обняла его за голову и прижала ее к своим коленям. Дуглас в немом изумлении уставился на Фабиана.

— Зачем ты так? — начал он с сожалением в голосе. — Ей действительно воздали все положенные в таких случаях почести! Еще и потому, что, как выяснилось, она была очень популярным политиком. И родственникам не оставалось ничего иного, как согласиться со всеми протокольными мероприятиями, которые включают в себя похороны на государственном уровне. Вот лично я…

— Не отвлекайся от темы, Дуглас! — попеняла ему Теренс.

— Минуточку! — снова вмешался Фабиан. — Мне надо объясниться. Кажется, сейчас моя очередь, а?

— Прошу тебя, Фабиан! Не делай этого! — взмолилась Урсула.

— Почему нет? Кажется, мы пришли к общему согласию, что расскажем ему, — последовал небрежный кивок в сторону Аллена, — все, что знаем об этом деле. Правду, одну только правду и ничего, кроме правды! Вот и я хочу, наконец, внести свою лепту в нашу совместную копилку.

— Нет!!!

— Пойми, Урсула! Я должен сделать это. И, пожалуйста, не перебивай меня. Это и в самом деле крайне важно. И потом, мой идиотский смех… Надо же как-то объяснить странности в моем поведении!

— Мистер Аллен все поймет! — Урсула бросила умоляющий взгляд на Аллена, не разжимая своих объятий. — Это все война! После Дюнкерка Фабиан был в ужасном состоянии. Вы не должны осуждать его за подобные вспышки!

— Ради всех святых, заткнись! — грубо оборвал ее Фабиан. — Закрой свой рот и молчи! Позволь мне самому сообщить ему все, что я считаю нужным!

— Ты сошел с ума! Я не хочу, чтобы ты начинал этот разговор, Фабиан. Я не разрешаю тебе говорить!

— Сейчас меня уже не остановить!

— Что за шум? Вокруг чего, собственно, весь сыр-бор? — спросил Дуглас, с удивлением наблюдая за разворачивающейся на глазах сценой.

— Сыр-бор вокруг меня, приятель. Вопрос ведь не в том, быть или не быть. Вопрос в том, убил я тетушку Флосс или нет. А теперь внимание! Просьба заткнуться всем и выслушать меня молча.

Глава IV

Версия Фабиана Лосси

Фабиан обхватил колени худыми руками и начал свой рассказ, не поднимаясь с пола. Поначалу его речь была бессвязной, он запинался, слова то и дело наскакивали друг на друга и путались, у него тряслись губы и дрожал голос. Но мало-помалу молодой Лосси взял себя в руки и заговорил четко и ясно, голос его перестал дрожать, а если иногда и срывался, то он тут же делал паузу, после которой заново повторял всю фразу, громко и отчетливо выговаривая каждый звук.

— Я уже говорил вам, что под Дюнкерком получил сильный удар по голове. Несколько недель после ранения я провалялся в госпитале, а потом врачи решили, что починили мою голову, и отпустили меня восвояси. Мне даже предложили работу на одном оборонном предприятии. Именно там, насмотревшись на всякие авиабомбы, я и задумал свое будущее детище, которое условно назвал «устройством Х». Думаю, если бы после выписки из госпиталя я был физически в полном порядке, то очень скоро мои творческие поползновения увенчались бы успехом, а рабочая модель изобретения появилась на свет еще в Англии. Но все получилось совсем иначе.

Однажды утром я пришел на работу со страшной головной болью. Подобные приступы случались у меня и раньше, но такой острой боли еще не было. Однако я постарался взять себя в руки и усилием воли заставил не обращать внимания на боль. Я сидел за письменным столом и просматривал какие-то чертежи, которые передали мне сверху. Помню, я даже поднес один чертеж близко к глазам, чтобы лучше рассмотреть все детали, и тут со мной произошло нечто необычное. У меня случился полный провал в памяти. Все завертелось у меня перед глазами, и меня куда-то потащило из темноты к свету. Яркий свет накатывал огромными волнами, вызывая панический ужас. Понемногу я пришел в себя и обнаружил, что болтаюсь на каких-то воротах возле самой дороги, в нескольких минутах ходьбы от своего местожительства. Ворота были очень высокими, мощная железная конструкция из восьми стальных стержней, обмотанных сверху

рядами провода. Они были заперты на висячий замок. Как выяснилось впоследствии, за воротами располагался армейский склад. Как я вскарабкался наверх, ума не приложу! Потом я спрыгнул вниз и какое-то время просто лежал на земле, не в силах пошевелиться. Глянул на часы и сам удивился: прошел целый час, а я абсолютно не помнил, что делал все это время. Такое ощущение, что этот час просто вырвали из моей жизни. Я машинально глянул на правую руку и заметил, что все пальцы перемазаны чернилами. Кое-как я добрел до своей квартиры, уже совершенно никакой, и тут же позвонил на работу. Наверное, я нес всякую чушь, потому что на следующее утро ко мне прислали военврача. Он осмотрел меня и сказал, что все это последствия черепной травмы.

Мне выдали официальное заключение, которое я храню до сих пор. Если захотите, можете взглянуть на него. Пока врач меня осматривал, случилась еще одна странная вещь. Пришло письмо: оно было адресовано мне, но написано моею же рукой. Согласитесь, немного жутковато получить письмо от себя к себе! Я вскрыл конверт, и оттуда выпало шесть офисных бланков, исписанных моим почерком и испещренных какими-то чертежами. Всякая ерунда, конечно. Какие-то обрывки фраз, фрагменты моих расчетов, одним словом, полный бред. Я показал все это врачу. Тот сказал, что у меня появились навязчивые идеи, и быстренько сделал из меня психа, после чего меня в два счета выставил из армии. К счастью, тут подвернулась тетя Флосси.

Фабиан снова замолчал, задумчиво вперив свой взгляд в пустоту.

— Подобные приступы у меня случались еще дважды. Один раз на борту парохода, когда мы плыли сюда. Правда, потом мне говорили, будто бы я отдыхал в шезлонге на верхней палубе. Но на самом деле Урсула застала меня в тот момент, когда я снова карабкался куда-то вверх. На сей раз это был трап, по которому я пытался взобраться на верхнюю палубу. Да, вот что важно! Меня ранило в голову под Дюнкерком как раз тогда, когда я взбирался по веревочному трапу на спасательное судно. Может, отсюда мое наваждение все время лезть куда-то вверх? Урсула, конечно, не смогла уговорить меня спуститься вниз, а потому осталась присматривать за мной, пока я находился на палубе. Вначале я просто прохаживался, потом что-то вывело меня из себя. Я стал кричать, что Флосси надоела мне до чертиков и что я душу из нее вытрясу, если она сейчас попадется мне под руку. На эти слова, мистер Аллен, попрошу обратить особое внимание. Я уже рассказывал вам, что пока мы плыли в Новую Зеландию, тетя Флоренс опекала меня с таким усердием, что к концу вояжа я уже почти возненавидел ее. В конце концов Урсуле удалось привести меня в чувство, и она даже уговорила меня спуститься в свою каюту. Я попросил ее не рассказывать о случившемся тете Флосси. К медикам мы тоже обращаться не стали. У корабельного врача своих дел было по горло, и мы решили лишний раз не надоедать ему.

А сейчас я расскажу вам о своем последнем приступе. Последний приступ! Вы уже, наверное, догадываетесь, что он пришелся как раз на ту самую ночь, которую ваш приятель из контрразведки, занимающийся этим делом, назвал «Ночью вопросов без ответов». Все началось в тот момент, когда я бродил между овощными грядками в поисках пропавшей застежки. К несчастью, Урсулы рядом со мной не было.

Скорее всего, все произошло так. Я медленно шел по борозде, уткнувшись носом в землю и не глядя по сторонам до тех пор, пока не потерял равновесие, зацепившись за какую-то корягу. Единственное, что я помню, это голоса наших девушек: они громко спорили неподалеку от меня, а потом пелена перед глазами, и я — в полной отключке. Еще помню отвра-

тительное ощущение, какое бывает у человека, когда его долго и сильно бьют. Когда я, наконец, выныриваю из темноты беспамятства, то с удивлением обнаруживаю, что валяюсь под деревом в самом дальнем конце огорода. И в этот момент я слышу голос дяди Артура: «Да вот же она! Нашел!» И все начинают галдеть, звать друг друга, сообщая радостную весть. Я слышу и свое имя. С трудом поднимаюсь с земли и иду вперед, на их голоса. Было темно, а потому едва ли кто-то обратил внимание на мой внешний вид. Наверняка лицо было зеленым, частично от пережитого потрясения, а частично от травы, в которой лежал, уткнувшись носом. Но все в тот момент были заняты другим: радостные восклицания, неуемные восторги по поводу того, что эта проклятая брошь все-таки нашлась. Я тихонько прошмыгнул в дом последним, выпил пару глотков содовой, а остальные снимали стресс горячительными напитками. Даже дядя Артур, как главный виновник торжества, позволил себе порцию виски. Впрочем, выглядел он не очень, видно, сильно переутомился, пока ползал под кустами. Словом, всем было не до меня. Всем, за исключением… — Фабиан немного помолчал, потом слегка отодвинулся от Урсулы и посмотрел на нее с необыкновенной нежностью. — Всем, за исключением Урсулы. От ее внимания, конечно же, не ускользнуло, что я скорее похож на дохлую рыбу, чем на живого человека. На следующее утро она взяла меня в оборот, и я признался ей, что у меня случился очередной приступ, «срыв», как называла мои приступы тетя Флосси.

— Что за глупости ты несешь, Фабиан! Мистер Аллен только посмеется над тобой, слушая весь этот бред, — едва слышно прошептала Урсула.

— Неужели? Ну и пусть себе смеется на здоровье! Честно тебе скажу, для меня было бы большим облегчением увидеть сейчас смеющуюся физиономию мистера Аллена. Вот только я не вижу на его лице никаких признаков веселья. Никаких! Я надеюсь, вы понимаете, сэр, к чему я клоню?

— Думаю, да. Вы опасаетесь того, что в состоянии амнезии, когда полностью утрачиваете контроль над своими действиями и поступками, вы могли случайно забрести в сарай и там совершить убийство.

— Именно!

— Но вы же только что сами сказали, что отчетливо слышали голоса мисс Харм и мисс Лин, громко разговаривавших неподалеку от вас.

— Да, я хорошо помню, как Терри громко сказала: «Надо делать то, что нам велено. Так будет гораздо проще для всех!»

— Вы это говорили, мисс Лин?

— Полагаю, да. Нечто в этом роде.

— Да, это ее слова! — подтвердила Урсула. — Я их хорошо помню.

— А после этого я потерял сознание.

— И пришли в себя уже только тогда, когда услышали радостные крики мистера Рубрика, оповещавшего всех о своей находке?

— Да. Его голос — это было первое, что я услышал, когда пришел в себя.

— Как вы думаете, — обратился Аллен к Теренс Лин, — сколько времени могло пройти с момента вашей последней реплики и до того момента, как вас всех позвал мистер Рубрик?

— Минут десять, не больше.

— Что ж, мистер Лосси! Вынужден признаться, вы — умный и проницательный человек.

— Благодарю вас за столь лестную оценку моих интеллектуальных возможностей.

— Одно мне не совсем понятно! Что толкнуло вас на столь беспардонную ложь?

— Вот! Ну, что я тебе говорила! — торжествующим голосом сказала Урсула Фабиану.

— Лично для меня, Урсула, огромное облегчение — знать, что мистер Аллен рассматривает мои слова, которые по сути своей есть не что иное, как публичная исповедь, и которая далась мне с таким трудом, так вот, мне приятно знать, что для мистера Аллена все это — лишь «беспардонная ложь».

— Мистер Лосси! Поймите меня правильно! Я ни минуты не сомневаюсь в том, что вы действительно пережили все, о чем рассказали. Более того, я вам глубоко сочувствую и понимаю весь трагизм ситуации. Но! Ваша версия не выдерживает никакой критики! Она нелепа вся, от первого и до последнего слова! Именно потому я и назвал ее беспардонной ложью. Кстати, это вовсе не означает, что вы не способны совершить преступление в принципе. Но в данном конкретном случае у вас просто не было достаточно времени, чтобы убить миссис Рубрик.

— Целых десять минут! — возразил ему Фабиан.

— Ну да! Десять минут! И за это время вы должны были успеть пробежать пару сотен метров до сарая и обратно, привести в действие пресс и, прошу прощения за неприятные подробности, переделать кучу дел для того, чтобы упаковать свою жертву в тюк с шерстью. Даже в здравом уме и при полной памяти на это потребовалось бы гораздо больше времени, а уж в состоянии полной прострации… Нет, я вам не верю! И никогда не поверю, как бы вы ни старались убедить меня в противном. Кстати, на вас были белые брюки, насколько я помню из протоколов следствия. Ну, и в каком состоянии вы их нашли, когда очнулись?

— В ужасном! Не забывайте, я же ползал по грядкам, да и упал подле одной из них.

— Но клоков шерсти на них не было, не так ли? Или каких-нибудь жирных пятен?

Внезапно Урсула поднялась со своего места и подошла к окну.

— Урсула, сказать ему все? — Фабиан глянул на девушку.

— Да. Скажи, коль начал. Надо покончить с этим раз и навсегда. Не волнуйся, со мной все в порядке. Сейчас докурю сигарету и вернусь на место. — Она говорила, не поворачиваясь от окна, и от этого голос ее звучал глухо, словно издалека. Невозможно было понять, о чем она думает в эту минуту и что переживает. — Скажи все, коль начал! — снова повторила она.

— Вы ведь в курсе того, — Фабиан посмотрел на старшего инспектора, — что убийца воспользовался рабочим комбинезоном и рукавицами, принадлежавшими нашему управляющему Томми Джонсу. Рукавицы лежали в одном из карманов комбинезона. Спецодежда висела на гвозде, вбитом в стенку неподалеку от пресса. На следующее утро, когда Томми переоделся в комбинезон, он обнаружил кое-какие нелады. На брюках в одном месте разошелся шов. Были и другие мелочи.

— Вот-вот! Переодеться в спецодежду — это значит потратить еще пару лишних минут времени, которого у вас и так не было! — воскликнул Аллен. — Предположим, вы правы! И вы давно замышляли убийство и продумали свой план от начала и до конца, в мельчайших подробностях. Что тогда? А тогда для того, чтобы пробраться в сарай, вам нужно было оторваться от остальной компании, оставаясь при этом незамеченным. Для этого вам следовало либо пройти через дом, либо через боковую лужайку и дворик с обратной стороны дома. Но мисс Лин и мисс Урсула в этом случае наверняка бы увидели вас со своего места. Кстати, я уже успел опробовать все маршруты возможного продвижения к сараю. Самый прямой и корот-

кий путь — действительно от огорода. Я добежал оттуда до сарая за две минуты. Но вы не могли воспользоваться тогда этим кратчайшим путем. Потому что вас бы сразу увидела целая куча народу. А все окольные пути требуют, как минимум, трех-четырех минут. При таком раскладе у вас оставалось всего четыре минуты на убийство да и на все то, что с ним связано. Например, на переодевание. Сами понимаете, что практически это невозможно. Вот потому я говорю: ваш рассказ — это самая беспардонная ложь. Чистейшей воды вымысел.

— Ну, это смотря с какой стороны взглянуть! — возразил ему Фабиан. — После того, как у меня случился первый приступ, я еще в Англии всерьез занялся изучением того, как ведут себя люди, получившие тяжелые ранения в голову и страдающие временной потерей памяти. Проштудировал горы литературы, и представьте себе, выявил кое-что любопытное, — его рот исказила страдальческая усмешка. — Бывают случаи, и они отнюдь не редкость, когда больные, страдающие амнезией, демонстрируют недюжинную силу, находясь в прострации.

— Пусть так! Но вряд ли они приобретают привычки мартовских котов, бегающих как бешеные во всех направлениях.

— Хорошо! Я всем сердцем — за вашу версию! Потому что вы сняли с моей души страшный груз, за что я вам очень благодарен.

— Я только одного не понимаю, — задумчиво начал Аллен, но Фабиан почти грубо перебил его:

— Вам еще многое предстоит понять, мистер Аллен! Вы не понимаете, что у таких людей, как я, перенесших подобный стресс, чувства обострены до предела. Им крайне важно знать, чем заполнена каждая минута их жизни. А у меня вычеркнуты из памяти целых десять минут. Это так мучительно — жить и не знать, чем именно я занимался все это время.

— Сочувствую! — тихо сказал Аллен.

— Поймите, я вовсе не горю желанием убедить вас в том, что я преступник. Вы сказали, что это невозможно. Вот и чудесно! Замечательно! Превосходно! А как быть с утраченным временем, а?

Урсула отошла от окна и уселась на ручку кресла. Фабиан стал нервно прохаживаться по комнате. Все молчали.

— Какой же я глупец! — проговорил Фабиан после некоторой паузы. — Я думал, что практика публичных исповедей, к помощи которой прибегают некоторые современные психологи, — это действительно нечто революционное. Нечто такое, что может кардинально облегчить твои душевные страдания. Увы-увы! Очередное заблуждение, и только. Это называется «выпустить пар в свисток». А у меня даже и свистка не получилось. Так, пискнул один раз, и все!

— Ничего не понимаю! — начал Дуглас.

— Конечно нет, дружище. А с какой стати тебе понимать всю эту галиматью? Ты же не психопат, наподобие меня. Впрочем, я тоже не был психопатом когда-то. Я хочу сказать, до Дюнкерка. К счастью для тебя, Дуглас, твое ранение пришлось на нижнюю часть туловища. А вот меня шандарахнуло по башке. Вот и вся принципиальная разница между нами на сегодня.

— Но не настолько же тебя шандарахнуло, как ты изволил выразиться, чтобы самому обвинять себя в убийстве!

— А что ты хочешь, мой дорогой? Психопатия, как следствие тяжелого фронтового ранения. Типичный случай на войне: Лосси Фабиан, первый лейтенант. Страдает приступами тяжелой депрессии. Отказывается обсуждать симптомы своего заболевания. Заключение: бытовое убийство на почве родственной неприязни с последующим курсом психотерапии

(в лице полиции) в комплексе с публичными исповедями. Пациент демонстрирует явное желание говорить о себе. Сильно выраженное чувство вины. Результат: полное излечение маловероятно.

— Что за чушь ты несешь, хотел бы я знать?

— Зачем тебе это? В моем случае чувство вины действительно обострено до предела, ибо я отлично осознаю, сколь сложными и противоречивыми были мои отношения с жертвой. Вот вы, к примеру, — Фабиан замер как вкопанный перед стулом Аллена, — не знаете, что за три недели до убийства тети Флосси мы с ней жутко повздорили.

Аллен увидел, как у Фабиана дрожат губы. Еще одно запоздалое признание неврастеника в своих мелких грехах, устало подумал он. Когда же это все закончится? К тому же, парень явно перепутал меня с психиатром, будь он неладен. Но вслух он ограничился лишь короткой репликой:

— Итак, у вас случился скандал с миссис Рубрик, и что потом?

Урсула подалась вперед и вложила свою руку в ладонь Фабиана. Тот крепко сжал ее пальцы и рывком повернулся к ней спиной.

— Да, мы крупно с ней поругались! Коль скоро я начал сеанс публичного стриптиза, то почему бы не рассказать вам и об этом? Жалею, что давно не сделал этого. Но, пожалуй, мне следовало бы рассказать вам о ссоре с миссис Рубрик тет-а-тет. Другим скучно будет слушать мой вздор. Тем более Дугласу. Он с ней и сам не раз воевал. Урсуле мои откровения тоже не доставят особой радости. Прости, Урсула, за то, что я втянул тебя в свои неприятности.

— Здесь я с тобой полностью согласен! — подчеркнуто вежливо обратился к нему капитан Дуглас. — Действительно, не надо приплетать к этой истории еще и Урсулу.

— Прекрати, Дуглас! — вскипела Урсула. — Разве ты не видишь, как он страдает? Как терзает себя?

— А заодно и Дугласа! — перебил ее Фабиан. — Бедняга Дуглас! Он от меня изрядно натерпелся за все то время, пока мы вместе. Я же сотворил из него почти всеобщее посмешище. Еще бы! Самый настоящий недотепа, вечно попадающий в комичную ситуацию, как в каком-нибудь дешевом французском фарсе. Впрочем, если взять за основу классическую театральную комедию, то тогда у каждого из нас уже имеется свое амплуа. Разумеется, тетя Флосси — это дуэнья в истинном понимании этого слова, ты, Дуглас, — герой-любовник и по совместительству выдвиженец тетушки на роль счастливого жениха, Урсула — типичная героиня, своенравная капризница, которая при каждом удобном случае топает ножкой, трясет кудряшками и кокетничает со всеми напропалую. Лирического героя в нашей пьесе нет, ибо я стану изображать злодея, который не находит сочувствия к себе ни в ком из персонажей, а потому он старается завоевать хотя бы симпатии зрительской аудитории. Ты, Теренс, — лучшая кандидатка на роль наперсницы, хотя подозреваю, что у тебя есть и своя, пусть и маленькая, но игра.

— Предупреждаю вас всех! — холодно проронила Теренс Лин. — Не стоит начинать вести разговор в такой шутовской манере. В противном случае вы можете горько пожалеть об этом.

Фабиан бросил в ее сторону откровенно неприязненный взгляд.

— Да ты мне даже угрожаешь, Терри! А как же быть с собственной исповедью? Или твой час раскаяния пока еще не наступил, а?

Девушка снова взяла вязание и положила его на колени. Клубок алой шерсти подпрыгнул и покатился по черному платью, а потом упал на пол.

— Ты прав, Фабиан! — ответила она спокойно. — Хотя наш разговор лично мне кажется неуместным, но ты прав. Мой час раскаяния еще не наступил.

— Пожалуйста, оставь Терри в покое! — обрушился на приятеля Дуглас.

— Бедный-бедный Дуглас! — сардонически рассмеялся Фабиан. — Прыгает по всему дому, словно рыцарь на коне, и размахивает своим игрушечным мечом. Думает, что ему под силу защитить всех сирых и везде восстановить справедливость. Пустые мечты, дружище! Впрочем, я еще не закончил свою публичную исповедь. И ты, Урсула, помолчи пока! Тебе нечего волноваться, ей-богу! Мне хоть и проломили череп, отчего я порой становлюсь бешеным, но не настолько же ведь, чтобы не помнить, что я оказал тебе сомнительную честь, попросив стать моей женой. А все Флосси! Как всегда, все дело во Флосси. Надеюсь, и этот эпизод тоже прольет дополнительный свет на ее персону.

Фабиан бросил выразительный взгляд на Аллена, словно рассчитывая услышать от него слова поддержки. Но Аллен промолчал, хотя в глубине души был согласен с ним. В этом доме все действительно, так или иначе, связано с Флоренс Рубрик, и только с ней. А вот поведение Урсулы наводило на размышления. Когда она поняла, что не сможет заставить Фабиана молчать, то, к изумлению старшего инспектора, спокойно и взвешенно принялась обсуждать все подробности своего романа с Лосси тоном самого заправского судьи. Самое удивительное, что она давала вполне объективные оценки каждому этапу их странных, на первый взгляд, взаимоотношений.

По словам Фабиана, он влюбился в Урсулу еще на борту парохода, во время их путешествия в Новую Зеландию. Понимая весь драматизм своего положения, молодой человек решительно обуздал чувства.

— В самом деле! Ну, какой из меня жених? Тем более, для такой девушки, как воспитанница миссис Рубрик! — воскликнул он несколько ироничным тоном.

Прибыв на место, Лосси первым делом встретился с местным эскулапом и показал ему все заключения английских врачей по поводу его черепной травмы. Надо сказать, что на тот момент общее состояние Фабиана значительно улучшилось. Головные боли почти исчезли, а приступы беспамятства больше не повторялись. Новозеландские врачи провели повторное обследование пациента, были сделаны новые рентгеновские снимки черепа, и они выявили положительную динамику, то есть организм постепенно стал восстанавливаться после всех перенесенных испытаний. Врач посоветовал Фабиану не торопить события и даже выразил надежду, что если все пойдет так, как сейчас, то не за горами тот день, когда он станет абсолютно здоровым человеком. Фабиан вернулся в Маунт-Мун окрыленным. Он даже попытался приобщиться к работе на ранчо, поехал на пастбище, но, видно, не рассчитал свои силы. Для того чтобы управляться с огромными стадами овец, нужны недюжинная сила и выносливость, чего у него пока не было. Тогда он вернулся назад в имение и всецело сосредоточился на своей работе над изобретением.

— Но лично для меня ничего не изменилось, — рассказывал Фабиан, — ни в моих чувствах к Урсуле, ни в моем твердом намерении ничего не говорить ей о своей любви. Она была чрезвычайно предусмотрительна в общении со мной, сама внимание и забота, и это усложняло мою ситуацию. Впрочем, я и подумать не мог, что за повышенной заботой о моем здоровье кроется нечто большее, чем обычное милосердие. Я же о своих чувствах молчал, справедливо полагая, что всякое объяснение в любви с молоденькой девушкой в моем нынешнем состоянии не только недопустимо, но и бесчестно.

Фабиан говорил о пережитом с тем спокойствием, которое безошибочно свидетельствует о душевных страданиях. А ведь ему и в самом

деле надо выговориться, сочувственно подумал Аллен, взглянув на сосредоточенное лицо Лосси.

Прошло уже несколько месяцев после их прибытия в Маунт-Мун. И вот однажды вечером Флоренс прибежала к нему на второй этаж и стала что есть сил барабанить в запертую дверь мастерской. Фабиан открыл дверь и увидел на пороге сияющую от счастья Флосси, размахивающую у него перед носом каким-то клочком бумаги.

— Ты только прочитай! — закричала она прямо с порога. — Мой любимый племянник! Как замечательно!

Это была телеграмма, которую Маркинс только что принял по телефону. В ней сообщалось о том, что Дуглас Грейс вот-вот должен был вернуться на ранчо. Флосси была в восторге. Это ведь ее любимый племянник, повторила она Фабиану, по меньшей мере, раз сто. «Ах, он такой милый! — щебетала она, словно птичка по весне. — Какое незабываемое время провели мы все вместе, когда он приезжал к нам в Лондон накануне войны! Ах, как же замечательно все тогда было! Да и на ранчо он гостил постоянно. Школьником проводил здесь все летние каникулы. Маунт-Мун — это его родной дом! — прочувствованно восклицала миссис Рубрик. — Бедный мальчик! Его отца убили на фронте еще в ту войну, в 1918 году, а мать умерла несколько лет тому назад, когда Дуглас стажировался в качестве магистранта в Гейдельбергском университете. Вот и получается, что, кроме старой тетушки Флосси, у мальчика нет ни одной родной души на всем белом свете! Твой дядя Артур сказал, что мы в два счета подыщем Дугласу хорошую работу у нас на ранчо, если его окончательно демобилизовали из армии. Правда, надо дождаться его приезда: мы ведь ничего не знаем о его ранении и о том, в каком состоянии он сейчас.

— А куда его ранило? — поинтересовался Фабиан, скорее из праздного любопытства.

— Задеты какие-то мягкие ткани, — уклончиво ответила Флоренс. — По-моему, в области ягодичной седалищной мышцы, — добавила она тоном профессионала, не понаслышке знакомого с человеческой анатомией.

Фабиан невольно рассмеялся, услышав столь четкий ответ, и кажется, его реакция сильно задела Флоренс. Но поскольку она горела желанием поделиться хоть с кем-то своими сокровенными планами, то не стала дуться и перешла непосредственно к изложению своих прожектов.

— Как замечательно, — начала она мечтательно, слегка оттопырив верхнюю губку, отчего зубы немедленно выступили вперед, — как замечательно, что Урсула и Дуглас наконец-то встретятся в моем доме! Моя маленькая помощница и мой любимый племянник! Я думаю, тебе тоже, Фабиан, будет приятно познакомиться с ним. Я столько рассказывала Урсуле о Дугласе, что она однажды сказала мне, что у нее такое чувство, будто они уже знакомы лично!

В этом месте Флосси бросила на Фабиана острый буравящий взгляд, но тот никак не отреагировал на ее последнюю реплику, лишь почувствовал какую-то странную пустоту в желудке. Они вышли в коридор, он запер мастерскую, Флосси взяла его под руку, и они вместе пошли вниз.

— Возможно, ты решишь, что перед тобой старая романтичная дурочка, — проговорила она прежним доверительным тоном. Несмотря на свое угнетенное состояние, Фабиан невольно восхитился тем, как изощренно и ловко плетет «старая романтичная дурочка» свои сети. И все для того, чтобы ловко закинуть их в нужный момент и в нужном месте. — Но у меня это самая настоящая идея фикс! Я буду самой счастливой на свете, зная о том, что эти двое наконец будут вместе! Я давно об этом мечтала! А сейчас! — Она бросила еще один выразительный взгляд на Фабиана и

слегка сжала его локоть. — Все так удачно складывается! С одной стороны, я выступаю в качестве опекунши, с другой — в качестве родной тетки. Но посмотрим, как все это будет на самом деле! — Еще один буравящий взгляд и самая последняя реплика: — Уверена, он тебе понравится. Он такой жизнерадостный мальчик, и очень разумный! В нем столько энергии. Именно то, что тебе надо! Дуглас быстро вернет тебя к жизни! Ха-ха-ха!

Вскоре капитан Грейс появился в имении, а спустя еще какое-то время молодые люди стали колдовать над изобретением уже совместными усилиями. Само собой, Фабиан страдал, видя, как день ото дня крепнут приязненные отношения между Урсулой и Дугласом.

— А Флосси, со своей стороны, — продолжил он рассказ напряженным голосом, — делала все возможное, чтобы эти отношения как можно скорее перешли в новую, более захватывающую стадию. Надо отдать ей должное, она была поистине неистощима на выдумку. Бесконечная череда вечеринок и журфиксов в Маунт-Мун, прогулки и поездки по окрестностям, всевозможные спортивные развлечения и состязания. Вот, в присутствии зрителей, Урсула и Дуглас — по правую руку от нее, все остальные — слева, Томми Джонс демонстрирует свое искусство быстрого, практически мгновенного клеймения овец. А вот уже соревнования по стрижке овец, и так далее, и тому подобное. Что ни день она придумывала все новые предлоги для того, чтобы отправить воспитанницу в сопровождении любимого племянника на перевал с каким-либо пустячным поручением. Любой их совместный шаг осуществлялся под ее неусыпным контролем, все тщательно планировалось и осуществлялось с откровенным бесстыдством. Однажды вечером, накануне очередной поездки Флоренс в Веллингтон, ее манипуляции с молодыми людьми приобрели настолько вопиющий характер, что даже дядя Артур не удержался и обозвал ее настоящей Пандорой. Кажется, смысл шутки не вполне дошел до его жены: она рассмеялась, отнеся шутку мужа насчет своего огромного чемодана, с которым она обычно выбиралась в столицу. Видно, решила, что он сравнил его с пресловутым ящиком Пандоры.

У Фабиана уже не оставалось ни малейшего сомнения в том, что у тети Флосси все получится как надо и она доведет задуманное до успешного завершения. Он ревниво следил за тем, как весело смеются Урсула и Дуглас над какой-нибудь шуткой, как постоянно обмениваются понимающими взглядами во время разговора, как радостно улыбаются друг другу. Невинные шалости и обычное девичье кокетство, на которое была так падка Урсула, казались ему проявлением самых настоящих, глубоких чувств. Короче говоря, Фабиан окончательно уверовал в то, чего в реальности не существовало.

— Я был даже рад, что Дуглас целыми днями пропадает у меня в мастерской. Ведь таким образом я мог хотя бы на какое-то время изолировать Урсулу от его общества. Да, это было некрасиво и недостойно, но мне казалось, что я действую очень осмотрительно и никто ничего не замечает.

— А я все видела и только недоумевала! Решила, что он просто устал от моей постоянной опеки! — пожаловалась Урсула Аллену. — Он обращался со мной подчеркнуто любезно, но при этом был холоден, как истукан.

Но вот однажды, когда у Фабиана случился очередной приступ сильнейшей головной боли, что в последние месяцы наблюдалось довольно редко, они с Урсулой вначале немного повздорили, а потом у них произошло решающее объяснение.

— Глупейшая сцена! — улыбнулся Фабиан и нежно взглянул на Урсулу. — Типично в духе классических романов Викторианской эпохи. А ведь

цели-то у каждого из нас были прямо противоположными. Словом, не объяснение, а сплошное недоразумение!

— Да! Я действительно вначале вспылила, а потом расплакалась и сказала, что если я по каким-то причинам раздражаю его, то это еще не повод разговаривать со мной в подобном тоне. А потом… потом все стало на свои места и было божественно прекрасно! Мне даже показалось, что я попала в рай.

— Зато я очень быстро спустился с небес на землю, — перебил девушку Фабиан, — и вспомнил (к сожалению, слишком поздно!), что я — совсем непоходящая кандидатура для Урсулы, да и вообще для кого бы то ни было. Словом, я вернулся в реальность и сказал Урсуле, что самое лучше для нас обоих — это если она постарается забыть меня. Урсула ответила категорическим «нет». Мы еще немного поспорили, и в конце концов, я сдался. Впрочем, я никогда не отличался особым стоицизмом, особенно в том, что касается моих чувств к Урсуле. Итак, мы решили следующее: в ближайшее время мне надо еще раз показаться врачу, и уже исходя из того, что он скажет, мы будем думать, что делать дальше. Увы-увы! На тот момент мы совсем забыли о существовании нашей дорогой тетушки Флосс!

Фабиан повернулся к камину и, сунув руки в карманы, молча уставился на портрет миссис Рубрик.

— Я уже говорил, что Флосси была умна, как сто обезьян, вместе взятых. Да что там сто! Как сто тысяч обезьян! А уж ее проницательность и вообще не имела себе равных. Но она никогда не прибегала к прямому воздействию на человека, не опускалась до банальных выяснений отношений и все такое. Вот и в нашем случае Флосс не стала давить на меня или переубеждать Урсулу. Нет! Просто участились ее задушевные разговоры с Урсулой. И уж наверняка всякий раз в них фигурировало имя Дугласа. Многочисленные дифирамбы в его адрес пелись как бы вскользь: так, случайно брошенная фраза, полунамек, не более того. И тут же разговор переключается на другое. В изощренном искусстве намеков и недомолвок Флосси тоже не имела равных. Ведь все так и было, правда, Урсула?

— Но она не говорила ничего необычного, Фаб, честное слово! — прошептала Урсула с самым несчастным видом. — Ты же сам знаешь, как она любила Дугласа. Всей душой!

— И всей душой не любила меня! Надеюсь, вы понимаете, мистер Аллен, что мои акции в глазах Флоренс Рубрик опустились практически до нуля. Я никогда не был в глазах тети Флосси достаточно послушным мальчиком с неизменным «да» на все ее бесчисленные прожекты и инициативы. К тому же, она не забыла, как я непозволительно дерзил ей, когда она взялась обихаживать меня во время морского путешествия. Да и мои дружеские отношения с дядей Артуром ее крайне нервировали.

— Ах, нет, дорогой! Ты глубоко заблуждаешься. Тетя Флоренс не раз повторяла в разговорах со мной, что она так рада, что у дяди Артура наконец-то появился такой умный, достойный его собеседник, как ты.

— Глупышка! Конечно же, она пела тебе именно это! А на самом деле ей страшно не нравились наши беседы и продолжительные разговоры наедине. Наша Флосс терпеть не могла, когда какой-то винтик вдруг выпадает из ее системы всеобщего контроля и перестает быть управляемым. Подобное своеволие, да еще у себя в доме, она не смогла бы терпеть долго. А я ведь действительно очень любил дядю Артура — задумчиво обронил Фабиан, — очень! Он словно хорошо выдержанное вино, мой покойный дядя. Такой изысканный букет и такое восхитительное послевкусие! Правда, Терри?

— Не отвлекайся от темы! — отчеканила в ответ Теренс Лин.

— Хорошо! Не буду! После объяснения с Урсулой я решил вести себя, будто ничего не случилось. Но, наверное, я был никудышным актером, и меня мгновенно вычислили. Прочитали, словно раскрытую книгу. Как всякий самовлюбленный идиот, я явно переоценил свои силы. Тем более, в открытой схватке с Флосси. Словом, она заподозрила неладное и быстро взяла след. Ну, от таких проницательных глаз никуда ведь не скроешься. Вы только взгляните на нее! Хотя, что там портрет! Он не передает и сотой доли того, какими были ее глаза на самом деле. Она смотрела на тебя прозрачным, ничего не выражающим взглядом, а в это время зрачки буравили тебя, как два сверла! Урсуле какое-то время маскировка удавалась лучше. Во всяком случае, когда она кокетничала с тобой напропалую за ленчем, ей ведь удалось убедить всех, что она от тебя без ума, Дуглас.

Огонь в камине уже почти догорел, в комнате царил полумрак, и только свет керосиновой лампы выхватывал из темноты небольшое пятно пространства возле камина. Лампа стояла как раз за спиной Дугласа, и Аллен заметил, как тот покраснел. Чтобы скрыть смущение, он стал немного нервно поглаживать свои усы, а потом сказал как можно более беззаботным тоном:

— Ну, мы с Урсулой всегда отлично ладили и хорошо понимали друг друга. Не правда ли, Урсула? И насчет тети Флосси никто из нас не строил особых иллюзий.

Урсула сделала непонятный жест.

— Нет, Дуглас, это не совсем так! То есть, я хочу сказать… впрочем, это совсем не важно!

— Вперед, Дуглас! Будь же тем, кто ты есть: рыцарем без страха и упрека! — немного ерничая, напутствовал его Фабиан. — Расскажи нам, как все было на самом деле!

— Не понимаю, какой смысл лично мне изливать душу перед мистером Аленом? К чему все эти пошлые откровенности? Я никогда не приветствовал тех, кто обожает стирать свое грязное белье на публике.

— А по мне так лучше перестирать его на людях, чем запихивать грязным в дальний ящик комода! — отрезал Фабиан. — И потом, не забывай! Мы докопаемся до истины только тогда, когда сумеем составить всю картину трагедии, во всех ее подробностях и микроскопических деталях, во всем хитросплетении чувств и обстоятельств, во всем многообразии оттенков и красок, словом, когда будем знать все и обо всех. Да и белье наше совсем не грязное. Скорее даже наоборот. Несколько комичная ситуация, очень похожая на знаменитый эпизод с белоснежными панталонами Мартовского Зайца из «Алисы». Помнишь?

— Очень похоже! — весело хихикнула Урсула.

— Итак, Дуглас! Воодушевляемый тетей Флосси, ты бросился в бой с открытым забралом. Иными словами, уже вечером того же дня наш кавалер перешел к решительным действиям и сделал Урсуле официальное предложение. Так было дело?

— Да. То есть, нет! Я просто хотел… Мне стало жаль Урсулу, и я подумал, что…

— Не выдумывай, дружище! Никого тебе не было жаль! Тетя Флосси провела мощную обработку своего дражайшего племянничка, потому что поняла, что почва уходит у нее из-под ног и я могу перехватить в этом деле инициативу. Вот она и сказала тебе, вернее, приказала, не тянуть с предложением руки и сердца ее любимой воспитаннице. Ты же, со своей стороны, посчитал невинное кокетство Урсулы за ленчем сигналом того, что зеленый свет дан. Кстати, ты, дорогая, тогда явно перестаралась по части заигрываний с соседом по столу. Словом, напутствуемый тетей Флосси

и разогретый Урсулой до нужного градуса, ты стремглав побежал делать предложение и был отвергнут. Правильно я говорю?

— Но ты же не обиделся на меня тогда, Дуглас? Я ведь все постаралась объяснить тебе! — в голосе Урсулы зазвучали просительные нотки. — Твое объяснение, оно ведь стало следствием сиюминутного порыва, не так ли?

— Да, наверное. Ты права. Но это вовсе не значит…

— Перестань оправдываться, Дуглас! — дружески порекомендовал ему Фабиан. — Может, станешь еще уверять нас, что был влюблен в Урсулу по уши?

— Неужели ты думаешь, что я стал бы просить девушку стать моей женой, не имей к ней… — начал Дуглас и тут же оборвал себя на полуслове, негромко чертыхнувшись в усы.

— В самом деле! Не имей благословления богатой тетушки, разве решился бы славный юноша, любимый племянник и наследник повести себя как настоящий мужчина? Все, проехали! Позвольте мне подытожить вышесказанное, мистер Аллен, и продолжить свой рассказ. Итак, Урсула сказала «нет», и Дуглас встретил отказ по-геройски. А вскоре меня пригласили на ковер, в кабинет Флосси.

Вся сцена, по словам Фабиана, была выдержана исключительно в официальном ключе. С самого начала Флосси постаралась придать случившемуся некий оттенок фатального заблуждения. Дескать, произошло величайшее недоразумение, его надо исправить, и как можно скорее.

— Фабиан! — холодно начала она слегка охрипшим от возбуждения голосом. — То, что я собираюсь сейчас сказать тебе, очень серьезно и не вполне приятно. Я ужасно разочарована, я расстроена, более того, я опечалена! Надеюсь, мне нет нужды озвучивать причины.

— Не понимаю, о чем вы, тетя Флосси! — с самым невинным видом ответил ей Фабиан, испытывая в глубине души откровенное злорадство.

— А ты подумай хорошенько! И твоя совесть обязательно подскажет тебе, что и как!

Но Фабиан решительно отказался начать переговоры с собственной совестью и вообще медитировать на тему плохого настроения своей ближайшей родственницы. Тогда Флосси угрожающе оттопырила верхнюю губку, все еще пытаясь разыгрывать перед ним роль матроны, оскорбленной в своих лучших чувствах.

— Ах, Фабиан, Фабиан! — проникновенно сказала она и замолчала, держа паузу, как истинно великая актриса. Но и эта уловка оказалась бесполезной. Пришлось вести разговор начистоту. — Я так тебе доверяла! Так доверяла! И что получила взамен? — она устало закрыла глаза и нервно прикусила губу. — Ты не пошел мне навстречу и отказался помочь. А я-то, дурочка, рассчитывала, что все будет гораздо проще! Что ты наплел Урсуле, Фабиан? Что ты наделал, Фабиан?

Ритмичное, как удары колокола, повторение собственного имени стало действовать Фабиану на нервы, но он старался держать себя в руках.

— Я сказал Урсуле, что люблю ее, только и всего.

— Неужели до тебя не доходит, что ты повел себя совершенно неподобающим образом?

— Нет! — честно признался Фабиан.

— Нет? — воскликнула ошеломленная Флосси и еще раз повторила: — Нет?! Ах, Фабиан, Фабиан!

— И Урсула ответила мне взаимностью! — продолжил он терзать безутешную тетю, испытывая некое сладострастное удовольствие даже в самом произнесении ныне совершенно выпавшей из обращения фразы.

Два пунцовых пятна вспыхнули на щеках Флоренс Рубрик, и она тут же отринула от себя роль невинно страдающей мученицы.

— Глупости! Самая настоящая ерунда! Чушь!

— Может, и так. Но она сама сказала мне, что любит меня.

— Она еще дитя! Сущий ребенок! Вот ты и воспользовался ее неопытностью.

— Странные вещи вы говорите, тетя Флосси!

— Да она же просто жалеет тебя, дурачка! — безжалостно продолжила развивать свою тему миссис Рубрик. — Ничего, кроме жалости, она к тебе не испытывает. А ты умело сыграл на ее сострадании. Воспользовался тем, что она постоянно крутится вокруг тебя, как того требует уход за тяжелобольным человеком. Жалость — вот что ею движет! Жалость, и только! Между прочим, — добавила она философским тоном, — жалость очень часто путают с любовью. Но на самом деле это не любовь. И напрасно ты купился на эту приманку и сделал ей предложение.

— Никаких предложений я не делал! — возмутился Фабиан. — Я не хуже вас понимаю, что не имею никакого морального права просить руки и сердца у Урсулы, и прямо сказал ей об этом.

— Вот это очень разумный шаг с твоей стороны! — одобрила последние слова Флосси.

— Я сказал, что ни о какой помолвке не может быть и речи, пока я не получу на руки заключение от докторов, что абсолютно здоров. Заверяю вас, тетя Флоренс, я никогда не опущусь до того, чтобы просить молоденькую девушку выйти замуж за инвалида.

— Да при чем здесь это? — вспыхнула Флосси. — Разве речь только о твоем здоровье? Как ты не понимаешь, что вы с ней не пара?

После чего тетя обстоятельно изложила Фабиану свою точку зрения на возможный мезальянс. Она сказала, что он — злой, самодовольный, циничный и весьма самонадеянный молодой человек. Что у него вообще отсутствуют какие бы то ни было идеалы и принципы. Да и материальное положение у них с Урсулой разное. Девушка располагает значительным состоянием, а после смерти дяди и вовсе станет очень богатой наследницей. А он на сегодняшний день гол как сокол. Фабиан сказал, что он полностью согласен со всем, что сказала тетя, но решать не ему, а Урсуле. Что же до денег, то он не сомневается, что успешное внедрение в производство его изобретения существенно повысит его материальные возможности. К тому же, он надеется получить постоянную работу в каком-нибудь научно-исследовательском институте, а это тоже гарантирует ему стабильный заработок. Флосси уставилась на него в немом изумлении, явно не зная, как ей реагировать на подобные заявления.

— Хорошо! — проговорила она после некоторой паузы. — Я сама поговорю с Урсулой!

Ее намерение напугало Фабиана, и он сорвался. Стал умолять Флосси повременить с разговором до того момента, пока он не проконсультируется у врачей.

— Я уже ни минуты не сомневался в том, что будет дальше! — Фабиан бросил выразительный взгляд в сторону Аллена. — Конечно, Урсула будет возражать, но правда жизни такова, что для нее тетя Флосси превратилась в некое подобие мистического символа. Она рассказала вам, сколь много сделала для нее Флоренс Рубрик. Одинокая тринадцатилетняя девочка, сирота, никому не нужная и всеми забытая. И тут появляется Флосси в образе пусть и не прекрасной, но доброй феи, и окружающий мир сразу же преображается, окрашиваясь исключительно в розовые тона. Для Урсулы Флосси даже больше, чем мать, она — ее божество, ее идол, которому

она готова поклоняться всю жизнь. С девочкой у Флосси получилось все отлично: она попала в ее руки еще ребенком, и тетя слепила из нее то, что хотела. Внушила ей безмерное чувство благодарности к собственной персоне, постаралась сделать из себя в ее глазах героиню, достойную обожания. Короче говоря, она стала для Урсулы всем и вся. Обожаемой школьной наставницей, королевой-матерью, объектом любви и восхищения.

— Вздор! — возмутилась Урсула. — Что за ерунду ты несешь, Фабиан? И при чем здесь королева-мать?

— При том! — вспылил в ответ Фабиан. — И никакой это не вздор! Она забила тебе мозги всякой чепухой и всецело подчинила своей воле! Вместо того чтобы секретничать с подружками о каком-нибудь юном кавалере, вместо того чтобы шляться с ним под луной, целоваться и вести всякие глупейшие разговоры, свойственные молоденьким девушкам, вместо всех этих естественных проявлений первых девичьих чувств ты все свои эмоции направила на слепое обожание Флосси!

— Замолчи, пожалуйста! Мы уже сто раз обсуждали с тобой эту тему!

— А это будет сто первый раз! Тем более, что я пока не вижу никаких признаков выздоровления. Напротив! Твоя страсть к тете Флоренс превратилась уже в манию.

— Какую манию? Тетя была чудесным, замечательным человеком! Я видела от нее одно только добро! Как я могу забыть, сколько она сделала для меня! Да! Я любила ее. Надо быть чудовищем, чтобы не любить такую бескорыстную и благородную женщину! А ты! Ты надоел мне со своими вечными разговорами о маниях и навязчивых идеях!

— Вы не поверите мне, мистер Аллен! — обратился Фабиан к старшему инспектору. — Но эта глупая девчонка, уверяющая меня в том, что она меня любит, отказывается выйти за меня замуж не по причине моей инвалидности или плохого здоровья, а исключительно из-за тети Флоренс, которая вот уже как год с лишним как мертва. Та успела-таки перед своей смертью выцарапать из Урсулы какое-то обещание, которое она сейчас отказывается нарушить.

— Да, я обещала тете повременить два года с нашей свадьбой и сдержу данное ей слово.

— Слышали? — Фабиан обвел присутствующих торжествующим взглядом. — Ну, что я вам говорил? Клятва, данная по принуждению! Да и была ли то клятва? Скорее всего, обычные хиханьки да хаханьки, утимути-пути! Все эти штучки, которые Флосси безуспешно пыталась опробовать и на мне. «Мое дорогое дитя! Я люблю тебя, как родную дочь, ты же прекрасно знаешь это! Послушай меня, дорогая! Старая тетя Флосси знает, что говорит. Твой поступок так больно ранит мое сердце». Тьфу! Слушать тошно!

— Никогда не думала, что воспитанный человек позволит себе подобные выражения? Что это за «тьфу», Фабиан? Так только Гамлет изъяснялся на сцене! *«Тьфу! Как тут дурно пахнет».*

— По-моему, тот говорил просто «Фу!», — примирительным тоном уточнил Аллен.

— Я продолжаю! — оповестил всех Фабиан после некоторого, довольно неловкого молчания. — На следующий день после нашей ссоры с Флосси Урсула уехала в город. Позвонили из Красного Креста и попросили, чтобы она неделю подежурила в госпитале. Ни минуты не сомневаюсь в том, что внеочередное дежурство для своей воспитанницы организовала Флосси. Урсула написала мне из города. И таким образом, впервые о дурацком обещании, которое она дала Флосси, я узнал из письма. Кстати, речь поначалу

вообще шла о полном разрыве со мной. Думаю, на столь мягкий приговор, как «отсрочка на два года», Флоренс Рубрик подвиг дядя Артур.

— Вы ему все рассказали? — спросил Аллен.

— Да он и сам обо всем догадался! Он ведь тоже был необыкновенно проницательным человеком. И вообще, он был необыкновенным. Иногда дядя Артур напоминал мне дорогой инструмент, например, рояль, который отзывается на любой звук и чуть слышным эхом повторяет все, что делается вокруг него. Думаю, его слабое здоровье способствовало неустанным умственным занятиям, что, в свою очередь, необыкновенно развило его интеллект. Он всегда старался держаться в тени. Часто мы даже забывали о его присутствии, а потом случайно встречаешься с ним взглядом и понимаешь, что у дяди уже сложилось мнение о том, что он только что слышал или видел. Иногда его оценки были критичными, иногда он сочувствовал тебе, не это главное. Главное — он был хорошим товарищем и надежным другом. Вот и мой роман с Урсулой. Думаю, он догадался обо всем с самого начала. Однажды он попросил меня зайти к нему во время послеобеденного отдыха. Кажется, именно тогда он впервые и напрямик поинтересовался о моих чувствах к Урсуле. Вопрос прозвучал так: «Так ты все же договорился, наконец, обо всем с этой девчушкой?» Кстати, он тебя очень любил, Урсула! И все понимал правильно. Однажды он даже невесело пошутил. Сказал, что если бы его жена не была такой прозрачной, то вряд ли бы ее воспитанница вообще заметила его присутствие.

— Неправда! — обиделась Урсула. — Я тоже очень любила дядю Артура. Но просто он всегда был таким тихим и незаметным, что действительно его не было видно.

— Зато ему было видно все. Словом, я рассказал дяде все как есть. Ему в тот день нездоровилось, и слушая его тяжелое прерывистое дыхание, я переживал, что излишне утомляю его своими пустыми разговорами. Но он попросил меня об этом сам. Когда я, наконец, закончил, он поинтересовался, что я стану делать в том случае, если заключение врачей будет неутешительным. Я сказал, что не знаю, но в любом случае, это уже не столь и важно. Ибо в дело вмешалась Флосси, а она со своей железной хваткой и своим влиянием на Урсулу может переиначить все на свете. Он слабо улыбнулся и сказал, что это препятствие из числа преодолимых. Я понял слова дяди Артура в том смысле, что у него есть свои рычаги влияния на Флосси. Думаю, он и переубедил ее в конце концов. Заставил заменить пожизненный приговор всего лишь двухлетней отсрочкой. Вполне возможно, на ее окончательное решение повлияли и ссоры с Дугласом, а потом и с Маркинсом. Ведь согласись, Дуглас, после той ссоры с тетей ты уже больше не ходил в ее любимчиках?

— Это правда! — с грустью констатировал Дуглас.

— Впрочем, на ее окончательное решение могло повлиять что угодно. И все же дядя Артур был главной движущей пружиной всего предприятия. Помню, когда я уже собрался уходить от него, он вдруг издал короткий смешок и саркастически заметил: «Знаешь, дружище, нужно быть очень сильным человеком, чтобы всю жизнь изображать из себя слабого мужа! В браке ведь очень трудно постоянно оставаться в положении извиняющейся стороны. Боюсь, я уже перестал справляться с этой ролью. Можно даже сказать, потерпел сокрушительный провал». Ты ведь понимаешь, о чем я, Терри?

— А при чем здесь я?

— Потому что, в отличие от Урсулы, ты не была слепой в отношении Флосси. Тебя ее многочисленные достоинства не приводили в заблуждение. Ты могла смотреть на нее и оценивать ее характер объективно. Разве этого мало?

— Да, это верно! — тихо обронила Теренс Лин, так тихо, что, пожалуй, только Аллен и расслышал ее коротенькую реплику.

— Ты ведь знаешь, Теренс, как сильно дядя Артур был к тебе привязан. Недаром в последние дни своей жизни он хотел видеть рядом с собой только тебя и никого больше.

Словно почувствовав некий скрытый вызов в словах Фабиана, Дуглас бросился на помощь.

— Да, Терри для всех нас была бесценной находкой в то тяжелое время. Не знаю, что бы мы делали без нее!

— Это правда! — подтвердил Фабиан, все еще не отводя своего пристального взгляда от девушки. — Знаешь, Теренс, оглядываясь в прошлое, я нахожу, что никто, кроме тебя, не сумеет лучше оценить и понять недавнее прошлое. У тебя есть незаменимое качество: ты умеешь видеть вещи в перспективе. Или я не прав?

— Просто мне проще давать оценки всему тому, что случилось в Маунт-Мун. Я ведь не член вашей семьи, а это во многом упрощает задачу, если ты это имел в виду.

— Ну, если дело только в этом, то пусть будет по-твоему. Я же имел в виду несколько другое. В отличие от всех нас, ты не отягощена грузом эмоциональных переживаний, — Фабиан немного помолчал. А потом бросил испытующий взгляд на Теренс Лин, словно желая удостовериться, что это именно так. — Или все же отягощена, а?

— Ах, господи! О каких эмоциональных переживаниях ты толкуешь? Право же, я отказываюсь понимать тебя, когда ты начинаешь говорить в подобном тоне. Тебе ведь известно, я вообще не большая любительница рассуждать о чужих чувствах.

— Как и я, Терри! — подал голос Дуглас, явно намереваясь слепить коалицию из них двоих. — Зато все эти страшные месяцы после убийства тети, похороны, бесконечно тянущееся следствие, когда все в этом доме были (и есть) озабочены только одним: узнать, что про них думают остальные члены семьи, мы с тобой — единственные сохранили холодную голову и умение трезво мыслить. Короче говоря, мы с тобой выпали из общего семейного портрета, разве не так?

— Ну, это решать не вам! — заметил Фабиан. — Власти без нас разберутся, кого оставить на групповом снимке, а кого — заретушировать. Что скажете, мистер Аллен? Вам еще не надоели наши медитации? Они помогли вам хоть чуть-чуть приблизиться к разгадке тайны убийства? Или все это — пустая трата времени?

— О, нет! То, о чем вы говорите, весьма интересно. К тому же, это позволяет мне по-новому взглянуть на сухие протокольные отчеты, хранящиеся в материалах следствия.

— А как насчет разгадки?

— Пока затрудняюсь с ответом, — Аллен моментально напустил на себя строго официальный вид. — Но надеюсь, что и это возможно. Тем более что мы еще не закончили с обсуждением.

— Вы правы! Терри, а ведь теперь твоя очередь! Сделай свой вклад в общее дело!

— Какое общее дело?

— В общее дело разгадки тайны. Изложи нам свою версию, а заодно и расставь акценты уже в наших рассказах. Где мы ошибались, в чем были неправы и почему. Дай же нам, наконец, истинный портрет Флоренс Рубрик. Нарисуй ее без прикрас, без попыток очернить или умалить… такой, какой она была на самом деле, — Фабиан снова посмотрел на портрет, висящий

над камином. — Ты как-то раз промолвила, что вся эта нелепая трагедия, произошедшая с тетей Флосси, очень в ее духе. Почему ты так думаешь?

— Какое у нее глупое лицо на этом полотне! — Теренс Лин повернулась к портрету спиной. — Но я думаю, что такой она была и в реальной жизни. Всего лишь глупой и пустой женщиной, и ничего более.

Глава V

Версия Теренс Лин

Аллена больше всего поразили самообладание Теренс Лин и ее почти мужское хладнокровие. Он не сомневался ни минуты, что секретарше покойной изначально пришлась не по вкусу миссис Рубрик, и, быть может, даже более, чем остальным, и сама идея доверительных бесед с представителем власти, коим он являлся, и та форма, которую незаметно для всех приняли их посиделки. Град неудобных вопросов, сыплющихся со всех сторон, и необходимость откровенных ответов на них. И тем не менее, на все его вопросы девушка отвечала с завидным спокойствием. В отличие от остальных обитателей дома, она не стала погружаться в пространные воспоминания о былом. Для Урсулы, Фабиана, Дугласа то была долгожданная возможность излить душу, а ей, судя по всему, это было совсем ни к чему. В разговоре с ней Аллен все время боялся скатиться до уровня банального допроса, чего никак нельзя было допустить. Ибо ему, при всех околичностях этого странного и запутанного дела, хотелось сохранить позицию стороннего наблюдателя, то есть человека, случайно оказавшегося в том месте, где посторонние люди с воодушевлением выбрасывают вон всякое старье, с легким сердцем избавляясь от хлама, загромождавшего их жизнь. Зато потом у него будет полная свобода действий и он сам рассортирует этот выброшенный хлам: что-то отложит в сторону, а что-то пустит в дело. Да, Теренс никак не годилась на роль рассказчика: ее все время надо было подбадривать, подталкивать, задавать наводящие вопросы, но зато ее ответы поражали объемом полезной информации, которая содержалась в них.

— Ну вот! У нас налицо две прямо противоположные точки зрения! — улыбнулся Родерик Аллен, обводя взглядом четверку своих собеседников. — Мистер Лосси заявил, что покойная была умна как сто тысяч обезьян. Ну, а вы категорически не согласны с ним, не так ли, мисс Лин?

— Она очень ловко пользовалась несколькими приемами, чтобы произвести впечатление умного человека. Например, она умела поговорить с людьми.

— В смысле, она умела разговаривать со своими избирателями?

— И с ними тоже. Умела поболтать, одним словом. Ее речи всегда было лучше слушать, а читать их скучно и неинтересно.

— А я думал, это вы писали для миссис Рубрик тексты ее выступлений…

— О, если бы это было так, то ее речи можно было бы читать. Но тогда их стало бы скучно слушать. У меня же нет ни грана того остроумия и блеска, которые составляют основу ораторского искусства. А еще она могла виртуознейшим образом выхватить откуда-нибудь чужую мысль и тут же пустить ее в дело, но уже в своих целях. Слушает, к примеру, радио, что-то ей понравилось, она записывает понравившуюся ей фразу, слегка переделывает ее и немедля вставляет в текст своего выступления.

— О да! Тут она была большим мастером! — подхватил Фабиан. — Помнишь, Урсула, ее речь о реабилитации фронтовиков-инвалидов? Не

речь, а пламенный призыв, сигнал горна, призывающий всех к немедленному действию. *«Никто не будет обойден нашим вниманием. Никто не будет забыт. Наши поля, производственные цеха, горные пастбища ждут вас, друзья! Мы не оставим вас в беде, один на один с вашим горем! Мы будем рядом с вами всегда!»* Ей-богу, она была прирожденным оратором.

— Да, слова лились из нее вдохновенно, по какому-то божественному наитию, — согласилась с ним Урсула.

— Даже так? — язвительно усмехнулась Теренс.

— Ты несправедлива к ней, Терри!

— Ничуть! Миссис Рубрик обладала прекрасной памятью, особенно в том, что касалось идей, высказанных другими. Но вот по части анализа она была гораздо слабее, а в финансовых вопросах и вообще откровенно плавала. Рисуя благостные картины того, как она станет помогать инвалидам войны, она не имела ни малейшего представления о том, откуда возьмутся деньги на реализацию столь грандиозных планов.

— И вот тут ей на помощь всегда приходил дядя Артур, — сказал Фабиан.

— Конечно, он! Кто же еще?

— Мистер Рубрик принимал такое активное участие в общественной жизни своей жены? — удивился Аллен.

— Она его и убила, эта общественная жизнь! — отрезала Теренс. — Все в один голос твердили, что его потрясла смерть жены. Но я-то знаю, он был на грани жизни и смерти и тогда, когда миссис Рубрик еще была жива. Я изо всех сил пыталась отодвинуть эту страшную развязку, но бесполезно! Ночами напролет мы просиживали с ним в кабинете, шлифуя тексты ее будущих выступлений, которые она постоянно отдавала ему на доработку. И ни слова благодарности в ответ!

В безжизненном голосе мисс Лин послышалось откровенное негодование. Прорвало, наконец, подумал Аллен. Надо же, как ее понесло!

— Я уже не говорю о том, что его работа тоже оказалась похороненной вместе с ним! — запальчиво продолжала Теренс.

— Его работа? — искренне удивился Фабиан. — Какая работа?

— Мистер Рубрик работал над циклом эссе. Шесть эссе, посвященных пасторальным мотивам в творчестве поэтов Елизаветинской эпохи. Он и сам написал прекрасную поэму, воспевающую радости сельской жизни здесь, у нас на плато, в том же стилистическом ключе. Прекрасная поэма! Пожалуй, лучшее из того, что он написал! Такой прозрачный слог, такая изысканная стилизация.

— Твои откровения, Терри, меня просто поражают! — воскликнул Фабиан. — Ну да! Я знал, что дядя Артур много читает. Знал его вкусы и находил их весьма рафинированными. Но чтобы он сам начал писать литературные эссе! В разговорах со мной он ни разу не обмолвился о своем творчестве.

— Мистер Рубрик всегда был очень требовательным к себе человеком. Он не стал бы говорить о своей работе, пока не удостоверился в том, что довел все до совершенства. Его статьи и в самом деле очень хороши!

— Как жаль, что я не знал об этой грани его жизни раньше! — тихо промолвил Фабиан. — И как жаль, что дядя не счел нужным побеседовать со мной о собственных увлечениях.

— А я всегда подозревал, что у дяди Артура есть какое-то хобби, — заметил Дуглас с хитроватым выражением лица. — Ну, раз он не любил всякие настольные игры, значит, оставалось сочинительство. Так что ничего удивительного в увлечении дяди Артура нет!

— Вы пишите, вам зачтется! — неразборчиво пробормотал себе под нос Аллен.

Фабиан и Теренс одновременно глянули в его сторону, а Фабиан понимающе ухмыльнулся.

— Мистер Рубрик так и не завершил свой цикл. Я пыталась помочь ему. Предлагала записывать за ним под диктовку, а потом перепечатывать на машинке, но ему всегда было недосуг, всегда находились другие дела. А когда, наконец, высвобождалась свободная минутка, то к тому времени он уже так уставал, что ни о какой дополнительной работе не могло быть и речи.

— Терри! — неожиданно сказал Фабиан. — Прости меня за то, что я был несправедлив по отношению к тебе. Честное слово, я глубоко раскаиваюсь!

Аллен увидел, как девушка порозовела от смущения. А она похожа на изящную фарфоровую статуэтку пастушки, о которых писал в своих эссе мистер Рубрик, подумал он. Карие глаза, темные брови, алые, четко очерченные губки. Но что-то в этом овальном личике было загадочным, какой-то покров таинственности, словно не лицо, а маска, аккуратно упрятанная под густую копну блестящих черных волос.

— Я старалась изо всех сил не обращать внимания на твои придирки.

— Прости еще раз! — покаянным тоном воскликнул Фабиан.

Аллен увидел, как девушка слегка приподняла руку, а потом снова безвольно уронила ее.

— Это уже все в прошлом. И сегодня не имеет ни малейшего значения! К тому же, я ни в чем не преуспела.

— Какие же вы у нас сложные создания, милые девушки! — воскликнул Фабиан, взглянув на Урсулу. В его глазах читались и восхищение, и боль. — Да и сами вы постоянно все усложняете!

— Это мы с Теренс — сложные создания? — удивилась Урсула.

— Ну да! Вы обе!

— Не понимаю! Категорически отказываюсь тебя понимать, Фабиан! — почти сорвалась на крик Урсула.

— А это и не столь важно, дорогая! Ты же слышала, что сказала Теренс? «Это уже все в прошлом».

— Вот именно! Все в прошлом! — эхом повторила мисс Лин.

— Бедняжка Терри! — сочувственно воскликнул Фабиан.

Впрочем, мисс Лин не нуждалась в показном сочувствии. И уж тем более ее нельзя было купить на жалостливое слово. Она молча взяла свое вязание, и в комнате послышалось мерное позвякивание спиц.

— Бедняжка Терри! — несколько нараспев повторил Дуглас шутливым тоном и, усевшись рядом с девушкой, почти небрежно положил свою большую мускулистую руку на ее колено.

— Ну и где же эти эссе сейчас? — не отставал от нее Лосси.

— У меня.

— Я хотел бы прочитать их, Терри, если можно.

— Нет, Фабиан! — холодно отрезала она.

— Ты не находишь, что немного перегибаешь палку?

— Мне жаль, Фабиан, но еще раз повторяю: нет! Он отдал все свои рукописи мне.

— А я вот всегда был уверен, что моя тетя и дядя Артур, — начал Дуглас с самым невинным выражением лица, — составляли просто идеальную пару. И были без ума друг от друга. Он любил сравнивать тетю Флосси с ласковой, но норовистой кошечкой и не переставал повторять всем, что его жена — просто чудо! — Он легонько стукнул Теренс по коленке. — Я правду говорю?

— Да.

— Да! — эхом отозвалась Урсула. — Он и в самом деле всегда так говорил. Дядя Артур безмерно восхищался тетей Флоренс. Ты не станешь этого отрицать, Фабиан!

— Конечно, не стану! Ибо это — невероятно, но факт. Дядя Артур был очень высокого мнения о своей жене.

— Да, он ценил в ней то, чего недоставало ему самому, — спокойно возразила им Теренс. — Жизненную энергию, инициативность, умение завоевывать расположение людей, особый, только ей присущий драйв, обеспечивший ей широкую популярность в обществе. И разумеется, хладнокровие и выдержку.

— Ты предвзято относишься к тете Флоренс, Терри! Так нельзя! — с обидой в голосе проговорила Урсула. — Вы оба, ты и Фабиан, несправедливы к ней. Она всегда была так добра, так великодушна, так сердечна. Она никогда не была мелочной, злобной, завистливой. И как вы можете так ее ненавидеть! Вы оба, кто обязан ей столь многим!

— Лично я ничем не обязана миссис Рубрик. Я хорошо делала свою работу. Ей просто повезло найти такого исполнительного и умелого секретаря, как я. Да, порой она была со мной любезна, как это бывает у тщеславных людей, которые хотят продемонстрировать окружающим, какие они хорошие. Но сама миссис Рубрик прекрасно знала цену своей показной доброте.

— Тетя Флоренс была в высшей степени благородной и великодушной женщиной.

— Тебе виднее, — уклончиво ответила Урсуле мисс Лин.

— Она никогда не давала повода подозревать ее в чем-то неблаговидном.

— Пожалуй! — после некоторой паузы согласилась с ней Теренс.

— Ну вот! — воскликнула Урсула торжествующе. — Сейчас ты нарисовала нам вполне законченный портрет покойной миссис Флоренс Рубрик, разве не так?

— Нет, это ты нарисовала ее портрет! — с вызовом ответила Теренс, и впервые за весь вечер в ее голосе прозвучали нотки нескрываемого раздражения. — Тот портрет, который рисую я, не имеет ничего общего с твоим лубком. Эта женщина была самой настоящей дурочкой, она не понимала… не видела, как же ей повезло в жизни! В сущности, она могла быть самой счастливой женщиной на свете. А ей на все это было… Она вела себя, как самая заурядная помещица, которая всю жизнь проболталась вдали от своего имения.

— Неужели она не просила тебя присмотреть за имением?

— О чем они спорят? — поинтересовался у всех Дуглас непонимающим тоном. — И что пытаются доказать друг другу?

— Ничего! — ответил ему Фабиан. — Да это и не спор, а так, обычная женская перепалка. Поехали дальше, Теренс!

— Это ты во всем виноват! — набросилась на него Урсула. — Ты сам устроил для нас маленький стриптиз, а теперь заставляешь уже нас проделывать то же самое с собой. С какой стати Терри должна обнажать перед тобой свою душу?

Урсула бросила короткий взгляд на секретаршу и слегка нахмурилась. А девчонка ведь хороша, подумал Аллен, чудо как хороша! Крупные кольца кудрей ниспадали на хрупкую шейку, отливая медью. Большие выразительные глаза, чувственный рот. Таких красавиц обычно изображали на акварелях во времена королевы Виктории. Быть может, подобные ассоциации возникали при взгляде на нежную, почти прозрачную кожу лица, на весь грациозный облик девушки, ее тонкий стан, красивые руки, невинное

кокетство, сквозившее в каждом движении. А еще покоряло то, как она держалась и говорила: пленительная, детская непосредственность в сочетании с достоинством истинной леди. Впрочем, Урсула Харм, несомненно, привыкла всегда быть в центре внимания, решил старший инспектор после некоторых размышлений. Она даже заранее знала, что ей многое позволительно и многое прощается. Отсюда и ее упрямство, которое отнюдь не связано только с пылкой защитой любимой тети Флоренс. Разве лишь упрямством объясняется ее пылкая привязанность к миссис Рубрик? Вот вопрос, на который у инспектора пока не было ответа.

Девушка перехватила внимательный взгляд Аллена и, словно прочитав его мысли, одарила ответным взглядом, исполненным особой чистоты и прозрачности. А потом с удвоенной энергией набросилась на Теренс.

— Теренс, скажи им! Скажи, что говорю истинную правду! Неужели вы не понимаете, что я в этой комнате — единственный человек, готовый драться за тетю Флоренс до конца?

Не глядя на Фабиана, Урсула протянула руку в его сторону, и тот мгновенно встал рядом и взял протянутую руку.

— Вот и ты, Фабиан! Ты все время задираешь меня, дразнишь. А я говорю тебе, не смей разговаривать со мной свысока. Зачем ты постоянно демонстрируешь мне свое интеллектуальное превосходство? Я все равно не отступлюсь и буду стоять на своем. Да, я любила тетю Флоренс, она была моим другом, моей единственной советчицей. Как же я могу сегодня отрешиться от всего того, что нас связывало, и начать обсуждать достоинства и недостатки ее характера так, словно речь идет о каком-то постороннем человеке. А вы все расписываете ее в таких тонах, что во мне немедленно возникает протест, и я готова драться с вами не на жизнь, а на смерть.

— Понимаю! — ласково проговорил Фабиан, не выпуская руку девушки. — Я все понимаю! Не переживай, Урси!

— А вот с тобой, Терри, я драться не хочу! Слышишь меня? Я не хочу с тобой воевать из-за тети Флоренс! Прошу, не рассказывай нам ничего! Так будет лучше для всех, а мне будет проще сохранить к тебе дружеские чувства.

— Знаешь, Урсула! — перебил ее Дуглас. — Ты можешь подозревать что угодно, но я все равно не поверю, что Терри в чем-то виновата. И тебя, Фабиан, прошу! Оставь свои штучки для других! Перестань, наконец, манипулировать людьми, словно они тряпичные марионетки. И на Терри не дави! Что это за странные намеки, будто ей есть чего стыдиться и что…

— Замолчи! — крикнула Терри и вскочила со своего места. В ее голосе слышались боль, раздражение, злость. Было видно, что она взвинчена до крайности. — Что за выражения, Дуглас! Стыдиться — не стыдиться! Какое все это имеет отношение к теме нашего разговора? Да и лично ко мне тоже? Знаешь, Урсула, мне, по большому счету, наплевать, как ты ко мне относишься и что ты обо мне думаешь. Любишь ли ты меня, ненавидишь или презираешь… Нагородили бог знает что и меня втянули в свои дурацкие игры. А сейчас, видите ли, мне милостиво разрешено выйти из игры, затеянной другими. Огромное вам спасибо! Получается, что вы уже все про меня решили, не так ли? Вы ведь уверены, что я любила его? Прекрасно! Вот я и скажу вам как на духу. Да, я любила мистера Рубрика! И если мистеру Аллену доставляет удовольствие выслушивать наши исповеди касательно недавнего прошлого, то позвольте и мне предложить ему еще одну версию произошедших событий. Я постараюсь, чтобы она была достаточно простой и, простите за столь высокопарное слово, пристойной!

Фантастика, да и только, подумал Аллен. Самая сдержанная, самая неразговорчивая и даже немного замкнутая обитательница Маунт-Мун

вдруг совершенно неожиданно для всех заявляет о своей готовности исповедоваться и тут же с головой уходит в свои воспоминания.

Слушая излияния Теренс Лин, старший инспектор впервые за весь вечер искренне пожалел, что никогда не видел мистера Рубрика и сейчас не может представить себе его образ. Каким же на самом деле был этот Артур Рубрик? Как он выглядел? И как могло возникнуть столь необычное, на первый взгляд, физическое и духовное притяжение между ним и девушкой моложе его на двадцать с лишним лет? По всему получалось, что вопросов снова намного больше, чем ответов на них.

Теренс Лин приехала в Новую Зеландию пять лет тому назад. Вооруженная знаниями стенографии и машинописи, имея в кармане шесть рекомендательных писем, одно — за подписью верховного комиссара по делам колоний в Лондоне, адресованное лично Флосси Рубрик, она была уверена, что на другом конце света ее ждут самые радужные перспективы. Флосси немедленно пригласила ее к себе на работу, и так Теренс оказалась в Маунт-Мун. Началась типичная сельская жизнь, перемежающаяся довольно частыми поездками в столицу, где вовсю кипели парламентские дебаты, в которых активно участвовала и ее хозяйка. Наверное, секретарше миссис Рубрик приходилось несладко, сочувственно подумал Аллен, слушая Теренс. Одна, в чужой стране, за сотни тысяч миль от родного дома. Урсуле и Фабиану было гораздо легче акклиматизироваться в Новой Зеландии. Во-первых, Урсула бывала в имении и раньше, во-вторых, так удачно завязался их роман с Фабианом. А потому и в Маунт-Мун они старались держаться вместе, образовав своеобразную маленькую коалицию, в которой места для Теренс не нашлось. Дуглас в это время еще воевал где-то на Ближнем Востоке, а потому девушка оказалась в полной изоляции. Что же до своей работодательницы, то мисс Лин, судя по всему, не питала к ней особого почтения или симпатии. Хотя, как ни парадоксально, разорвать замкнутый круг одиночества помогла ей именно она. Флосси стала без конца гонять свою секретаршу с поручениями к мужу. «Вот эти цифры по переоценке основных фондов, мисс Лин. Не мешало бы украсить их парочкой цитат по теме. И еще нужны статистические данные для сопоставления. Вы бы не могли проконсультироваться с моим мужем? И, пожалуйста, попросите его, ничего заумного! Самые простые примеры, которые помогут слушателю наглядно представить себе то, о чем я собираюсь сказать».

И вот, раз за разом, Теренс Лин и Артур Рубрик уединялись в его кабинете и засиживались там допоздна в поисках нужных материалов. Девушка вносила свою посильную помощь в это довольно скучное и однообразное действо: подносила мистеру Рубрику стопки книг, записывала под его диктовку нужные примеры, рылась вместе с ним в справочниках.

Родерик Аллен воочию представил себе, как все происходило. Подтянутая, предельно собранная и аккуратная секретарша неслышно скользит по кабинету в поисках нужной книги или сидит за письменным столом и внимательно слушает то, что говорит ей немолодой человек в кресле. Слушает и тут же записывает его отточенные фразы, которыми чуть позже Флосси станет разить, словно пулями, своих политических оппонентов. По мере того как росло и крепло сотрудничество этих двоих, росла и квалификация самой секретарши. Теренс Лин было уже достаточно одной-двух подсказок со стороны мистера Рубрика, чтобы самостоятельно подготовить все статистические выкладки для своей хозяйки. К тому же, она обладала врожденным чувством стиля, у нее был слух на верно сказанное слово, то есть у нее было все то, что было присуще и самому Артуру Рубрику. Что еще более сблизило их. Они даже находили какое-то особое удовольствие в совместной работе для Флосси, придумывая порой для ее речей

целые пассажи, которые она, впрочем, никогда не цитировала. У нее был собственный стиль, и она не собиралась переделывать его в угоду чьим-то рафинированным вкусам. «Миссис Рубрик ведь никогда не говорила в привычном смысле этого слова, — рассказывала Теренс Лин. — Она всегда трещала как сорока. Ее любимый конек — бесконечные повторы, сопровождаемые для пущей убедительности энергичным взмахом кулачка правой руки, которым она, словно метроном, задавала особый ритм своим речам. «В 1938 году, — выкрикивала она в зал и ударяла кулачком о трибуну, — в 1938 году, попрошу обратить на это особое внимание, в 1938 году доход от капиталовложений подобного рода составил три с четвертью миллиона. Три миллиона и двести пятьдесят тысяч! Три с четвертью миллиона фунтов стерлингов, господин спикер! И кто сейчас доложит нам, как были израсходованы эти баснословные средства, господин спикер? Я к вам обращаюсь!» И так далее, в том же духе. И она была абсолютно права! Такие заклинания действовали на слушателей гораздо более убедительно, чем наши отточенные до блеска фразы, в которых каждое слово стояло строго на своем месте. Заглядывая в бумажки, миссис Рубрик, конечно же, видела эти фразы и тут же переиначивала их по-своему. Наши стилистические находки хранились до поры до времени среди вороха ее бумаг. Но если какие-то из ее выступлений должны были появиться в печати, тогда шли в ход и они. В письменном варианте текста подобные изыски смотрелись очень недурно».

Вот стилистика родной речи, постоянная и нудная шлифовка чужих мыслей в чужих выступлениях сблизила мистера Рубрика и его верную помощницу мисс Лин. Однажды какой-то еженедельник обратился к Флосси с просьбой написать статью о проблемах занятости женщин в удаленных сельскохозяйственных районах. По словам Теренс, мадам Рубрик была явно польщена, но и одновременно озадачена. Она зашла в кабинет к мужу и какое-то время вдохновенно витийствовала о том, как прекрасно, как благородно, когда женщина-мать сидит дома и поддерживает домашний очаг, в то время как ее муж уходит со стадами в горы, на дальние пастбища. Подобный уклад как нельзя лучше соотносится с высшими ценностями нашей жизни (она любила при случае щегольнуть подобными словечками). «Это — благородно!» — в своей обычной манере повторила Флосси, и в кабинете повисла тягостная пауза, ибо все присутствующие представили себе на миг, каково бедной женщине крутиться от рассвета и до заката по четырнадцать-шестнадцать часов кряду на ферме одной, управляясь со скотиной, хозяйством и плюс со всей домашней работой. Пожалуй, тяжелее работают только каторжники, отбывающие пожизненное наказание. «Найдите мне что-нибудь подходящее по теме, мисс Лин! — обратилась миссис Рубрик к своей секретарше. — А ты, дорогой, помоги ей! Я хочу особый акцент сделать на неприкосновенности домашнего очага и на святости тех, кто его оберегает в наших горных краях». Но тут подоспел Маркинс с ритуальным одиннадцатичасовым завтраком для хозяйки — чашечка бульона и булочка, и Флосси, отхлебывая по глотку, принялась мерить шагами кабинет мужа, бросая им в качестве полезных подсказок отдельные, не связанные между собой слова: «Истинная сфера... великолепие... наследственные традиции... настоящий союз мужчины и женщины». В этот момент зазвонил телефон, и Флосси заторопилась вниз, не забыв бросить им с порога последнее напутствие: «За работу, друзья мои! За работу! Цитаты — да, но не слишком заумные, прошу вас! Артур, дорогой мой, будь проще! Что-нибудь миленькое и понятное всем». Прощальный взмах рукой, и Флосси Рубрик исчезла за дверью.

Статья, которую они с мистером Рубриком подготовили для печати, носила откровенно еретический характер и ни в малейшей степени не соот-

ветствовала полученным директивам. Как-то раз они стояли вдвоем у окна и любовались прекрасным видом, который открывался на окрестные просторы: безоблачная синь неба, снежные шапки горных вершин на самом горизонте, бескрайняя степь, уходящая вдаль и теряющаяся в утренней дымке, подсвеченной первыми лучами солнца.

— Когда я смотрю на все это великолепие, — вдруг неожиданно признался Артур Рубрик, — то мне делаются смешными все наши напыщенные разговоры о том, как сильно мы изменили лицо страны и как кардинально изменилась жизнь здесь, в горах. А что изменилось-то? Горы как стояли тысячу лет тому назад, так и стоят себе. Все перемены свелись к тому, что мы завезли в эти места овец да поселили людей, которые занялись их разведением.

Наверное, продолжал мистер Рубрик развивать свою мысль, в этом и кроется одна из причин того, почему большинство авторов, пытающихся живописать Новую Зеландию, терпят неудачу. Одно дело — цивильная жизнь, обустроенный быт и все такое, когда глаз скользит лишь по поверхности, не стараясь заглянуть вглубь. Но здесь, в глубинке, вдали от цивилизации с ее стандартным набором благ, понимаешь, сколь паразитический образ жизни ведет современный человек и как он, в сущности, не готов к встрече с дикой природой.

— Пожалуй, нам понадобятся метафоры в духе елизаветинских поэтов, чтобы написать статью, достойную самой темы, — закончил он свои рассуждения.

Наверное, именно тогда у мистера Рубрика и возник замысел написать развернутую поэму в прозе о величии и красоте горного плато, создав новую пасторальную идиллию в стиле елизаветинцев.

— Сама идея показалась мне очень заманчивой, — рассказывала Теренс Лин. — Да и первые наброски показали, что мистеру Рубрику не занимать таланта для того, чтобы воспеть красоту и величие родного края. Но он мог работать над поэмой лишь урывками. Творчество стало для него неким подобием игры.

— Но увлекательной игры, — заметил Аллен. — А над чем еще он работал?

— Еще он начал цикл из нескольких эссе. Но все они постоянно переписывались. Мистер Рубрик неустанно шлифовал их, а в итоге они так и не были завершены. Мистер Рубрик часто болел, а когда ему становилась немного получше, то жена немедленно нагружала его своей работой.

Бывали дни, когда он трудился над ее речами, выступлениями и докладами до полного изнеможения. А ведь надо было еще и сопровождать ее в поездках по стране, участвовать в бесконечной череде митингов, встреч с избирателями и прочих публичных мероприятиях, и все это в ущерб собственному здоровью и редким часам отдыха. Впрочем, мистер Рубрик всегда старался обходить в разговорах с женой тему собственного самочувствия.

— Зачем лишний раз волновать Флосси по поводу моего недомогания? — деликатно говорил он в таких случаях. — У нее и своих проблем с избытком. А тут еще я и мои болячки. Жена бесконечно добра ко мне и неустанно печется о моем здоровье.

— Да! — встрепенулась Урсула. — Это чистая правда! Тетя Флоренс постоянно заботилась о дяде Артуре. И так переживала, когда ему становилось хуже. Казалось, она была готова на все, только бы ему полегчало.

— Вот-вот! И я о том же! — заметно оживился Фабиан. — От ее неусыпных забот нигде невозможно было укрыться! Такой, знаете ли, уход, от которого хочется взвыть и поскорее удрать куда-нибудь в горы.

— Ты не прав! Дядя Артур никогда не согласился бы с тобой.

— Кто знает! А ты как, Терри, думаешь?

— Я уже говорила, мистер Рубрик был очень деликатным человеком. И безмерно преданным своей жене. Фразу о ее доброте он повторял множество раз. Хотя, конечно, мало приятного в том, что с тобой постоянно обращаются, как с умирающим инвалидом. Такая жалость порой может вызывать…

Теренс оборвала фразу на полуслове и замолчала.

— Что может вызывать? — заинтригованно спросил у нее Фабиан.

— Так, ничего! Это все, что я хотела сказать.

— Нет, не все! Ведь что-то же между ними произошло, не так ли? Какая-то размолвка или нечто большее? Что так сильно волновало его последние две недели накануне ее гибели? Ты как никто знаешь, как он переживал. Так что это было?

— Последний месяц мистер Рубрик чувствовал себя очень плохо. И все более убеждал себя в том, что необратимые процессы начались уже в самых дальних уголках его организма и его болезнь не поддается лечению. Натурально, подобные мысли расстраивали миссис Рубрик. А тут еще конфликт с Клифом, а потом история с Маркинсом. Ей было от чего впасть в дурное настроение. Она даже изредка бросала в разговорах со мной намеки на сей счет. Дескать, люди неблагодарны и чаще всего платят за добро вероломством и предательством. И вообще, занятия благотворительностью приносят одни разочарования. Особенно часто она повторяла эту мысль в последние дни. А еще говорила, что осталась в полном одиночестве и что ей, в отличие от других женщин, не на кого опереться в трудную минуту. Однажды она затеяла такой разговор в присутствии мистера Рубрика. Он сидел в кресле возле окна и молчал, прикрыв глаза рукой. Было видно, что ему нестерпимо слушать жалобы жены. В эту минуту я готова была убить ее!

— Так! Будем считать твое признание обычной гиперболой! — нарочито оживленно воскликнул Фабиан, старательно перекрывая ропот неудовольствия со стороны Урсулы. — Я и сам не раз говаривал нечто подобное, пока тетя Флосси была жива. Она ведь могла любого достать при желании! Но зачем она прибежала зализывать свои раны к дяде Артуру? Или просто хотела уязвить его побольнее? Задеть, так сказать, за живое?

— Скорее всего, — меланхолично ответила Теренс.

Снова повисла неловкая пауза. Аллен понял, что продолжения истории ждать не следует. Теренс захотела поставить точку именно в этом месте, не посвящая остальных в подробности того, что же на самом деле произошло между мужем и женой в тот вечер. И сразу же стало еще заметнее то противостояние, которое есть между нею и остальными обитателями Маунт-Мун. Надо отдать ей должное, она особо и не скрывала своей неприязни ко всей троице. Но сейчас неприязнь грозила перерасти в открытый антагонизм. Секретарша презрительно скривила рот и метнула взгляд в угол, где, укрывшись в тени, сидел Родерик Аллен. После чего молча принялась за свое вязание, давая понять, что рассказ окончен.

— Наверное, это смешно, но лично у меня сложилось впечатление, — пробормотал вполголоса Фабиан, — что тетя Флосси всю последнюю неделю вела себя с дядей Артуром весьма странно. То била копытом, словно норовистая лошадка, то вдруг начинала лебезить перед ним и даже заигрывать, как семнадцатилетняя девчонка. Порой такие перепады в ее настроении внушали самый откровенный страх. Все же подобное поведение было ей совсем не свойственно. Вы ведь тоже заметили, да? Интересно бы знать, что ее так разволновало и даже вывело из себя?

— Ах, Фабиан! Тебе ну никак не угодишь! — рассмеялась Урсула. — Ты раздражаешься из-за того, что тетя Флоренс мало уделяла внимания мужу, и тут же удивляешься, откуда и почему берутся ее повышенная нежность и внимание к нему. Бедная моя тетя Флоренс! Ей действительно было крайне трудно угодить вам с Теренс!

— А сколько ей было лет? — неожиданно для всех поинтересовался Дуглас. — Сорок семь, если не ошибаюсь? Конечно, для своих лет она была очень резвой дамой. Однако женщины в таком возрасте всегда подвержены резким перепадам настроения. Я имею в виду все эти проблемы с... Ну, это… Сами понимаете...

— Понимаем-понимаем! — во время остановил его Фабиан. — Но я не думаю, что столь внезапно появившаяся в поведении тети Флосси игривость связана с естественными физиологическими изменениями в ее организме. Нет, здесь кроется нечто другое. Мне кажется, все ее заигрывания с мужем были направлены на то, чтобы весьма тонко, но недвусмысленно, заявить в глазах окружающих права собственника на дядю Артура. По принципу: что мое, то мое, и никому не отдам. Миссис Рубрик повела себя, как та собака на сене: и сам не гам, и другому не дам.

— Ну, знаешь ли, Фабиан! Это уже переходит все мыслимые границы! — возмутилась Урсула. — Ты, по-моему, окончательно забылся!

— Напрасно ты злишься, дорогая! Я вовсе не хочу рассмешить вас или организовать для мистера Аллена веселый балаган. Но признайся, только честно! Всю последнюю неделю твоя дражайшая тетя Флоренс вела себя необычно, с точки зрения здравого смысла. С нами она была кислой как уксус, а с дядей Артуром — само воплощение любви и нежности. Но при этом она все время наблюдала за ним. Можно даже сказать, не сводила с него глаз. Разглядывала его, как рассматривают старинную картину, которая висит в доме уже не одну сотню лет, а потому хозяйка даже подзабыла о ее существовании. Но вот появился кто-то, и этот «кто-то», глянув на картину свежим взглядом, с восторгом заявляет, что картина действительно очень редкая и ценная. И очень-очень красивая. Вот тут все и завертелось!

— Не знаю, что ты имеешь в виду. Последние дни дядя тяжко хворал: тетя Флоренс просто проявляла повышенную заботу о нем, только и всего.

— Ну уж нет! — с веселым смешком возразил Фабиан. — Зачем ей тогда это глупейшее заигрывание с ним? Зачем все эти кривляния, которые скорее пристали молоденькой девушке, чем почтенной матроне, пребывающей в законном браке уже не один десяток лет? Потряхивание кудряшками, кокетливые взгляды, бесконечные смешки. Ведь все же это было! Я ничего не выдумываю! Ведь так?

— У меня не было времени наблюдать за ужимками миссис Рубрик, — сказала Теренс.

— И тем не менее, ты наблюдала! И весьма пристально. Послушай меня, Терри! — начал Фабиан проникновенным голосом. — Не думай, что я отношусь к тебе плохо. Это совсем не так. Мне искренне жаль тебя, и я готов публично покаяться в том, что был в чем-то несправедлив к тебе. У меня, видишь ли, с самого начала сложилось впечатление, что ты не прочь завести легкую интрижку с дядей Артуром исключительно от скуки, и только. Ты предстала перед ним в образе несколько загадочной молодой особы, а сама стала потихоньку прибирать бедного дядюшку к рукам. Понимаю, слушать такие вещи не очень приятно, но именно так я рассуждал, наблюдая за вами со стороны. Ведь в сравнении с тобой мистер Рубрик был уже сущим стариком. К тому же, — только не обижайся на меня! — дядя Артур явно человек не твоего круга. Скоро мне стало понятно, что

он увлекся тобой не на шутку. Можно даже сказать, что совсем потерял голову. И это меня злило. Да, злило! Ведь я видел в тебе лишь искушенную кокетку, которая оттачивает свое мастерство на старом и больном человеке. Понимаю, Терри, тебе все равно, что я тогда думал и что думаю сейчас. Но поверь, мне искренне жаль, что я так ошибался. Что ж, вернемся в день сегодняшний. Когда все мы согласились на приезд мистера Аллена в Маунт-Мун, то о чем мы с вами договорились, помните? Напомню! Каждый из нас отдает себе отчет в том, что при определенных обстоятельствах он (или она) вполне могут стать подозреваемыми. Но мы-то с вами решили, что никогда и ни за что, ни под каким давлением или нажимом сами не станем подозревать друг друга. Помните, как пыталась расколоть каждого из нас местная полиция в самом начале следствия? Как они давили на нас, как запугивали! Что мы им тогда сказали? Мы сказали, что хотим выяснить правду, хотим узнать, что произошло на самом деле, ибо правда, какой бы ужасной она ни была, всегда лучше неведения, а нам подобное дознание не принесет вреда. Быть может, звучит несколько самонадеянно, но это так. Вот почему вы здесь, мистер Аллен! И вот почему мы решились на столь откровенный разговор с вами.

Аллен слегка пошевелился в кресле, потом сплел длинные пальцы рук и задумчиво посмотрел на огонь.

— Не мне вам говорить, — начал он, осторожно подбирая каждое слово, — что даже тогда, когда полиции известны все факты и все обстоятельства совершенного преступления, правосудие не застраховано от возможных ошибок. Ну, а уж когда речь заходит о преднамеренном убийстве, то полиция и вообще очень редко может похвастаться тем, что располагает всеми фактами в их совокупности. Всегда, как правило, отрабатывается несколько версий, потом одна из них становится доминирующей, и дело доводят до ареста подозреваемого в преступлении. Но при этом даже в самой убедительной, в самой доказательной версии объективные факты всегда соседствуют с откровенной ложью, кучей всяких мелких подробностей, не имеющих никакого касательства к делу, а также огромным количеством домыслов, тоже едва ли полезных при серьезном расследовании. А потому могу выразить лишь свое восхищение. Да, я восхищаюсь тем упорством, с каким вы ищете правду. Но мне представляется маловероятным, что мы сумеем докопаться до истины здесь, в этой комнате, и сейчас, то есть сегодня вечером, и ни часом позже.

А ведь они еще так молоды, мелькнуло у него при взгляде на их лица. Кажется, им было лестно услышать от него такие слова. Он ведь внушил им дополнительную уверенность в том, что они избрали верный путь.

— Так я и думал! — с энтузиазмом воскликнул Фабиан.

— Да, — тут же охладил его пыл Аллен, — я, в принципе, не верю в то, что вам это удастся. Вспомните, сколько месяцев длится обычно курс лечения у любого психоаналитика. А ведь он решает сходные задачи, пытаясь докопаться до самых темных, самых потаенных уголков человеческой души. Он ищет истину уже чисто клиническими средствами, шаг за шагом промывая сознание пациента и освобождая его от всей той грязи, которая накопилась в его душе. А вы, мистер Лосси, вообразили, что вам под силу проделать подобное за пару часов. А потому заявляю со всей ответственностью: ничего у вас не выйдет. Более того, как полицейский, я категорически против подобных самодеятельных сеансов психоанализа. Меня мало интересует клиническая картина психики каждого из вас. Скажу больше! Если бы я с такой же дотошностью копался в психике своих подозреваемых, то не смог бы осуществить ни одного ареста. Вот почему любого полицейского интересуют, в первую очередь, факты, а не эфемерные поры-

вы души. Если ваши откровения, касающиеся характера покойной миссис Рубрик и ее отношений с мужем, помогут пролить нам хоть каплю света на то, как именно неизвестный убийца смог подкрасться к своей жертве сзади, нанести ей удар по голове, оглушить ее, а потом с помощью пресса спрятать тело в тюке с шерстью, то тогда, с официальной точки зрения, ваши разговоры могут быть признаны полезными. Точно так же, если, потянув за тоненькую, едва заметную ниточку ваших подозрений, мы сможем выйти на разоблачение шпионской сети в нашей стране, то тоже можем считать, что потратили время не зря. Но если вы просто излили душу, сняли с нее груз той тяжести, который давил на вас все последние месяцы, то, боюсь, польза от вашей затеи будет невелика. К тому же, в порыве откровенности, и все мы это наблюдали, вы делаете больно тем, кто рядом с вами. А это уже опасно!

— Согласен! — сказал Фабиан. — Понимаю вас!

— В полной мере, мистер Лосси? Вы мне сами сказали при нашей первой встрече, что ни у кого из вас нет ни малейшего мотива для убийства миссис Рубрик. Но хватит ли у вас смелости сделать подобное заявление сейчас, после всего, что мы услышали? Давайте взглянем на вещи открытыми глазами. Капитан Грейс — наследник миссис Рубрик. Чем не повод, чтобы отправить ее на тот свет? Кстати, один из самых распространенных, смею вас заверить. Вы, мистер Лосси, кстати, сами предположили, что могли убить родственницу в состоянии приступа амнезии, которым вы, оказывается, подвержены до сих пор. Да и мотив для этого имелся весьма убедительный: противодействие со стороны миссис Рубрик вашей потенциальной помолвке с мисс Харм. Как показал рассказ мисс Лин, и у нее тоже был повод для убийства. Мужественная девушка, она искренне призналась всем нам, что питала самые глубокие чувства к мужу убитой женщины, а вы, мистер Лосси, не только подтвердили сей факт, но и добавили от себя, что со всей очевидностью можно было утверждать: их чувства были обоюдными. Вот вам еще один типичный мотив для совершения преступления. Вы только что бодро объявили, что вам, все вам, нечего бояться. Но так ли это на самом деле? Да и имели вы право превращать обычную комнату в некое подобие исповедальни? Попутно хочу напомнить вам, у меня нет полномочий священника, чтобы отпускать вам грехи, как тайные, так и явные. Все сведения, полученные от вас, я использую исключительно в своих, профессиональных целях. А ценную информацию включу в служебный отчет, копию которого в обязательном порядке направлю и в вашу полицию. А потому мой профессиональный долг требует, чтобы я еще раз напомнил всем вам, и в частности вам, мисс Лин, о тех последствиях, которые будет иметь каждое произнесенное вами слово.

Аллен немного помолчал, смущенно потирая нос.

— Понимаю, звучит немного выспренно, но так оно есть на самом деле! Боюсь, ваш эксперимент — это всего лишь попытка увести следствие в сторону и еще более запутать его. Не буду утверждать, что вы, вся четверка подозреваемых, заранее обо всем сговорились и решили устроить перед высоким должностным чином то, что мисс Харм довольно точно определила как публичный стриптиз. Но! — старший инспектор бросил еще один взгляд на Теренс. — Мисс Лин, если вы более не желаете продолжать…

— Не желаю, но отнюдь не потому, что боюсь! — мгновенно парировала Теренс. — Я не убивала миссис Рубрик, и все попытки доказать обратное заранее обречены на провал. Да, наверное, со стороны может показаться, что мне есть чего бояться. А я вот не боюсь! Мне не страшно за себя и за свое будущее тоже.

— Прекрасно! Тогда помогите мне разобраться в одном вопросе. Мистер Лосси только что рассказал нам, что приблизительно за неделю до своей гибели миссис Рубрик стала вести себя с мужем несколько иначе, чем раньше. Более того, он сказал, что вам хорошо известна причина столь внезапной перемены. Он прав?

Теренс не проронила ни слова. Она лишь молча оторвала взгляд от вязания и вперила его в портрет миссис Рубрик.

— Терри! Неужели она все узнала? — воскликнула Урсула.

Фабиан громко чертыхнулся, и Теренс, оторвавшись от созерцания портрета, повернулась и небрежно посмотрела в его сторону.

— Какой же ты глупец, Фабиан! Слепой тупица, вот ты кто!

Огонь в камине уже почти потух, и в комнате потянуло прохладой. Запахло сыростью и табачным дымом.

— Все! С меня хватит! — рассерженно воскликнул капитан Грейс. — Я сыт по горло вашими головоломками и отказываюсь понимать, чего вы все, собственно, добиваетесь! Ради всех святых! Отворите окно и впустите хоть немного свежего воздуха.

Не дожидаясь, пока кто-то сделает это, он сам подошел к дальнему углу кабинета, рывком отдернул портьеры и настежь распахнул балконное окно. Свежий ночной воздух ворвался в комнату. На улице стояла тишина. Ни листок не шевельнулся на дереве. Ярко светила луна, и в ее призрачном свете отчетливо виднелся силуэт самой высокой горы, которую местные называли «небоскребом». Ее тонкий, похожий на острую иглу шпиль протыкал небесный свод и терялся в заоблачных высях. Хотя сама гора находилась в пятидесяти с лишним милях от Маунт-Мун, ровная поверхность плато скрадывала пространство, и «небоскреб», казалось, стоит на расстоянии вытянутой руки. Аллен тоже подошел к окну.

Вот сейчас я произнесу какое-нибудь слово, подумал он, и мой голос тут же улетит прочь и затеряется в горах, от которых меня отделяет лишь кромешная тьма. По дороге в Маунт-Мун он приметил боковым зрением заросли плакучей ивы поблизости от усадьбы, но воды тогда не успел разглядеть. А сейчас до него явственно донесся всплеск, и он даже расслышал, как где-то вдалеке кричат дикие утки и нетерпеливо машут крыльями. Фабиан подбросил свежее полено в камин, и огонь тотчас же вспыхнул с новой силой, высветив его силуэт на террасе.

— Вы, наверное, решили заморозить нас тут, — капризно заметила Урсула.

Дуглас уже взялся за ручку двери, чтобы закрыть ее, как в этот момент раздались негромкие шаги. Мужчина торопливо шел вдоль террасы в сторону северной части дома. На нем были строгий черный костюм и фетровая шляпа. Аллен присмотрелся к нему и узнал Маркинса, который, скорее всего, по своему обыкновению коротал вечер в доме управляющего, а сейчас возвращался к себе. Дуглас с шумом захлопнул французское окно и снова затянул его портьерой.

— А вот вам и главный эксперт в нашем деле! — раздраженно бросил он. — Шляется себе как ни в чем не бывало, пока мы изводим друг друга всяческими несуразными подробностями, пытаясь понять характер женщины, которую, вполне возможно, убил именно он. Все! Я иду спать!

— Маркинс через пару минут подаст нам сюда спиртное! — примирительным тоном ответил ему Фабиан. — Пропустим по глотку виски и разойдемся!

— Лично я не стал бы доверять этому типу спиртное, особенно если он уже успел пронюхать о наших разговорах. Такой не колеблясь яду в графин подсыплет!

— Ну, это уж слишком, Дуглас! — в один голос воскликнули Урсула и Фабиан. — Ты уже вообще…

— Знаю-знаю! — огрызнулся в ответ Дуглас. — Совсем с ума спятил! Пусть будет по-вашему! — Он со всего маху плюхнулся на диван, но на сей раз не стал обнимать Теренс за плечи. Зато буквально впился в ее лицо и принялся пристально и с явным неудовольствием изучать его.

— Итак, мисс Лин! — обратился Аллен к Теренс. — Вы предпочитаете оставить вопрос мисс Харм без ответа.

Секретарша снова принялась за вязание, словно пытаясь обрести прежнее спокойствие. Но вот она отбросила нитки в сторону, алый клубок упал на пол и покатился.

— Вы принуждаете меня! Все вы! Вот ты, Фабиан, ты говорил, что все мы добровольно согласились участвовать в разговоре с мистером Алленом. На самом деле решали только вы трое: ты, Урсула и Дуглас. А я как могла не согласиться? Разве я имею право сказать вам «нет»? Кто я в этом доме? Посторонний человек, чужая. Я работала за деньги для миссис Рубрик, а теперь ты, Фабиан, платишь мне за то, что я работаю в твоем саду. Так что у меня нет права отвечать вам отказом.

— Что за глупости, Терри! — вполне искренне возмутился Фабиан.

— А ты бы побыл в моей шкуре, тогда бы и понял, глупости это или нет. Разве ты можешь понять меня? Вы все! Да, вы обращаетесь со мной, как с равной. Почти как с равной! Почти, и в этом вся суть. Я всегда помню свое место в этом доме.

— А вот это уже звучит как самое настоящее оскорбление! — не на шутку разобиделся Фабиан. — Когда это я давал тебе почувствовать свое превосходство? Тебе ведь прекрасно известны мои взгляды на эти замшелые классовые предрассудки! Да мне, если хочешь, отвратительна даже сама мысль о неравенстве между людьми!

— И тем не менее, сегодня ты — мой хозяин. А твои прогрессивные взгляды на общественный уклад не помешали тебе в свое время вступить во владение имением Маунт-Мун на правах законного наследника мистера Рубрика.

— Так, оставим на время классовые противоречия! — сухо прервал их Аллен. — Давайте вернемся к вопросу, отвечать на который вас, мисс Лин, никто не заставляет. И все же я хочу получить ответ именно от вас. Сформулирую вопрос еще раз, чтобы быть предельно понятным: заметила ли миссис Рубрик в последнюю неделю своей жизни, что между вами и ее мужем существует взаимное притяжение?

— А если я откажусь ответить на ваш вопрос, то что, интересно, вы подумаете? И что предпримете? Обратитесь к миссис Эйсворт, которая меня на дух не выносит? О, она с радостью расскажет вам какую-нибудь фантастическую историю про все мои непотребства, которую она тут же, прямо на ходу, и сочинит для вас. Когда мистер Рубрик болел последние месяцы, он ведь хотел, чтобы за ним ухаживала только я. От ее же услуг он отказался самым категорическим образом. Более того, он даже не позволил ей приехать в Маунт-Мун. Этого она мне никогда не простит. Так что, лучше уж вам узнать правду от меня.

— Замечательная мысль! — вполне искренне обрадовался Аллен. — Я готов к познанию!

Рано или поздно столь необычная привязанность, возникшая между двумя столь разными людьми, должна была во что-то вылиться. Трудно сказать, как стали бы развиваться отношения Теренс Лин и мистера Рубрика в дальнейшем, но развязка наступила совершенно неожиданно и сама собой. Они трудились над очередной статьей для Флосси. Артур Рубрик по своему

обыкновению сидел за письменным столом у окна, а девушка курсировала между столом и книжными полками. Вот она подносит очередную стопку книг и, склонившись над ним, открывает нужный том на нужной странице, отмечая указательным пальцем правой руки тот параграф или отдельное предложение, которое он просил найти. Он слегка подается вперед, и ее рука невольно соприкасается с рукавом его пиджака, чувствуя на ощупь шероховатую поверхность твида. И вот уже оба застыли в неподвижной позе. Он молча склонился над книгой, ей не видно выражения его лица. И вдруг неожиданно для себя Теренс кладет вторую руку ему на плечи, словно хочет поддержать эту слабую согбенную фигуру. Мисс Лин описывала всю сцену спокойно, безучастным тоном экскурсовода, рассказывающего зрителям о давно знакомой картине, и одновременно с той дотошностью к мельчайшим деталям, словно именно от них и зависела достоверность всего описания. А ведь она и в самом деле решила рассказать мне все, мелькнуло у Аллена. Какая же она умница! И какая прекрасная молодая женщина, снова подумал он сочувственно.

По словам Теренс, это было первое и единственное, открытое, если так можно выразиться, проявление их взаимных чувств. Наверное, они оба были настолько взволнованы и поглощены осознанием собственной близости, что не услышали, как открылась дверь. Все еще придерживая мистера Рубрика за плечи, Теренс повернула голову и увидела на пороге хозяйку. А он так и замер в той позе, в какой был, и лишь когда девушка отдернула руку, он тоже повернулся к двери и увидел жену.

Флоренс по-прежнему топталась на пороге с ворохом бумаг в руке. Теренс услышала, как неприятно зашелестели листы, которые миссис Рубрик сдавила с такой силой, словно боялась, что бумага выскользнет из ее рук.

— На ее лице не дрогнул ни один мускул, — монотонным тоном живописала всю сцену Теренс, и Аллен машинально глянул на портрет. — Разве что она слегка выпятила зубы, как обычно делала, когда ее что-то злило. Но зато в ее глазах застыло немое удивление. Я больше никогда не видела у нее таких удивленных глаз. Она просто стояла и смотрела на нас. А мы оба молчали. Тогда Флоренс громко сказала, не обращаясь ни к кому конкретно: «Мне срочно нужны эти доклады!» — резко повернулась и громко захлопнула за собой дверь.

— Дорогая моя девочка! — едва слышно прошептал мистер Рубрик, обращаясь к секретарше. — Если можешь, прости меня!

А для Теренс его слова прозвучали как самое настоящее признание в любви. Она почувствовала, как волна радости затопляет ей грудь, наклонилась над мистером Рубриком и поцеловала его в макушку, а потом отошла к полкам за очередной стопкой книг. И они тут же погрузились в срочную работу, которую поднесла им Флосси. Больше всего ее удивило, рассказывала Теренс, как спокойно они оба прореагировали на неожиданное появление миссис Рубрик в кабинете.

— У меня было чувство, что просто случилась какая-то досадная мелочь, которая на мгновенье отвлекла нас от работы, и только! Что-то такое, что мешает работать, а потому от этого следует как можно скорее и безболезненнее избавиться. Флоренс ушла, и все!

Да и вообще, какое отношение она имеет к ним обоим и к тому, чем они здесь занимаются? Некоторое время они сосредоточенно трудились над текстом будущих выступлений миссис Рубрик, и более ничто и никто не помешали их слаженной работе. Аллен представил себе кабинет, мистера Рубрика и Теренс Лин, копошащуюся среди книг. Время от времени они обмениваются понимающими улыбками, вместе листают толстенные

справочники, пытаясь поскорее найти нужную страницу. Находят, и тут же Терри строчит своим аккуратным почерком очередную выписку, которая должна украсить банальные рассуждения ее работодательницы. Все же причудливые формы иногда принимает любовь, вспыхивающая между мужчиной и женщиной.

Настроение полнейшей внутренней и внешней гармонии с окружающим миром витало в кабинете все утро, а за обедом Теренс заметила, что миссис Рубрик, вопреки обыкновению, почти совсем не разговаривает. И все время она ловила на себе ее испытующие взгляды.

— Но это меня совсем не взволновало! — честно призналась она.

Наверное, размышляла секретарша, рассеянно вслушиваясь в то, что говорят за столом другие, миссис Рубрик подумала, что с моей стороны — это вопиющая дерзость: взять и положить руку на плечо постороннего мужчины. Но ведь могла же я так увлечься работой, что совсем забыла, где я и что я.

Но совершенно неожиданно уже в самом конце обеда, когда подали десерт, Флосси объявила, что сегодня вечером они с Теренс будут вместе разбирать почту. На первый взгляд, в таком заявлении не было ничего из ряда вон. Теренс регулярно просматривала деловую корреспонденцию миссис Рубрик и самостоятельно печатала ответы на большинство из тех писем, которые приходили в ее адрес. Но что-то неуловимо изменилось в самом внешнем облике Флосси, в том, с какой энергией она набросилась на эту рутинную работу, всецело привязывая к себе мисс Лин. И все время, пока они занимались корреспонденцией, девушка постоянно ловила на себе ее внимательные взгляды. Флоренс диктовала ответы, неспешно меряя комнату шагами, и вдруг неожиданно останавливалась возле камина, или возле стола, или подходила к окну, и оттуда посылала в сторону секретарши пронзительный как стрела взгляд. При всем своем самообладании Теренс начала нервничать. Она не привыкла к столь пристальному изучению собственной персоны, да еще под самыми разными ракурсами. О, этот холодный взгляд! Не каждый был способен выдержать такой взгляд без внутреннего содрогания. Уж лучше бы она на меня накричала, паниковала Теренс, придралась бы к чему-нибудь и дала волю чувствам. Но нет! Хозяйка была безукоризненно вежлива с девушкой, вот только ее глаза! От радостного ощущения праздника, которое оставило в душе Теренс утро, когда она поняла, что мистер Рубрик тоже любит ее, не осталось и следа. Только чувство собственной вины и даже стыд, будто она совершила что-то в высшей степени недостойное. Теренс словно увидела себя со стороны, глазами миссис Рубрик. Какая-то мелкая секретарша, серая мышка, которую приютили в доме почти из милости. И такое ничтожество посмело завести любовную интрижку с мужем своей хозяйки. Ужас! Теренс почувствовала странную пустоту в желудке и приготовилась к худшему. Сейчас будет что-то такое, думала она со страхом, и случится тот самый катарсис, который в пьесах обычно все расставляет по местам и всем персонажам воздает по делам их. Но никакого катарсиса не наступило. Еще пару часов они слаженно трудились вместе над ответами на многочисленные письма, потом Теренс принялась наводить порядок на рабочем столе, а миссис Рубрик направилась к себе. Но прежде чем уйти, она бросила ей через плечо, словно невзначай:

— Мистер Рубрик очень ослабел в последнее время. — И это «мистер Рубрик» в устах его жены мгновенно и безвозвратно отбросило Теренс на самый низ, на ту ступеньку, которую она занимала в Маунт-Мун: наемная секретарша, и ничего более. — А потому я считаю, что нам не следует

впредь чрезмерно загружать его работой. Пожалуйста, имейте это в виду, мисс Лин, на будущее. Отныне вся работа по подготовке статистических данных ложится исключительно на ваши плечи.

С этими словами Флоренс величаво выплыла из комнаты, оставив Теренс наедине с собственными мыслями. Оставалось лишь гадать, что именно вынесено за скобки, но так и не было произнесено вслух.

— А за ужином, — закончила свой рассказ мисс Лин, — все заметили те самые перемены в поведении миссис Рубрик, о которых рассказывал Фабиан. Лично для меня это стало ужасным испытанием.

— Она просто решила дать тебе бой, Терри, причем на твоей территории, — пояснил Фабиан. — Я понял все с самого начала, но не увидел в случившемся ничего страшного. Неловкая ситуация? Да. Жалкая? Быть может. Но очень в духе нашей тети Флосси. Это ее фирменный стиль.

— Но дядя Артур всегда боготворил свою жену! — возразила ему Урсула. — Думаю, что если бы тетя Флоренс дозналась о вашей взаимной симпатии, то она закатила бы тебе, Терри, грандиозную сцену ревности. Стала бы кричать: «Вон из моего дома! Мерзкая вертихвостка! Решила захомутать чужого мужа, да? Разуй свои очи! Он же больной, ни на что не годный старик! В таком возрасте все мужчины одинаковы. Прогоню тебя, а он через пару дней даже имя твое забудет». Ну, и так далее, в том же духе. Да еще и топала бы при этом ногами.

— Нет! — вдруг выкрикнула Теренс. — Мистер Рубрик никогда бы меня не забыл!

Обе девушки одновременно посмотрели на Аллена, словно ожидая, что только он может рассудить их.

— Забыл бы в два счета! — продолжала стоять на своем Урсула. — Вы согласны со мной, мистер Аллен?

Какой же я старый, вдруг мелькнуло у него, особенно, среди всей этой молодежи.

— Мне трудно судить, — сказал он неуверенным тоном. — Я же совсем не знал мистера Рубрика.

Однако в глубине души он был согласен с Урсулой. Смертельно больной, безмерно уставший и заезженный честолюбивой женой донельзя, мистер Рубрик, скорее всего, поступил бы именно так. Разлучницу, внесшую смуту в чинную супружескую жизнь Рубриков, услали бы прочь, и очень скоро вся романтическая история поросла быльем и стала бы просто приятным воспоминанием о прошлом.

— А! Все вы, мужчины, одинаковы! С возрастом начинаете выдумывать себе бог знает что, а потом чудите! — в сердцах воскликнула Урсула, и Аллен, к своему ужасу, понял, что в глазах этого юного создания он не только замшелый старик, но и такой же ветреник, как и покойный Артур Рубрик. Словом, романтические порывы души в его возрасте — это всего лишь заурядное проявление старческого маразма. Так вот что думает нынешняя молодежь о людях среднего возраста, обиделся за всех своих сверстников старший инспектор.

— Значит, по-твоему, дядя Артур чудил? — возмутился Фабиан. — А что же наша дорогая тетя Флосси? В ее поведении ты не усматриваешь чудачества? Придумать такое! Флиртовать с собственным мужем! Кокетничать с человеком, с которым прожила под одной крышей почти тридцать лет! Уму непостижимо!

— Это совсем другое! — решительно отбила подачу Урсула. — Тетя Флоренс не виновата, что все так вышло. Если хочешь знать мое мнение, то во всем виновата Терри. Да, Терри, я считаю, что это ты толкнула тетю на такие дурацкие уловки, как заигрывание с дядей Артуром.

— В чем я виновата? — впервые за весь вечер попыталась оправдаться мисс Лин. — Все произошло само собой. И все было хорошо, пока она не вошла в кабинет. Даже более того! Все было просто прекрасно! Я не испытывала ни малейших угрызений совести в тот момент: и умом, и сердцем я радовалась тому, что сделала. Если хочешь знать, я впервые в жизни почувствовала себя настоящей женщиной, и мне понравилось это чувство. Нет, мы не сделали ничего дурного, ничего такого, чего следует стыдиться.

Теренс говорила запальчиво, страстно, и хотя обращалась только к Урсуле, было видно, что ее слова адресованы всем присутствующим. Наверное, она надеялась найти у молодых людей понимание и сочувствие, но преуспела лишь в том, что они сконфуженно молчали, явно не зная, как им реагировать на столь искреннее признание.

— И все равно! — заявила Урсула неуступчивым тоном. — Как ты только могла… с дядей Артуром… Ему же было уже за пятьдесят! Совсем старик!

В комнате повисла неловкая пауза. По смущенным лицам Дугласа и Фабиана Аллен, которому совсем недавно стукнуло сорок семь, понял, что эти двое солидарны с девушкой.

— Я не обидела его своей любовью, Урсула. И не унизила, если ты это имела в виду. Напротив! Это она его обижала. И унижала всю жизнь. Ведь миссис Рубрик была властолюбивой эгоисткой, хищной собственницей, готовой на все, чтобы не выпустить свое из рук.

— Это ты ее такой сделала! Только ты!

— Но мы и предположить не могли, что так случится. Повторяю, все произошло спонтанно, само собой. Словно гром среди ясного неба. Я ничего не планировала заранее. И никакого продолжения не было, Урсула. Ничего! Если твое богатое воображение рисует тебе тайные свидания при луне, знай, ничего этого не было. Просто мы оба стали немного счастливее, поняв, что любим друг друга, только и всего.

— А когда он болел, ты говорила с ним об этом?

— Иногда. Очень редко, и именно в том ключе, как я тебе только что сказала. Мы были счастливы узнать, что любим друг друга.

— Хорошо! Тогда я поставлю вопрос иначе! — упорно продвигалась вперед Урсула. — Я спрошу тебя так: если бы дядя Артур остался жив, ты вышла бы за него замуж?

— Откуда мне знать, как повернулась бы наша жизнь в этом случае?

— А почему нет? Тетя Флоренс вам ведь сильно мешала, но, к счастью, это препятствие было весьма удачно устранено с вашей дороги. Я права?

— Это слишком жестоко с твоей стороны, Урсула, говорить мне в глаза такие вещи!

— Согласен! — поддержал девушку Дуглас.

— Остынь, Урсула! — смущенно пробормотал Фабиан. — Выпустила пар, и хватит!

— Разве? Но мы же договорились ничего не скрывать друг от друга. Вы говорите всякие гадости в адрес покойной тети Флоренс. Так почему же мне нельзя откровенно сказать то, что я думаю? То, что думаем все мы, но вы двое боитесь признаться себе в этом. Смерть тети Флоренс была на руку дяде Артуру и Теренс. Ибо ничто более не мешало им пожениться.

В холле послышались негромкие шаги, а следом раздалось позвякивание стаканов. Маркинс готовил вечерний аперитив для них.

Продолжение следует.

Перевод с английского Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.

Алесь МАРТИНОВИЧ

Сказание о Елене Прекрасной

Стерпится-слюбится. Так обычно говорят в народе, если кто-то создает брачный союз не по любви, а по какому-либо расчету. В лучшем случае один из новобрачных питает ко второму хотя бы немного симпатии. Иногда это касается и обоих: любви большой нет, но и отталкивающих чувств, ненависти также. Существенно то, что брачующиеся и не решились бы быть вместе, а то и вообще могли бы не встретиться. Особенно если Она и Он — особы коронованные. Да к тому же проживающие в разных странах. Но иногда за них всё решают другие. Придерживаясь уже названного принципа: стерпится-слюбится, а от этого хотя бы какая-то польза будет тем, кто свел их. Хотя все не так и просто. Как не вспомнить в связи с этим Николая Карамзина, резонно утверждавшего: «Давно замечено историками, что редко брачные союзы между государями способствуют благу государств: каждый венценосец желает употребить свойство себе в пользу; вместо уступчивости рождаются новые требования, и тем чувствительнее бывают отказы».

Заметили в этом высказывании один существенный момент? Нет? В таком случае, вчитайтесь внимательнее. Карамзин не случайно говорит о «брачных союзах между государями», ибо сами государи во времена давние и не такие давние обычно сами решали, за кого отдавать своих дочерей, на ком женить своих сыновей. Кстати, великий российский историк называет и тех венценосцев, которых он имел в виду, строя свои рассуждения: «Кажется, Иоанн и Александр в сем случае не хотели обмануть друг друга, но сами обманулись: по крайней мере, первый действовал откровеннее, великодушнее, как должно сильнейшему; не уступал, однако ж и не мыслил коварствовать, с прискорбием видя, что надежда обеих держав не исполнилась и что свойство не принесло ему мира надежного».

Уточню: Иоанн — это великий князь московский Иван Васильевич III; Александр — Александр Ягеллон, великий князь литовский, а несколько позже еще и король польский. Оба — личности колоритные. Особенно первый из них, которого за добрые деяния историки прозвали Иваном III Великим. Тот же Карамзин ставил его даже выше Петра I, поскольку, объединяя русские земли, собирая их, как говорится в летописях, Иван Васильевич, в отличие от других правителей, не прибегал к насилию над простым народом, как это делал Петр I. Да и при Иване III произошло окончательное освобождение Руси от татаро-монгольского ига.

Такие сильные и властные правители всегда имеют немало врагов. Великий князь московский не стал исключением. Те, кто видел в нем противника, сходились с ним не только на поле брани. Действовали иногда и исподтишка, но сам Всевышний оберегал его. Зато 22 апреля 1467 года беда настигла его жену Марию Борисовну, дочь великого князя тверского. Умерла она внезапно. Видимо, отравили, поскольку после смерти великой княгини ее тело сильно распухло.

Невеста видная, жених также

В это время Ивану Васильевичу исполнилось всего 27 лет. На такого завидного жениха, конечно, не могли не обратить внимания. Но два года его сватовством никто не беспокоил. Только в 1469 году со свадебным предложением в Москве появилось посольство из самого Рима. Невесту подобрали великому князю московскому еще ту! Зоя Палеолог была племянницей последнего византийского императора Контантина XI, убитого турками в 1453 году.

Великим князем московским Иваном III Рим заинтересовался не случайно. Когда Византия пала, отец Зои, правитель Мореи Фома Палеолог, со своей семьей и свитой нашел убежище у Папы Римского Сикста IV. Приехал к нему, конечно, не с пустыми руками. При себе имел драгоценности, последние богатства империи, а также святыни Православной Церкви. Когда же Фома Палеолог умер, его детей — сыновей Андрея и Мануила, а также дочь Зою, — на попечение взял новый Папа Римский Павел II. Жили они, ни в чем себе не отказывая, поскольку были приравнены к самым богатым наследникам. Незаметно пришло время отдавать Зою замуж.

Казалось бы, проблем не должно возникнуть. Желающие взять в жены такую видную невесту обязательно найдутся. Женихи и правда были. Да и такие, что позавидовать можно. Вот только невеста с характером оказалась, слишком требовательная. Такая, что и не подступиться к ней. Дала от ворот поворот французскому королю, особо не утруждая себя объяснениями, чем он ей не понравился. Миланский же герцог, хотя Зоя Палеолог и воспитывалась при дворе Папы Римского, не понравился ей тем, что был католиком.

Тогда Павел II решил сам заняться этим вопросом. Тем более что у него уже был на примете Иван III. Переговорив с Зоей, он, к своей радости, убедился, что привередливая невеста не против этого варианта. Оставалось получить согласие жениха. С таким важным поручением Папа Римский отправил в Москву некого «грека Юрия». Скорее всего, это был не кто иной, а Юрий Траханиот — доверенное лицо семьи Палеолог.

«Грек Юрий», нужно отдать ему должное, действовал умело. Принимая во внимание тот факт, что великий князь московский был православным, он обстоятельно поговорил с ним на эту тему. Взаимопонимание потенциальный жених и сват нашли быстро. Важным было то, что Зоя Палеолог, как и Иван III, была православной, не желала переходить в «латынство», к чему ее настойчиво склоняли.

Правда, эта поездка «грека Юрия» в Москву желаемого результата не дала. Хотя Иван III был не против женитьбы на Зое Полеолог, возник ряд вопросов, требующих уточнения. Пока этим занимались, переговоры затянулись на три года. Одна из причин такой медлительности была в том, что против брака Ивана III с Зоей Палеолог решительно выступил митрополит Филипп, а с его мнением Иван III не мог не считаться. Только в июне 1472 года посол великого князя московского Иван Фрязин от имени Ивана III обручился с Зоей в соборе Святого Петра в Риме.

Со свадебного поезда на свадебный… корабль

Венчание же состоялось в Москве 12 ноября 1472-го. Произошло это после того, как свадебный поезд невесты пересек всю Европу с юга на север и прибыл в столицу Московского княжества. Останавливался этот поезд во всех крупных городах, находившихся по пути его следования. И везде проходили торжества: устраивались пышные приемы, организовывались рыцарские турниры. Не обходилось и без подарков высокой гостье. И не только дорогих, что само собой разу-


Иван III.

меется, учитывая ее социальный статус. Были и, на первый взгляд, несколько неожиданные подарки, но они также являлись свидетельством почета и уважения к невесте. Так, к примеру, женщины Нюрнберга поднесли Зое Палеолог двадцать коробок конфет, чем ее очень порадовали, ибо какая женщина не любит сладостей.

Приходилось свадебному поезду превращаться и в свадебный… корабль. Когда из немецкого города Любека по морю добирались в Колывань — так в то время называлась современная столица Эстонии Таллинн. А дальше все ближе и ближе к Москве — Юрьев, Псков, Новгород…

Наконец — долгожданная столица Московского княжества. Зоя в нетерпении — какой он, ее будущий муж… Да вот никто не удосужился показать его портрет. В общем, просматривался уже известный принцип. Он самый: стерпится-слюбится. За исключением очень важного момента — согласие на этот брак невеста дала. Но какой он, этот Иван III? Говорят, что неплох собой. Утверждали, что хорошо жил со своей первой женой. Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нет, этой пословицы Зоя Палеолог тогда, конечно, не знала. Но почему-то была убеждена, что именно так и должно быть. Ничего, можно и подождать. Столько и так уже ждала этой встречи, теперь же осталась самая малость. Вряд ли может случиться нечто непредвиденное. Но случилось… При самом въезде в Москву. Да не просто недоразумение, а настоящий скандал.

Дело в том, что папский представитель Антонио Бонумре в начале свадебного поезда вез большой католический крест. Так продолжалось всю дорогу, начиная с выезда из Рима. Никто против того, что Антонио брал его с собой, не возражал. Спокойно отнеслась к этому и Зоя Палеолог, ибо с верой своей давно определилась. Православием она жила. Православие, можно сказать, было у нее в душе. Да и в населенных пунктах, где свадебный поезд останавливался, никто не обращал внимания на то, что в голове его находится католический крест.

Иначе отнесся к этому московский митрополит Филипп. И его, конечно, можно понять: католический крест пытаются ввезти в саму столицу православия. Посчитав это оскорблением всех православных, он решительно заявил, чтобы католический крест убрали. Филиппа попытались уговорить, чтобы на него просто не обращал внимания. Но не тут-то было. Из уст митрополита прозвучало: «Или убираете католический крест, или я уезжаю из Москвы!»

Последнее слово оставалось за Иваном III. Великий князь московский с пониманием отнесся к этой непростой ситуации. Как и следовало ожидать, он полностью согласился с высшим духовным лицом своего княжества. Боярину Федору Давыдову Хромому было велено силой отнять крест у папского представителя, что тот, как истинный православный, и сделал. Наблюдавшая за этим Зоя Палеолог облегченно вздохнула. Решительная, твердая по характеру, она вместе с тем старалась, чтобы всегда торжествовала справедливость.

Венчание состоялось в тот же день, когда свадебный поезд въехал в Москву. Торжество происходило в недостроенном еще Успенском соборе. Такое место, пожалуй, было выбрано не случайно. Православный великий князь московский сочетался браком с православной греческой принцессой Зоей Палеолог. Этот союз двух сердец символизировал собой дальнейшее укрепления православия в Московском государстве, как бы напоминая, что будет построено еще немало новых церквей, а возведение недостроенных завершится. Зоя Палеолог с этого момента стала великой княгиней московской, владимирской и новгородской Софьей. Ее стали звать Софьей Фоминичной.

Породнился святой Георгий с двуглавым орлом

Эта женитьба имела огромное значение для Руси. Зоя Палеолог, по сути, переносила наследные державные права Византии в Москву, которая начала восприниматься новым Царьградом. Поскольку же русские считали Византию оплотом истинной православной веры, единственным Православным Царством на земле, то, породнившись с династией ее последних правителей, Русь имела право претендовать на величественную духовную роль, заявлять о своем религиозном и политическим призвании. Чтобы подчеркнуть это «родство» с Византией, Иван III велел после венчания московский герб объединить с древним гербом Византии.

Как известно, на московском гербе было изображение Святого Георгия Победоносца со щитом и копьем. Символ же древней Византии — двуглавый орел. Московское княжество как бы стало наследником Византийской империи, а великий князь московский, соответственно, — наследником византийских василевсов, как в этой стране называли императоров. Поэтому Иван III и взял себе новый титул: «Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси и великий князь владимирский и московский, и новгородский, и псковский, и тверской, и югорский, и пермский, и болгарский, и иных».

Было это сделано по образцу Византии. Многими же образованными людьми он стал восприниматься как «царь всего Православия». Русская Православная церковь — преемницей Греческой церкви. Правда, это впервые высказал за двадцать лет до рождения Ивана Васильевича инок Филофей: «Яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не бывать». Думаю, что не обойтись без пояснения.

Первый Рим пал, по мнению православных, еще в V—VI веках из-за ереси, «разъевшей» его до основания. Он-то и уступил место византийской столице городу Царьграду, или Константинополю, ставшему Вторым Римом и хранителем православной веры. Второму Риму пришлось немало бороться с магометанством и язычеством. Но пал он под ударами турок. После этого Москва, подхватив знамя православия, и стала Третьим Римом. Тому, чтобы так и было, в одинаковой степени способствовали великая княгиня и великий князь, укрепляя православие.

С соседями не только дружба

Высоко ценил Ивана III и великий князь литовский и польский король Казимир IV Ягеллон. Хотя и являлся постоянным противником великого князя московского, тем не менее, честно отмечал, что это «вождь — славный многими победами, обладающий огромной казной». Предостерегал от легкомысленного выступления против Ивана III. Правда, отношения Московского княжества и Великого Княжества Литовского при Казимире IV были далеко не мирными.

В частности, он поддерживал татаро-монголов в их борьбе против Москвы, являлся сторонником Великого Новгорода и Твери, выступавшей против Ивана III. Когда 7 июня 1492 года Казимир IV умер, великим князем литовским был избран его сын Александр, позже ставший и польским королем.

С восхождением Александра Ягеллона на великокняжеский престол отношения между Московским княжеством и Великим Княжеством Литовским, однако, не только не улучшились, но и стали еще более напряженными. Причем по вине московской стороны, начавшей вести активные военные действия. ВКЛ в первые два года правления Александра Ягеллона утратило значительную часть своей территории, на которой находились города Мценск, Любецк, Вязьма, Дорогобуж и другие. Это, безусловно, московцев радовало, но стало головной болью для Великого Княжества Литовского. Хотя у Москвы были свои проблемы.

Ивана III беспокоило положение православных в ВКЛ, количество которых там было две трети от всего населения. Однако, несмотря на это, они католическим клиром всячески притеснялись. Более того, принимались решительные действия для создания унии Православной и Католической церквей, которая, как видно было из задач тех, кто хотел этого объединения, пошла бы не на пользу православным жителям Княжества и могла привести к уничтожению самостоятельной Православной церкви в ВКЛ. Великий князь московский с этим смириться не мог. Выход из этой сложной ситуации он увидел в том, чтобы отдать свою дочь замуж за великого князя литовского Александра Ягеллона. В таком браке в равной степени была заинтересована и великокняжеская сторона, ибо это позволяло скрепить такой необходимый Великому Княжеству Литовскому мир с московским княжеством.

Ангел в человеческом облике

Елена была старшей дочерью Ивана III и его второй жены. Вообще, этот брак оказался счастливым во всех отношениях. Великий князь московский и великая княгиня московская жили в любви, согласии и дружбе, много делали для того, чтобы в их княжестве процветало православие. Семейному счастью способствовало, что их дети были развитыми и красивыми. Особенно это касалось Елены, которой от матери передалась византийская красота. Позже Елену даже называли ангелом в человеческом облике. Переняла старшая дочь от матери и ум, много читала. Для своего времени княжна была развитой и образованной.

Конечно, ее согласия на замужество, как всегда в подобных случаях, никто не спрашивал. Поставили княжну, как говорится, перед фактом, а вопросы будущего брака обсуждали посольские делегации. Московские делегации отправлялись в Вильно, а великокняжеские из Вильно в Москву. Все нужно было заранее обговорить, чтобы позже не возникло никаких недоразумений. Слухи об этих переговорах доходили и до красавицы княжны. Елена понимала, что если отец решил отдать ее замуж за великого князя литовского Александра, от нее по существу уже ничего не зависит, остается только согласиться. Одного Елене хотелось узнать, как же выглядит тот, кто должен стать ее мужем.

Великокняжеские послы оказались хорошими психологами, догадались, что хотелось великой московской княжне узнать. Поэтому в очередной приезд в Москву привезли портрет своего князя. Этот портрет и вручили Елене. Александр невесте понравился, поскольку выглядел привлекательным. Лицо у него было белое, на щеках здоровый румянец. И ни одной морщинки. Это ее, однако, не только обрадовало — какой невесте не хочется, чтобы жених был еще и красивым, но и вызвало недоумение. Знала, что Александру уже больше тридцати лет, а внимательно посмотришь на портрет, так совсем еще юноша. Даже усы едва заметны. Неужели какой-то подвох?

Послы объяснили, что этот портрет Александра написан с десяток лет назад. Сразу же успокоили Елену: переживать не стоит, великий князь литовский за это время не утратил своей привлекательности. Выглядит таким же красивым, как и раньше. Да и по-прежнему строен, подтянут. А еще, как узнала она от послов, ему успели уже подыскать несколько невест. Но всех претенденток он отклонил. «Никто из них мне не нужен, — сказал великий князь литовский. — Хочу, чтобы моей женой была великая княжна московская Елена Ивановна».

Не без помощи Папы Римского

После этого Елена еще с большим интересом ожидала появления в Москве своего жениха, но он почему-то все не ехал и не ехал. Спрашивать у матери, из-за чего такая задержка, стеснялась. Чего доброго, скажет: «Что? Уж замуж невтерпеж?» У отца тем более спрашивать не станешь. У него и так дел хватает. Да и не привыкла Елена делиться с ним своими сокровенными тайнами.

Великий князь литовский Александр Ягеллон не спешил в Москву, потому что обе стороны — московская и великокняжеская — никак не могли окончательно определиться в территориальных спорах, связанных с претензиями друг к другу. По-прежнему не было ясности и по вопросам обмена пленными. Да и мать Александра королева Эльжбета, которая была согласна на этот брак, вдруг переменила свое решение. Великому князю литовскому ничего не оставалось, как за помощью обращаться к самому Папе Римскому. Тот, в конце концов, пошел ему навстречу и одобрил его желание взять в жены православную. После этого и материнское сердце потеплело.

Но тут задержка в женитьбе возникла из-за московской стороны. Иван III заявил, что брак его дочери с Александром Ягеллоном возможен только в том случае, если в Княжестве дадут гарантию, что не станут заставлять ее переходить в католичество. Елена является православной и ею останется навсегда. Такую гарантию великокняжеские послы после обсуждения этого вопроса с самим женихом дали. Вскоре был подписан и мирный договор между Московским княжеством и Великим Княжеством Литовским. После этого можно было и обручать молодых.

Обручение состоялось 6 февраля 1494 года в покоях великой княгини московской Софии, куда пригласили и великокняжеских послов. Елена не удивилась отсутствию жениха, поскольку была заранее предупреждена о том, что в Москву он не приедет. Проявив тактичность, поинтересовалась, как его здоровье, на что получила ответ, что отменное. Это и в самом деле было так. Место же жениха во время обручения предстояло занять тем послам, которые по своему рангу стояли выше. Выбор пал на Станислава Гаштольда и Петра Яновича. Правда, кандидатура последнего из них сама собой отпала: Янович был женат вторым браком. «Женихом» стал Гаштольд.

Как и делается при этом обряде, Гаштольд и Елена обменялись брачными кольцами и крестиками, подвешенными на золотых цепочках. Иереи читали молитвы. Никто и подумать не мог, что нарушителем спокойствия может стать великий князь московский Иван III.

Без грамоты невесты не видать

А он вдруг заявил, что дочь отправит в Вильно только после того, когда получит от Александра Ягеллона письменное заверение, что тот не станет заставлять свою жену менять веру, переходить из православия в католичество. Послы возразили, что никакой проблемы нет. Они насчет этого уже дали слово. Но Иван III

был непреклонен: ему нужна грамота и только грамота. Тут же назвал и текст ее: «Нам его дочери не нудить к римскому закону, держит она свой греческий закон».

Этого он требовал от великокняжеской стороны и раньше: не заставлять Елену принимать католическую веру вместо православной. Но письменное заверение теперь уже зятя Александра, что он на такой шаг ни в коем случае не пойдет, станет гарантией. Чтобы получить ее, великий князь московский отправил к Александру Ягеллону своих послов, братьев Василия и Семена Раполовских. Для того, чтобы они действовали решительно, дал им такой наказ: «Говорить накрепко, чтоб Александр дал грамоту о вере Елениной по списку слово в слово, если же он не захочет никак дать грамоты, то укрепить его на словах, пусть крепкое слово молвит, что не будет ей принуждения в греческом законе». Послы великого князя литовского остались в Москве. Требовалось урегулировать некоторые положения мирного договора между Московским княжеством и Великим Княжеством Литовским.

Однако, как оказалось, грамоту, на которой настаивал Иван III, получить не так просто. Об этом и сообщили Раполовские после возвращения из Вильно. Было видно, что зять не собирается слепо придерживаться того, чего требовал от него тесть. Александр, видимо, рассчитывал, что со временем Елена сама решит поменять свою веру, перейдет из православия в католичество. Потому и предложил Раполовским грамоту иного содержания: «Александр не станет принуждать жену к перемене закона, но если она сама захочет принять римский закон, то ее воля». Раполовские отказались принять грамоту с подобным текстом. Тогда великий князь литовский заявил, что ему больше говорить с ними не о чем. Послы после этого вынуждены были оставить столицу ВКЛ.

Правда, после отъезда их Александр Ягеллон быстро остыл, испугавшись, что Иван III может отменить свое решение о выдаче дочери замуж за него. Поэтому следом за ними отправил своего посла Литовора Хрептовича, приказав ему самому вручить грамоту Ивану III. В реакции великого князя московского он не ошибся. Тот уже знал от своих послов о том, что произошло в Вильно. Поэтому, получив грамоту из рук Хрептовича, даже не стал ее читать. В гневе заявил: «Если он не подпишет грамоту с таким текстом, которого я требую, то ему не видать Елену своей женой!»

Через несколько дней, съездив в Вильно, Хрептович снова предстал перед великим князем московским. Конечно, с грамотой нужного Ивану III содержания. Заодно он сказал, что Александр интересуется, когда можно приезжать за невестой. «Ожидаю ваших послов на Рождество Христово», — ответил великий князь московский.

Такое время приезда их выбрал неслучайно: «Чтобы нашей дочери быть у великого князя Александра за неделю до нашего великого заговенья мясного».

Взаимопонимание найдено

Послы Александра Ягеллона, как и было оговорено, в Москве появились в начале 1495 года. Такой высокой миссии удостоились наместник гродненский Александр Заберезинский, его брат наместник полоцкий Ян и самые влиятельные бояре Великого Княжества Литовского. Принимая их, Иван III уточнил момент брачного договора, касающийся вероисповедания своей дочери в замужестве: «Скажите от нас брату и зятю нашему, великому князю Александру: на чем он нам молвил и лист свой дал, на том бы и стоял, чтоб нашей дочери никаким образом к римскому закону не нудил; если бы даже дочь и захотела сама приступить



Елена Ивановна.

к римскому закону, то мы ей на то воли не даем, и князь бы великий Александр на то ей воли не давал же, чтобы между нами про то любовь и прочная дружба не порушилась».

Обратил Иван III внимание и на то, чтобы в Великом Княжестве Литовском Елене создали все условия для ее свободного вероисповедания: «Да чтоб велел бы (Александр Ягеллон. — *А. М.*) нашей дочери поставить церковь нашего греческого закона на переходах у своего двора, у ее хором, чтоб ей близко было к церкви ходить, а нам бы его жалованье к нашей дочери приятно было слышать. Да скажите от нас епископу и панам вашей братье, всей Раде, да и сами поберегите, чтоб наш зять нашу дочь жаловал и между ними братство и любовь, и прочная дружба не порушились бы!»

Послы заверили великого князя, что волноваться не стоит, все будет так, как он того желает, ибо и сами они были заинтересованы в том, чтобы между Московским княжеством и ВКЛ «прочная дружба не порушилась», а дочь его чувствовала себя в замужестве так же спокойно, как и в родной семье. Тут же высказали пожелание, что хотели бы поскорее познакомиться с Еленой Ивановной. Иван III ответил, что ждать уже недолго.

Знакомство состоялось 13 января 1495 года в Успенском соборе по окончании обедни, на которой присутствовало все великокняжеское семейство, а также самые известные бояре. Великая княжна произвела на них большое впечатление. Они давно уже были наслышаны о красоте Елены. Оказалось, она была еще краше, чем думали. Завязался непринужденный разговор, во время которого княжна проявила себя и умной собеседницей. К удивлению послов, она уже кое-что знала о Великом Княжестве Литовском. Это, несомненно, свидетельствовало о том, что она уже как бы живет жизнью земель, которые вскоре станут для нее своими. Подобная осведомленность не просто обрадовала их, а убедила в том, что Елена Ивановна, став великой княгиней литовской, если создать ей соответствующие условия, сможет сделать многое ради процветания Великого Княжества Литовского.

Послы были осведомлены, что свадебный поезд уже подготовлен. Поэтому, побеседовав с великой княжной, загорелись желанием если не назавтра, то через день отправиться в дорогу. Однако не успели об этом сказать Ивану III, как тот перечеркнул их планы. «Как смотрите на то, чтобы еще погостить у меня?» — спросил Иван Васильевич у них.

Те начали переглядываться, поскольку оказались в неловком положении. Безусловно, они готовы были задержаться в Москве. Из уважения к великому князю, да и понимая, что тот окажет роскошный прием, и уже не единожды могли убедиться в том, насколько хорошо русские умеют угощать, а во время официальных приемов так и в самом деле происходит то, что попадает под определение «пир горой». Но вся закавыка в том, что и с отъездом нужно было спешить, ведь Александр Ягеллон и так уже заждался прибытия невесты. Однако, если отка-

жешься от приглашения, Иван III, чего доброго, обидится. Может предъявить какие-либо новые претензии, без учета которых отъезд свадебного поезда задержится. Притом на неопределенное время. Так что, видимо, нужно принять приглашение…

Великий князь московский расценил их молчание по-своему: «Значит, согласны?» — «Согласны», — последовал дружный ответ. «В таком случае приглашаю вас в Дорогомилово».

Почему бы не повеселиться

В Дорогомилово поехали вместе с Еленой Ивановной и великой княгиней Софьей. Там их уже ожидал брат великой княжны Василий. Отдыхали и развлекались два дня. Софья неотлучно находилась со всеми, а вот Иван III, поскольку у него хватало государственных дел, в Дорогомилово бывал наездами. Во второй раз приехал вместе с князем Семеном Раполовским, боярином Михайлом Русалка, дьяком Василием Кулешиным, казначеем Василием Жуковым, дворецким Дмитрием Пешковым и другими. Кроме того, их окружали более сорока известных жен и детей боярских. Все они входили в состав свадебного поезда, а теперь перед дорогой смогли ближе познакомиться с великокняжескими послами, что, конечно, пошло только на пользу. Все сблизились, а это немаловажно, поскольку до Вильно предстоял долгий путь.

Наконец Иван III назначил день отъезда. Предстоящая поездка никого не пугала, наоборот, она вызывала немало положительных эмоций, поскольку позволяла узнать неведомые края, встретиться с новыми людьми. Многие же, сопровождавшие великую княжну, далеко от Москвы никогда не отъезжали. Правда, у самой Елены настроение было двоякое. Несомненно, и радостное, но одновременно в чем-то и тревожное, вызывающее грустные мысли. Она же никогда Александра не видела. А что будет, если он ей не понравится? Если не сможет его полюбить? Да и может случиться так, что и она у великого князя литовского не вызовет симпатии. Значит, так и придется жить, не питая друг к другу любви, ожидая, что все стерпится-слюбится. А если не стерпится? Если не слюбится? Как быть тогда?

Правда, когда ее одолевали грустные мысли, княжна вспоминала пример своей матери. Вспомнила и теперь. Зоя Палеолог, отправляясь в Москву, также никогда до этого своего будущего мужа не видела. Точно так, как и она, Елена, ехала, по сути, в неизвестность, не зная, как сложится ее жизнь. Замужняя жизнь… А теперь не нарадуется, что сам Всевышний побеспокоился о том, чтобы муж у нее был не кто-нибудь, а Иван, которого она полюбила и без которого не представляет своей жизни. Поэтому, подумала княжна, нечего заранее печалиться. Надо жить с уверенностью, что все будет хорошо.

На дорогу… «память»

Иван III пожелал всем счастливой дороги, подошел к дочери, обнял ее и преподнес подарок. «Память великой княжне Елене», — прочитала княжна.

Это была своего рода памятка о том, как должна вести себя княжна, правильнее, уже великая княгиня литовская в ВКЛ, чтобы не менять свою православную веру, но и чужую веру уважать: «В божницу латинскую не ходить, а ходить в греческую церковь: из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский, но только однажды или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильно и прикажет тебе идти с собою в божницу, то проводи ее до дверей и скажи учтиво, что идешь в свою церковь».

Давал Иван III своей старшей дочери и иные дельные советы, которые могли помочь ей в повседневной жизни в Великом Княжестве Литовском. Указывал отец Елене, в каких церквях она может молиться. Советовал, с кем ей следует встречаться, а с кем, к примеру, обедать. Не обошел великий князь московский вниманием и некоторые моменты поездки. В частности, говорил о том, во что лучше одеваться в дороге. Отдельно было сказано о том, как дочь должна вести себя при встрече с Александром. Ей следовало заранее одеться по-праздничному. Когда же великий князь литовский направится навстречу, нужно, выйдя из экипажа, бить ему челом. Подаст руку — не забыть, не мешкая, ответить взаимностью. После чего идти вместе с ним под руку. Однако, как предупреждал отец Елену, для продолжения поездки ни в коем случае нельзя садиться в его экипаж. Исключение возможно только в том случае, если в экипаже Александра Ягеллона будет находиться его мать, великая княгиня Эльжбета.

Перед отправлением свадебного поезда Иван III еще раз переговорил с князем Раполовским, хотя тот и так уже получил от него указания. Однако посчитал, что не будет лишним напомнить о том, что венчание княжны должно происходить только в православной церкви. Особо подчеркнул, что на Елене в этот торжественный момент обязательно должна быть только русская одежда, напоминающая о том, откуда она сама и откуда ее род.

Само собой разумеется, подготовил своей дочери богатое приданое. Его было так много, что оно заняло множество повозок, входящих в состав свадебного поезда. Трудно даже перечислить, что входило в состав приданого. Среди прочего оно включало в себя «20 сороков соболей да 20 000 белки, да 2000 горностаев», различные ткани — «шелковые рухляди», «бархаты венедицкие», «бархаты бурские», камку, тафту, «розные шелки», многочисленные драгоценности, среди которых «чепь золота», «запанка золота с яхонты и с лальски зерны новгородские».

И вот последние прощания, пожелания счастливой дороги, объятия, поцелуи, слезы на глазах у многих отъезжающих и провожающих, после чего свадебный поезд медленно тронулся в путь, чтобы после того, как немного отъедет, войти в свой привычный ритм продвижения, который в дальнейшем выдерживался, если того позволяла дорога да и погодные условия.

Пугающая неизвестность

Дорога же эта из Москвы в Вильно тяжело далась великой княжне. Однако не столько неблизкий путь пугал Елену, сколько неизвестность.

В ее экипаже имелось небольшое оконце. Двери же во время поездки плотно закрывались. Дышать было тяжело еще и потому, что внутри экипаж был сильно утеплен. Да еще и снаружи обит медвежьими шкурами. Конечно, все делалось с самими благими намерениями. И результат был налицо. Даже самый сильный мороз не проникал. Но так хотелось свежего воздуха! Поэтому, если останавливались среди леса, княжна старалась быстрее выйти из экипажа, чтобы насладиться запахом, идущим от сосен и елей. А еще ее прямо-таки дурманил запах можжевельника, действующий до того освежающе, что, казалось, нет больше ничего столь живительного, поднимающего настроение.

Елена молила Бога, чтобы быстрее окончилась эта дорога, которой, казалось, не будет конца. Когда снова трогались в путь, подолгу вглядывалась в окошко, словно могла увидеть за ним то, что не смогли заметить все, кто находился в карете рядом с ней, а это были княгиня Марья Раполовская и мамка княжны, бывшая у нее с самого детства вместе со своей дочкой. С ними Елена и вела разговоры. А иногда ей хотелось помолчать, предаться своим мыслям, рассматривая то, что виделось за окошком. А пейзажи за ним были однообразные: то ли лес, то ли

бескрайняя снежная равнина, по которой экипажи, ехавшие впереди, успевали проторить колею.

Но вот скоро и Вильно. Путешествие заняло месяц: было уже 15 февраля. На короткой остановке сообщили, что им навстречу со своей свитой едет великий князь литовский Александр. Вскоре экипаж остановился. Через окошко Елена заметила, что на дороге, ведущей к ее экипажу, стелют красное сукно. Только подумала, что делают это ради ее встречи, как услышала голос Раполовской: «Выходи, княжна!»

Через дверь кареты, которую княгиня Марья открыла, она увидела, что Александр верхом на лошади уже был у края ковровой дорожки, ведущей к ее экипажу. Было видно, что он с нетерпением ожидает, когда же выйдет она, его невеста. Как во сне, Елена сделала первый шаг... Александр, увидев княжну, легко, по-молодецки соскочил со своего коня и пошел ей навстречу...

Нашли компромисс

Свадебный поезд прибыл к Пречистенской церкви, где их встретили наместник Виленской митрополии, троицкий архимандрит Макарий с черным и белым духовенством. Она и до этого знала, чем это духовенство отличается между собой. Однако только теперь увидела так много представителей каждого. Черное духовенство сочетает монашество с саном священника и дает обет безбрачия и полного послушания. Белое же духовенство, обслуживающее приход, храмы, — женатые священники. Сразу же обговорили, как будет проходить свадьба. Безусловно, так, как того и хотела — с сохранением русских обычаев, а они, конечно же, православные.

К сожалению, вскоре возникло недоразумение. Узнав об этом, бискуп Войтех Табор, да и сам жених, высказали возражение. Хотя больше это касалось как самого Табора, так и католического духовенства. Они выступили против того, чтобы русский обычай был сохранен и в соборе, чего требовали русский священник Фома, приехавший вместе с невестой, и Раполовская. Заверения в том, что перед отправкой в Вильно свадебного поезда на этом настаивал сам великий князь московский, ничего не дали. Бискуп Войтех и слушать не хотел, чтобы в соборе Фома читал молитву, а княгиня Марья держала венец.

Ситуацию спас великий князь литовский Александр Ягеллон. Он понял, что, пойдя путем примирения, покажет не слабость свою, а умение идти на компромиссы, если без них не обойтись. Поэтому службу правили вместе Войтех и Фома. В основном же обряд был выдержан в русских православных традициях. Раполовская держала над Еленой Ивановной венец, а один из сопровождающих — сосуд с вином. Все проходило так, чему Елена была свидетельницей много раз, когда венчание проводилось в Москве.

В чем-то разменная монета

Непримиримые, а к ним относились и бискуп Табор, и брат Александра кардинал Фридрих, особенно ополчились на нее после того, как Папа Римский Юлий II пошел на то, чтобы благословить брак Александра Ягеллона с православной женой. Не менее важно было и то, что он разрешил королю не требовать от Елены Ивановны перехода в католичество. Впрочем, это было то, на чем настаивал и великий князь московский, отдавая свою дочь замуж. Правда, хоть и с большим опозданием, восторжествовала, что, конечно, не могло не благоприятствовать возрастанию авторитета великой княгини.

Однако всегда были люди, которым, что бы ни происходило, всегда неймется. По их убеждениям, только одни они правы. Так было и в этом случае. Уже нашлись желающие обвинять и самого Папу Римского в том, что он идет на поводу у короля, а тот, в свою очередь, шагу не может ступить без своей жены. Бискуп Войтех дня не мог прожить, чтобы ей как-нибудь не досадить. Добившись для себя права светского меча (jus gladii), он оправдывал себя. Это право заключалось в том, что мог, особо не задумываясь, вести борьбу с иноверцами в своей епархии, невзирая на то, на какой ступени социальной лестницы они находились. Но великой княгине ко всему этому было не привыкать. Активизировали свою деятельность и бернардинцы. Александр Ягеллон, когда занял великокняжеский престол, поддержал их, построив для них женских монастырь. Вот они и возомнили, что могут заставить Елену Ивановну принять их веру.

Она обижалась на тех, кто в своей ненависти не знал предела. Дошло до того, что Войтех, Фридрих и представители бернардинцев могли все вместе появиться в покоях великой княгини, требуя от нее отказаться от православия, в противном случае устрашали самым суровым наказанием.

Убедившись, что их угрозам Елена Ивановна не поддается, они вспомнили о Флорентийской унии, подписанной 5 июля 1439 года, которая касалась объединения под властью Папы Римского вселенских католических и православных церквей. Православная церковь должна была признать католические догматы — и схождение Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына и другие. Но сохранялись обрядности и богослужение на греческом, церковнославянском и других языках. За белым духовенством оставалось право брака, а все верующие могли причащаться вином.

Однако в ВКЛ это не было принято. Флорентийскую унию игнорировало не только православное духовенство, но и католическая иерархия, как Княжества, так и Короны. Правда, после восстановления в Великом Княжестве Литовском отдельной от Москвы и с кафедрой в Новогрудке Киевской митрополии она поддерживалась отцом Александра Ягеллона великим князем литовским Казимиром IV, который назначил киевским митрополитом приверженца Флорентийской унии Григория Болгарина. Он так и не сумел ввести эту унию в Княжестве, поэтому и отказался от возложенных на него обязанностей.

Когда же Болгарин стал смоленским епископом, Войтех Табор и другие пообещали ему сан митрополита, если он уговорит великую княгиню литовскую признать власть Папы Римского. К удивлению Елены Ивановны, ее муж в этой ситуации занял странную позицию, заявив, что это делается без его ведома. Да еще стал упрекать жену в том, что Московское княжество начинает вмешиваться в дела ВКЛ. Впрочем, обе стороны — великокняжеская и московская — предъявляли претензии друг к другу с завидным постоянством. Ивану III, конечно, было неприятно, что для его дочери не только не созданы все условия, чтобы она могла свободно исповедовать православную веру, так ей еще и постоянно угрожают. Не нравилось великому князю московскому и то, что Александр Ягеллон не хочет называть его государем всея Руси.

Для Елены Ивановны было обидным то, что она и для отца, и для мужа стала как бы своего рода разменной монетой. Отец просил ее, чтобы она уговорила мужа проводить политику, более приемлемую для Московского княжества. Муж умолял ее сделать так, чтобы отец переговорил с крымским ханом Менгли-Гиреем, угрожавшим целостности ВКЛ. Тем более что это было сделать не так и сложно, поскольку Иван III находился с ним в дружественных отношениях. Конечно же, и отец, и муж хотели, чтобы об этом никто ничего не знал. В секретности зятя все же превзошел тесть. Великий князь московский, чтобы достигнуть как можно большей секретности, посылал свои письма дочери через одного подьячего.

Но как ни старалась Елена Ивановна варьировать межу отцом и мужем, выполняя просьбы то одного, то другого, конечно же, далеко не все зависело от

нее. Не надо забывать, что она прежде всего была женщиной. И ее благие намерения не всегда давали нужный результат. Так, отец не только не отговорил крымского хана не воевать с ВКЛ, но, получив его поддержку, в 1500 году собрался выступить против Княжества, объяснив это тем, что возмущен преследованием Александром Ягеллоном православных и невыполнением обещаний, данных перед женитьбой.

Великий князь литовский попытался оправдаться, что все не так, как кажется Ивану III, для чего прислал к нему смоленского воеводу Станислава Кишку с посланием: «Мы поудержались писать тебя великим князем всея Руси, потому что по заключении мира тотчас же начались нам от тебя обиды большие; ты нам объявил, что обиды прекратятся, когда мы напишем твое имя как следует, и вот мы его теперь написали сполна… Великую княгиню нашу к римскому закону не принуждаем и дивимся тому, что ты веришь больше лихим людям, которые, забывши честь и души свои и наше жалованье, изменили нам и убежали к тебе… Что же касается церкви, которую надобно построить на сенях, для панов и паней греческого закона, то об этом между нами и речи не было, мы об этом ничего не знаем; паны наши, которые были у тебя, нам об этом ничего не сказали».

У великого князя московского были свои претензии к великому князю литовскому: «Мы к брату своему Александру не об одном нашем имени приказывали, а теперь он только одно наше имя в своей грамоте как следует окончательно написал. Говорит, что никого не принуждает к римскому закону! Сколько велел поставить римских божниц в русских городах, в Полоцке и в других местах? Жен от мужей и детей от отцов с имением отнимают да сами крестят в римский закон; так-то зять наш не принуждает Русь к римскому закону? О князе же Семене Бельском известно, что он приехал к нам служить, не желая быть отступником от греческого закона и не хотя своей головы потерять; так какая же его тут измена?»

У истоков эпистолярного жанра

Однако эти взаимные упреки и оправдания уже ничего изменить не могли. Молох войны был занесен. 14 июля 1500 года русские на речке Ведрошь разгромили войско Великого Княжества Литовского. Гетман Константин Острожский и многие воеводы попали в плен. На других участках противостояния ситуация оказалась также не в пользу Александра Ягеллона. В том, что случилось, едва не открыто стали обвинять Елену Ивановну. Мол, показывая себя преданной Княжеству, пускает пыль в глаза, а сама плетет интриги. И, мол, эту войну великий князь московский начал только после того, как посоветовался с ней, своей дочерью.

Хотелось обратиться в это тяжелое время не только для ВКЛ, но и для нее лично, к отцу. Попросить его, чтобы вел себя осмотрительно. Однако сделала она это только после того, как 12 декабря 1501 года муж был коронован. Ее снова стали убеждать принять католическую веру, но, как и обычно, сказала категорично: нет! Отказалась и короноваться на Королевство Польское. В Краков выехала только 4 февраля 1502 года. Но об этом в письме — ни слова. Все спокойно, рассудительно. Даже желаемое иногда подавала как реальное: «Господин и государь батюшка! Вспомни, что служебница и девка твоя, а отдал ты меня за такого же брата своего, каков ты сам; знаешь, что ты ему за мною дал и что я ему с собой принесла; но государь, муж мой, нисколько на это не жалуясь, взял меня от тебя с доброю волею и держал меня во все это время в чести и жаловании и в той любви, какую добрый муж обязан оказывать подружии, половине своей. Свободно держу я веру христианскую греческого обычая:

по церквям святым хожу, священников, дьяконов, певцов на своем дворе имею, литургию и всякую иную службу Божью совершают передо мною везде, и в Литовской земле, и в Короне Польской».

С болью в сердце призывала к разуму: «Смилуйся, возьми по-старому любовь и дружбу с братом и зятем своим! Если же… прочною дружбою с моим государем не свяжешься, тогда уже сама уразумею, что держишь гнев не на него, а на меня, не хочешь, чтоб я была в любви у мужа, в чести у братьев его, в милости у свекрови и чтоб подданные наши мне служили. Вся вселенная ни на кого другого, только на меня вопиет, что кровопролитие сталость от моего в Литву прихода, будто я к тебе пишу, привожу тебя на войну: если бы, говорят, она хотела, то никогда бы такого лиха не было; мило отцу дитя, какой на свете отец враг детям своим!»

Елена Ивановна, кстати, поддерживала самую тесную связь с близкими, регулярно переписываясь. Слала также письма матери, братьям, прежде всего, будущему великому князю московскому Василию Ивановичу, а иногда и католическим бискупам. Это дает основание некоторым историкам считать ее первой женщиной-писательницей Великого Княжества Литовского. Правда, некоторые из этих писем могли быть ею продиктованы или только подписаны, однако факт остается фактом: великая княгиня Елена Ивановна стояла у истоков эпистолярного жанра женщин ВКЛ.

Советчица отцу

Наиболее интересна ее переписка с отцом. Из нее видно, что Елена не только требовала от него защиты от тех, кто пытался не выполнять условий брачного договора, но и сама давала дельные советы, особенно тогда, когда Иван III задумался о будущем своих сыновей: «Сын мой Василий и дети мои Юрий и Дмитрий, твои братья, уже до того доросли, что их следует женить, и я хочу их женить, где будет пригоже». «Пригоже», как считал он, в зарубежье: «Так ты бы, дочка, разузнала, у каких государей греческого закона или римского закона будут дочери, нам которых было бы пригоже моего сына Василия женить?»

Елена Ивановна со всей серьезностью отнеслась к этой просьбе отца, о результатах такой поисковой работы и сообщила ему: «Разведывала я про детей деспота сербского, но ничего не могла допытаться. У маркграфа бранденбургского, говорят, пять дочерей: большая осьмнадцати лет, хрома, нехороша. Есть дочери у баварского князя, каких лет не знают, матери у них нет. У стетинского князя есть дочери, слава про мать и про них добра. У французского короля сестра, обручена была за Альбрехта, короля польского, собою хороша, да хрома и теперь на себя чепец положила, пошла в монастырь. У датского короля его милость батюшка лучше меня знает, что дочь есть…» Иван III, правда, хотел большей конкретики, поэтому и попросил дочь разузнать об этих невестах более подробно. Он был не прочь, чтобы Елена поинтересовалась и другими знатными особами, которым время выходить замуж. Ответ не заставил себя долго ждать, но он был не такой, какой хотелось получить Ивану Васильевичу: «Что ты мне говоришь, как мне посылать? Если бы отец мой был с королем в мире, то я послала бы. Отец мой лучше меня сам может разведать. За такого великого государя кто бы не захотел выдать дочь? Да у них, в Латыни, так крепко, что без папина ведома никак не отдадут в греческий закон. Нас укоряют беспрестанно, зовут нас нехристями. Ты государю моему скажи: если пошлет к маркграфу, то велел бы от старой королевы (имела в виду свою свекровь. — *А. М.*) таиться, потому что она больше всех греческий закон укоряет».

Создала дворец великих княжон

С именем Елены Ивановны связано и такое замечательное начинание, как формирование в Вильно дворца великих княжон. Именно благодаря ей женщины ВКЛ начали принимать активное участие в общественной, политической жизни. Более ста человек, среди которых особая роль принадлежала маршалку, канцлеру, писцам и другим чиновникам, занимавшим различные должности, обеспечивали деятельность этого дворца, способствовали проведению различных церемоний и других мероприятий. В резиденции правителей Великого Княжества Литовского постепенно появился даже отдельный корпус, который стали называть женской частью. Был отведен специальный зал, в котором Елена Ивановна принимала зарубежных посланников, а в своей канцелярии великая княгиня литовская вела политическую и хозяйственную документацию. Не забывала она и тех, кто в этом дворце находился у нее на службе. Предоставляла им земли, благо Александр Ягеллон отписал на нее более 20 владений, щедро одаривала подарками, используя для этого и то, что подарил отец.

После коронации Александр стал вести себя так, словно у него с женой не было до этого никаких разногласий. Видимо, сказалось то, что льстило его самолюбию: если человек находится у власти, то ему этой власти хочется все больше и больше. А какой великий князь литовский не мечтал быть и королем польским? Или наоборот. Вместе с женой он объехал польские земли. Тем самым засвидетельствовав, что Елена Ивановна, несмотря на то, что она православная и не желает короноваться, фактически стала королевой Польши. К ранее подаренным ей землям добавил новые.

Так поступил и в следующем 1503 году. Земли отдавались ей в полное распоряжение, а города — пожизненно.

Мир, омраченный смертью

Елена Ивановна часто наведывалась в свои города. Побывала и в Менске, оказав материальную помощь Вознесенскому монастырю и подарив ему имение Тростенец. Помогала и другим православным церквям и монастырям. А еще очень старалась, чтобы Московское княжество и Великое Княжество Литовское, а теперь и Королевство Польское, жили в дружбе и согласии. Неоднократно убеждала отца, чтобы и он этому постоянно способствовал. Правда, великий князь московский продолжал утверждать, что в натянутости отношений вина Александра Ягеллона.

Тот, узнав об этом, отвечал тестю: «…ты завладел многими городами и волостями, издавна литовскими; что пересылаешься с нашими недругами, султаном турецким, господарем молдавским и ханом крымским, а доселе не промирил меня с ними вопреки нашему условию иметь одних друзей и неприятелей; что русские, невзирая на мир, всегда обижают литовцев. Если действительно желаешь братства между нами, то возврати мое и с убытками, запрети обиды и докажи тем свою искренность: союзники твои, увидев оную, перестанут мне злодействовать».

Перемирие между Московским княжеством и Великим Княжеством Литовским, рассчитанное на шесть лет (с 25 марта 1503 года по 25 марта 1509-го) все же было подписано. Конечно же, это произошло в немалой степени и благодаря великой княгине литовской Елене Ивановне. Она по просьбе кардинала Фридриха и бискупов добилась того, чтобы в Москву съездило литовское посольство во главе с канцлером Иваном Сапегой. Но перемирие дорого обошлось ВКЛ. К Москве отошло 25 городов (по другим сведениям — 19). Но это был долго-

жданный мир! Да авторитет после всего у Елены Ивановны в Княжестве и Короне значительно вырос, что также было очень важно.

Но радость от заключения перемирия вскоре была омрачена: 27 октября 1505 года не стало великого князя московского и всея Руси Ивана III. Горькая весть о смерти отца, которую принесли гонцы из Москвы, не то чтобы застала ее врасплох. На все воля Божья. Но как любящая дочь, она жила надежной, что близкий ей человек еще сможет порадоваться жизни, что Всевышний позовет его к себе еще нескоро.

На другой же день в Пречистенской церкви состоялось его отпевание.

Со смертью отца черная полоса в жизни Елены не закончилась. Кардинал Войтех Табор сообщил ей, что с Александром Ягеллоном случился удар.

Елена Ивановна решила ехать в Краков.

В Краков, быстрее в Краков…

Осень была дождливая. Из-за частых, непрекращающихся несколько дней дождей дороги сильно размыло. Нельзя было забывать и о том, что дни стали короче. Следовательно, нужно было за короткий отрезок времени преодолеть как можно больший отрезок пути.

К счастью, до Кракова добрались без особых сложностей. И это несмотря на то, что в некоторых низменных местах дорогу так подтопило, что лошади и кареты продвигались по воде. Приходилось молить Всевышнего, чтобы под водой не оказалась какая-либо глубокая яма, которая станет для экипажа настоящей западней и в которой кони могут сломать ноги. Возникали и проблемы с ночевкой. После такого тяжелого пути неплохо немного отдохнуть, но постоялые дворы были не везде. Не всегда встречались по пути и корчмы, где люди, сопровождающие великую княгиню, могли хотя бы немного расслабиться.

Иногда на ночь останавливались в курных крестьянских избах. Но Елена Ивановна ко всем таким неудобствам относилась удивительно спокойно. Не они волновали ее, а то, как чувствует себя любимый муж. О нем она думала постоянно.

Однако, как известно, у любой дороги, какой бы она длинной ни была, есть не только начало, но и завершение. Сердце Елены Ивановны учащенно забилось, когда подъезжали к Кракову. На знакомые пейзажи, которые ей приходилось видеть неоднократно — хотя появление ее в Польше и вызывало негодование недоброжелателей, — бывала в столице Короны много раз, посмотрела иначе, чем доселе. Окинула их хозяйским, что ли, взглядом. Подумала, что как бы там к ней ни относились, но она все же хозяйка этой страны, ибо хозяин Польши — ее муж, король Александр. И теперь главное, чтобы он выздоровел, чтобы и дальше мог оставаться хозяином Польши и любящим мужем ее, великой княгини.

Чем ближе подъезжали к Кракову, тем неспокойнее становилось на сердце у Елены Ивановны. Конечно, от волнения за судьбу мужа, которое теперь еще больше усилилось. Но не только от этого. Как же мучительно медленно давались последние версты! Понимала, что это только кажется ей. Замечала, что всадники даже подгоняют своих лошадей. Чтобы хоть немного успокоиться, закрыла глаза. Показалось, что так, словно оторвавшись от действительности, легче переносить нетерпение быстрее увидеть мужа.

Остальное было будто во сне. Нет, она все помнила, всему отдавала отчет. Помнила, как приблизились к королевскому дворцу. По истечении же некоторого времени все это забылось, исчезло, куда-то провалилось, будто и не было

его. Осталось в памяти — на всю жизнь осталось, как увидела своего Александра, находящегося у края мраморной лестницы королевского дворца. Он стоял у перил, немного облокотившись на них правой рукой, — обслуга успела сообщить ему о прибытии жены. Даже мимолетного взгляда хватило ей, чтобы убедится в том, что муж не случайно как бы ищет опору: ему трудно стоять.



Александр Ягеллон.

Место солдата в бою, однако…

С наступлением нового года умерла мать Александра Ягеллона Эльжбета. Смерть королевы-матери огорчила и Елену Ивановну.

После похорон матери король заявил жене:

— Больше мне в Кракове делать нечего.

— Не понимаю… — искренне призналась Елена Ивановна.

— Едем в Вильно,. — Александр немного помолчал. — Умирать...

— Не умирать в Вильно поедем, а лечиться, — заплакала великая княгиня.

— Ты считаешь, что там врачи лучше?..

— Как врачи, не знаю, а народные лекари тебя поставят на ноги.

Не ошиблась Елена Ивановна. Разные травы, снадобья, настойки, которые предлагали те, кого великая княгиня пригласила лечить мужа, немного улучшили его состояние. Правда, левая рука по-прежнему не слушалась, но мог, хотя и прихрамывая, ходить. Если бы сложились благоприятные условия, можно было бы рассчитывать и на лучшие результаты. Однако по весне не до лечения стало: голову опять подняли татары. Взяв Клецк, они пошли на Лиду. Польские полки, а также подразделения наемников — датчан и немцев — заявили, что в бой пойдут только тогда, когда рядом с ними будет находиться король. Об этом сообщил, спешно прибыв в Вильно, командующий князь Михаил Глинский.

— Еду! — решительно заявил Александр Ягеллон.

— Подумай о своем здоровье, — взмолилась Елена Ивановна.

— Я — солдат! — с той же решимостью продолжил он.

Возразить было нечего.

— Тогда и я с тобой, — сказала она.

— Воевать будешь?

— Тебя беречь.

В Лиду прибыли в течение дня. Утомленные лошади едва держались на ногах. Едва на ногах держался и великий князь литовский и король польский Александр Ягеллон, когда, поддерживаемый по руку женой, направлялся на ночевку в замок. Ночью ему стало совсем плохо, силы оставляли его буквально на глазах. Поэтому под утро собрал воевод, панов, чтобы объявить, кто станет его преемником.

Занять освободившийся престол был не против родной брат Елены Василий Иванович. Он даже обратился к сестре с тайным посланием, в котором просил сестру сделать все возможное для того, чтобы его избрали королем Польши. Поскольку, несмотря на все разногласия, союз Великого Княжества Литовского и Польши существовал, то резонно, думал он, если к этому союзу присоединится и Московское княжество. Точнее, оно объединит вокруг себя земли ВКЛ и Короны. Такая перспектива, конечно, мало радовала великокняжеские и польские верхи. Но самым страшным для них было то, что у руля власти окажется еще один «схизматик».

Александр же назвал своим преемником Сигизмунда Ягеллона, который вошел в историю как Сигизмунд I Старый. Такое прозвище он получил из-за того, что еще при жизни добился коронации своего малого сына Сигизмунда, ставшего Сигизмундом II Августом. Сигизмунд I был младшим братом мужа Елены Ивановны. Казалось бы, это должно пойти ей только на пользу, поскольку кандидатуру Сигизмунда она поддержала. Правда, исходила при этом не только из собственных убеждений. Таким было и завещание ее мужа. Одновременно новый король получал над Еленой Ивановной опеку.

Не только голь на выдумку хитра

Не оставалось сомнений, что Александра нужно срочно отправлять в Вильно. Что и было сделано. Однако не успели отъехать от Лиды, как у него отняло речь. Не в последнюю очередь потому, что не нашлось хорошего экипажа и пришлось пользоваться безрессорной каретой. Езда же в таком состоянии, в котором находился великий князь литовский и польский король, была смерти подобна. Поэтому и случилось то, что случилось. Возник вопрос, как быть дальше.

Не зря говорят в народе: голь на выдумку хитра. А поскольку Елена Ивановна к «голи» не принадлежала, то владела еще большей смекалкой, чем простолюдины. Она предложила вести мужа в… гамаке, который сделали из шатровой ткани. Этот гамак привязали к седлам двух лошадей, идущих параллельно друг к другу, в него осторожно положили Александра. Этих лошадей за оброть вели солдаты. Сама же великая княгиня ехала рядом в седле.

Но на второй день от гамака пришлось отказаться. Лошадей невозможно было заставить идти в такт. Гамак, пусть себе и слегка, раскачивался, и это причиняло больному страдания, он морщился, великая княгиня видела, что муж как бы умоляет как-нибудь прекратить эти мучения. Тогда она приказала, чтобы мужа солдаты несли на носилках. Сама также сошла с коня, шла рядом…

До Вильно добирались четыре дня. Подумалось: если бы еще день, то не выдержала бы подобного испытания. Но потом ужаснулась такой мысли. О себе думаю, а каково моему мужу? Губы посинели, язык распух, но живет, не сдается.

Проводила день за днем более месяца у постели больного в его опочивальне в замке. Много о чем переговорили! Конечно, больше говорила она, а он слушал. Доходили ее слова до него, со всей категоричностью сказать не могла. Но в одно верила: в то, что и он, несмотря на такое тяжелое положение, понимает ее. Пусть до него доходит и не весь смысл сказанного. Главное же — это ее любовь к нему и его любовь к ней. Любовь, которая украсила их жизнь, придав силы и уверенности. Они шли навстречу друг другу сначала не сами, их, по сути, вели другие люди. Прежде всего ее отец Иван Васильевич. Но поддавшись этому позыву, они незаметно вышли на правильный путь, впоследствии ставший их общей жизненной дорогой.

Не стало мужа, не стало покоя

Умер Александр Ягеллон 19 августа 1506 года. Всевышним Елене Ивановне было отведено прожить еще семь лет, а весь ее жизненный путь вместился в неполные тридцать семь. Что стало причиной ее смерти, неизвестно. Вроде бы и здоровье не подводило. Состояние было такое, какое обычно бывает у человека довольно еще молодого возраста. Конечно, случалось болеть, но это ведь обычное явление, бывает со всеми. Длительного недомогания никогда с ней не случалось. Только однажды, вскоре после того как вышла замуж, простыв, провела несколько дней в постели. В последнее же время, если что и беспокоило, так горестное настроение, особенно дающее о себе знать после смерти мужа. Все больше убеждалась в том, что в Великом Княжестве Литовском она, по сути, никому была больше не нужна.

И при жизни Александра нередко чувствовала на себе косые взгляды. Как говорится, было не без этого. Находились и те, кто, нисколько не боясь абсурдности такого обвинения, могли прошипеть ей вслед, что, мол, является московской шпионкой, однако никакой управы на нее нет, ибо уверенность в безнаказанности ей дает попустительство мужа. А король, находясь под ее влиянием, никаких мер не принимает, да и принимать не желает.

Подобные обвинения, безусловно, могли позволить себе далеко не все, а только те, кто, имея вес при королевском дворе, чувствовали свою уверенность и силу. Они не боялись не только Елены Ивановны, но и самого Александра Ягеллона. Остальные же недоброжелатели, тая в душе на нее злобу, вынуждены были молчать. Это молчание являлось следствием того, что они опасались гнева короля, а то и его расправы, ибо он был уже далеко не тот, каким был по ее приезде из Москвы. Тогда вынужден был согласовывать с окружением едва не каждый свой шаг, а ко всему, всегда оглядываться на Ватикан. Теперь уже Александр чувствовал свою силу, был уверен в себе как государь, сумевший многого достигнуть. Это, безусловно, было ей только на руку. Елена Ивановна тогда убеждалась, что хотя по-прежнему находится немало тех, кто считает ее чужой, но для многих она здесь уже не чужая. Особенно в Княжестве, где ее авторитет был большим. Но и в Короне, где православных многие просто не терпели, все больше находилось тех, кто относился к ней с сочувствием.

Непримиримым недоброжелателям великой княгини это не нравилось. Они начали искать нечто такое, что, по их мнению, должно было бы полностью уничтожить Елену Ивановну. А кто ищет... Правильно, тот находит. Нашли «компромат» в ее семейных отношениях. Мол, не случайно Александр никак не мог дождаться наследника. Жена хотя и красивая, но совсем не интересует его как женщина. Поэтому король погряз в пьянстве.

Если смотреть правде в глаза, то Александр в этом был не безгрешен. Мог пропустить чарку-другую, но обычно это делал только после охоты, которую очень любил. Никогда трезвенником не был и во время застолий, которые налаживались во время праздников, по случаю прибытия гостей и во время других мероприятий. Но чтобы не уделять должного внимания своей красавице жене?! Такого за ним никогда не наблюдалось. Да и если бы она пожаловалась отцу на невнимание к себе со стороны мужа, легко представить себе, какое негодование это вызвало бы у Ивана III. В таком отношении к дочери великий князь московский увидел бы оскорбление не только ее, но и всей своей семьи. Если бы все это было в реальности, то появилось бы негодование и у католических верхов. Костел немедленно потребовал бы расторжения такого неблагополучного брака.

Ничего подобного не наблюдалось. Однако эти домыслы всплыли через много лет, когда некоторые польские историки вдруг начали это муссировать. Цель понятна: очернить и саму Елену Ивановну, и ее мужа, который не нашел

ничего лучшего, как жениться на «схизматичке». Одновременно и желание бросить камень в православную веру, которую великая княгиня всегда ревностно защищала.

Когда мужа не стало, не стало и ей покоя.

В те времена, кстати, как и в предыдущие, да и последующие, родственные связи в высших эшелонах власти не всегда играли положительную роль. Наоборот, иногда это даже усложняло отношения. Те, кто приходил к власти, старался любыми способами отмежеваться о тех, кто доселе находился при этой власти. Отношения Елены Ивановны и Сигизмунда I также постепенно ухудшались.

Но нужно отдать Сигизмунду должное, все-таки он не забыл о том, что во многом и благодаря братине занял великокняжеский престол, подарил ей Бельск с Суражем и Брянск. Это позволило ей заниматься хозяйственной деятельностью, что, несомненно, способствовало улучшению ее финансового положения. Благодарна она была Сигизмунду и за то, что он не препятствовал на ее землях дальнейшему распространению православия. Она построила в Браславле женский монастырь.

Однако Сигизмунд, опекая Елену Ивановну, только делал вид, что желает ей благополучия. Просто он должен был мириться с присутствием вдовы брата. Истинное отношение его к Елене Ивановне стало известно после того, когда она умерла. Он, не скрывая своей радости, писал краковскому бискупу: после этого у государства нашего уменьшилось забот.

От обвинений к действию

Великий князь московский Василий III, хотя и обиделся на сестру за то, что она не помогла ему занять престол, о родственных отношениях не забывал. Да и был благодарен ей за то, что не изменила православию. Кроме того, напомнил послам Сигизмунда I, чтобы не принуждали ее к переходу в католичество. В одном же из своих обращений к ней писал: «А ты бы, сестра, и теперь помнила Бога и свою душу, отца нашего и матери наказ, от Бога душою не отпала бы, от отца и матери в неблагословеньи не была бы и нашему православному закону укоризны не принесла».

По сути, это то же самое, что заявил в 1503 году Иван III, подписывая мирный договор с послами Великого Княжества Литовского, который раз напоминая о том, чтобы Александр Ягеллон не смел требовать от своей жены перехода в его веру: «А начнет брат наш дочь нашу принуждать к римскому закону, то пусть знает, что мы ему этого не спустим, — будем за это стоять, сколько нам Бог пособит».

Все шло к тому, что военные действия между двумя государствами могли возобновиться. Это стало особенно очевидным после того, как в 1509 году истек срок шестилетнего перемирия. Война, однако, началась только через три года, а инициатива развязывания боевых действий принадлежала московской стороне. Конечно, великий князь московский Василий Иванович в свои планы сестру не посвящал. Не женское это дело — воевать. Тем паче что теперь Елена Ивановна никак не могла повлиять на Сигизмунда. Да и великому князю московскому было не о чем с ним договариваться. Давно решил воевать с Великим Княжеством Литовским, только ожидал удобного случая начать войну.

Но хотя Елена Ивановна и находилась, как говорится, сбоку припека, и на этот раз нашлись в Княжестве люди, которые стали обвинять ее в несуществующих грехах. Обвинения были прежними, ничего нового в них не присутствовало. Разве что отсутствовало то, что Сигизмунд подпал под ее влияние. Абсурдность подобного обвинения была настолько очевидной, что до этого не могли додумать-

ся даже самые заклятые враги великой княгини. Зато они додумались до того, чтобы убрать ее.

Как это происходило, история умалчивает. Но очень похоже на то, что это была насильственная смерть. Между прочим, еще в письмах к отцу, когда требовалось ее посредничество для заключения мира, она не отрицала того, что после смерти его в отношении ее может быть проявлено насилие. Значит, предчувствовала этого. Но до поры до времени такие опасения были напрасными. Однако после смерти Ивана III, а потом и мужа, это стало реальностью.

Чтобы упредить трагический исход, великая княгиня где-то в 1511 году решила вернуться на родину. Конечно, об истинной причине своего отъезда не говорила. Тем более что были и другие веские причины. В Москве проживала ее родня, многие люди, близкие ей еще со времен детства и юности. В письмах же брату она не единожды жаловалась на то, что ее владения отбирают литовские паны. Поскольку они мало следят за ними, то земли опустошаются.

Правда, взять и просто так уехать она не могла. Для этого нужно было получить разрешение Сигизмунда. Он, пожалуй, такое разрешение дал бы, если бы не сказывались неблагоприятные обстоятельства. Прежде всего, это заключалось в том, что отношения с Московским княжеством были как никогда плохие. Проблемы возникали и с вывозом имущества великой княгини. Поэтому король и медлил с принятием окончательного решения. Но сама Елена Ивановна медлить не могла, да и не хотела. Выход она нашла в том, чтобы оставить ВКЛ без разрешения Сигизмунда.

Чтобы не вызвать подозрения о своих истинных намерениях, решила посетить те свои владения, которые находились вблизи границы с Московским княжеством. Перед этим вышла на своего брата, чтобы тот выслал для встречи ее специальный отряд. С московским посольством было оговорено и место встречи — город Браславль. Туда должен быть прибыть и специальный отряд с князьями Курбским и Одоевским. Но хотя вся подготовка велась в большой тайне, о планах великой княгини кто-то донес старосте виленскому.

Скорее всего, в рядах Елены Ивановны или среди людей, которые были посвящены в ее планы, оказался предатель. Гвардиан францисканцев Ян Комаровский, являвшийся доверенным лицом великой княгини, получил приказ не выдавать великой княгине вещи, которые она передала ему в Орден на хранение. Комаровский, правда, проявил осторожность и не захотел всю ответственность брать на себя. За советом, как быть в этой ситуации, он обратился к воеводе виленскому Николаю Радзивиллу. Тот также считал, что вещи возвращать не следует.

Узнав об этом, Елена Ивановна обратилась к королю с жалобой. Сигизмунд I сначала отменил запрет старосты виленского, но потом передумал. По его приказу Елена Ивановна была арестована. Через Троки ее доставили в Бирштаны. Казну, находившуюся в городах и волостях, конфисковали. Это бесправие стало началом в 1512 году очередной русско-литовской войны, которая длилась до 1522 года. Однако завершения ее великая княгиня не дождалась.

Елена Ивановна умерла внезапно 24 января 1513 года, когда находилась в Браславле. Прилегла отдохнуть после пиршества и тихо отошла в лучший мир. Сердце ее остановилось во сне. Когда зашли к ней в опочивальню, она была уже мертва. Просто остановилось сердце? Могло быть и так. Хотя, с чего это вдруг? И на пиршестве, да и после него, не жаловалась, что чувствует себя неважно. Но ведь могли и «помочь» ее сердцу остановиться, подмешав в пищу или в вино какой-либо яд, действующий не сразу, а постепенно. Кто знает, как все было. Тем паче, что основания «убрать» Елену Ивановну существовали не только политического или конфессионального плана. Имелись и желающие завладеть богатствами Елены Ивановны.

Что ни тайна — ответа нет

Истина вроде бы восторжествовала через много лет. Ян Комаровский, достигнув того возраста, когда нужно думать об очищении души перед Всевышним, покаяться во всех своих смертных грехах, заявил, что великая княгиня умерла все же не своей смертью. По его словам, причастен к этому был Николай Радзивилл. Именно он попросил ключника великой княгини, которому доверял, отравить свою госпожу, обещая за такую услугу надлежащим образом отблагодарить его. Тот якобы и согласился.

Исходя из ситуации, которая в то время сложилась вокруг Елены Ивановны, подобный вариант нельзя отрицать. Тем более что прозвучало это признание, хотя и с большим запозданием, из уст «первоисточника». Да и косвенно оно подтверждается тем, что буквально на второй день после внезапной смерти великой княгини, 25 января 1513 года, Литовская королевская рада поспешила поставить в известность об этом киевского митрополита Иосифа: «Поведаем твоей милости, што ж за воли милого Бога, тыми разы господарыни нашае королевое ее милости в живот не стало. Бог душу ее с сего света взял, што ж есть всех нас жалость подданных господарьских, а ведь же то есть у воли милого Бога: на тое его святое милости воли будет, тому ся нихто отнятии не можа».

А ведь от Браславля до Вильно не так и близко. Особенно по тогдашним меркам. Да и происходило все зимой, дорога была заметена, но это не только не остановило гонцов. Они еще и такую прыть проявили, что остается только позавидовать их удали. Значит, знали, что эту весть в Вильно с нетерпением ожидают, заждались ее, поэтому и нужно спешить.

Понятна и та оперативность, с которой Литовская королевская рада обратилась к киевскому митрополиту Иосифу. Именно он насаждал в Великом Княжестве Литовском униатство. Были уверены, что такая весть его очень обрадует. Ведь для митрополита Иосифа Елена Ивановна давно была как кость в горле.

Правда, в этой версии присутствует одна небольшая, но в данном случае очень важная нестыковка. То, что записал Комаровский в хронике, другими письменными свидетельствами нигде не подтверждено. Неужели, если бы Елену Ивановну и в самом деле отравили на пиршестве, другие авторы промолчали бы об этом? Все-таки это касалось смерти великой княгини государства, имевшей в то время в Европе немалый вес. Однако, как ни стараются историки, никаких сведений, подтверждающих сказанное Комаровским, не находят.

Есть, однако, еще одна версия, также свидетельствующая о том, что смерть великой княгини была насильственной. Якобы противники Елены Ивановны, безусловно, не без согласия Сигизмунда I, заточили ее в замок, находившийся в Троках. Когда это произошло, и сколько она провела там времени, трудно сказать. Скорее всего, была лишена свободы тогда, когда ее задержали на государственной границе. А в Троках то ли убили, то ли отравили.

Наконец, нельзя не принимать во внимание и такую версию. Согласно ей великую княгиню в 1512 году, когда началась новая война за Смоленск, схватили в Вильно, откуда отвезли в Троки. Перед этим всех людей, сопровождавших ее, отпустили. Арестовав Елену Ивановну, забрали в подведомственных княгине городах и волостях казну. Из Троков перевели ее в местечко Биршаны Ковенского уезда.

На этот раз Елену Ивановну спасло вмешательство брата, обратившегося к Сигизмунду I с требованием отпустить ее на волю. К сожалению, на свободе она находилась недолго. Военный поход великого князя московского Василия III оказался неудачным. После этого Сигизмунд I понял, что нечего перед ним заискивать: кто сильный, тот и прав. Елена Ивановна опять очутилась в Биршанах. Это противникам ее, особенно тем, кто посягал на богатства великой княгини, было только на руку.

По этой версии, к отравлению Елены Ивановны также имеет отношение Николай Радзивилл. Действовал он в сговоре с Григорием Осишковым, неким Клочко и казначеем Авраамом. Войдя в доверие к слугам великой княгини, они приказали им отравить свою хозяйку. Те подмешали в мед ядовитых трав, после чего дали ей испить такого напитка. Называются даже фамилии злодеев: Федоров, Иванов, Гинтовт.

Какой вариант, связанный с ее внезапной смертью, ни принимай, никакой достоверности нет — тайна. А может быть, все происходило еще и как-то иначе, и некто, неизвестный нам, приложил свои усилия к уходу в мир иной той, которая в высших эшелонах власти Княжества и Короны воспринималась лишним человеком, создавая своим присутствием ненужные проблемы. Опять — тайна. Да скорее всего, такая тайна, на которую, сколько усилий ни приложи, уже никогда не найти ответа. Канула эта тайна в Лету.

Январь — месяц радостный, но и печальный

Хоронили Елену Ивановну в Вильно. Провожали ее в последний путь январским днем. Вспомним: январским днем оставила великая княжна московская отчий дом, Москву, чтобы отправиться в неведомую ей дорогу, ведущую в загадочное для нее Великое Княжество Литовское. Только было это восемнадцать лет назад. Годы пролетели молниеносно быстро, принося с собой то радости, то печали. Печали забывались, оставались в прошлом, а радости постоянно были в сердце. Жаль только, что их в жизни великой княгини было не столько, сколько она того заслуживала. Ничего не поделаешь — такое время, когда женщине требовалось немалое мужество. Им она и обладала. Не афишируя этого, а живя так, чтобы не стыдно было ни перед Богом, ни перед людьми.

Отпевали Елену Ивановну в Пречистенской церкви. Однако не в той, в которой состоялась ее свадьба с королем Александром Ягеллоном. Тот храм, долгое время являвшийся украшением города, настолько разрушился, что примерно в 1511 году встал вопрос о том, как быть с ним дальше. Ведь церковь находилась в таком плачевном состоянии, что ни о какой реставрации ее разговора идти не могло. Наконец, после долгих раздумий, единственный приемлемый вариант нашли в том, чтобы храм перестроить, по сути, возведя новую, также Пречистенскую церковь. Этот вопрос решал сам Сигизмунд I, а разрешение на строительство получил гетман Великого Княжества Литовского, ревностный сторонник православия в ВКЛ князь Константин Иванович Острожский.

Когда пришла горестная весть, первые, наиболее важные работы в новом храме были завершены. В нем и нашла свой вечный покой великая княгиня литовская Елена Ивановна.

Ее смерть, как и следовало ожидать, по-разному была воспринята в тогдашнем обществе. Те, кто не принимал ее при жизни, считая схизматичкой, не скрывали своей радости. Люди же православные горевали, ибо были наслышаны о том, сколько много делала (и сделала) Елена Ивановна во имя православия. Немногие же близкие к великокняжескому окружению оценили и еще одно ее важное качество: быть верной и любимой женой, уважавшей своего мужа, а вследствие настоящей преданности ему получавшей взамен такое же уважение.

Речь не о том, была это идеальная семья или нет. Как говорится, нет предела совершенству. В семейных отношениях — не в последнюю очередь. Не могло не омрачать этот семейный союз и то, что Александр Ягеллон так и не смог дождаться наследника престола, а Елена Ивановна не испытала радости материнства. Но…



Пречистенский кафедральный собор, г. Вильнюс.

Не могу не обратиться еще раз к Карамзину, вспомнив то его высказывание, которое уже приводил вначале: «Давно замечено историками, что редко брачные союзы между государями способствуют благу государств…»

После того, как нами прослежена жизнь Елены Ивановны и Александра Ягеллона, поставить многоточие на этом месте как нельзя к месту. Потому что хотя, говоря словами того же Карамзина, «надежда обоих государств не исполнилась» на мир надежный, благие намерения Ивана III и Александра Ягеллона все же дали хороший результат. Пусть себе на политической арене и не такой значимый, как они того хотели. Однако если бы не было устремлений двух великих князей, не слились бы воедино судьбы Елены Ивановны и самого Александра, не родилась бы между ними любовь, принесшая, несомненно, счастье обоим.

* * *

Великую же княгиню литовскую Елену так и хочется назвать Прекрасной. И за то, что она была красива, обладала истинно славянской красотой, вместе с тем имела в своем облике и византийские, греческие черты своей матери Зои Палеолог, а на Руси великой княгини московской Софьи. Однако в ней преобладала и не менее значимая красота: повседневных деяний, устремлений, помыслов — красота духовная. И еще очень важно то, что Елена Прекрасная, а ее хочется называть именно так, являлась защитницей православия. Не только сама верно служила ему, но и делала все для того, чтобы православные люди в Княжестве могли свободно исповедовать свою веру.

Павел ЕРОШЕНКО

На изломе эпох

С каждым годом остается все меньше людей, которые были свидетелями многих событий, происходивших на территории Беларуси, такого непростого, во многом трагичного ушедшего двадцатого века. Тем более людей образованных, думающих, способных поделиться с потомками правдой, а не домыслами и фантазиями. Один из них — автор данной статьи, Павел Ерошенко.

Павел Сафронович — старейший в Беларуси военный журналист, полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в форсировании Одера, в сражении за Зееловские высоты, в боях за Берлин. Лауреат премии Союза журналистов СССР, отличник печати Беларуси. Воевал в звании младшего сержанта, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»...

От редакции

Детство босоногое, бурлящее...

Поначалу после слова «детство» поставил было определение «мое». Потом подумал: босоногим-то оно было не только у меня — у всех моих сверстников. К ним я отношу тех, с кем, бывало, по весне играл в лапту, как только освободится от снега рядом с хатой пригорок, потом пас свиней, телят до глубокой осени, бегал в школу по запорошенной первым снежком улице — и все это босиком…

В стране после свержения царя законодательно вводилось обязательное начальное образование. Развивалась медицина, расширялась районная больница, в центрах сельсоветов открывались фельдшерско-акушерские пункты.

С 1931 года начала выходить районная газета «Калгасны шлях». Через несколько лет ее читателем стал и я. Начал регулярно заглядывать в избу-читальню (сельская библиотека того времени. — *Прим. авт.*). Но она частенько встречала меня замком на двери. Я написал об этом в «районку». А подписался П. С., чтобы не узнали, кто автор. Но догадались, как только заметка «Хата-чытальня — на замку» появилась в газете. В тот же день председатель сельсовета Хейфец вызвал к себе и надрал мне уши, приговаривая: «Будешь знать, щенок, как писать в газету». И действительно, как щенка, выбросил меня из помещения, сердито хлопнув дверью.

Так тот августовский день 1938 года стал днем моего рождения как журналиста, хотя до такового мне предстояло еще расти и расти.

Все, что происходило, окрыляло тружеников белорусских сел, прибавляло им сил, энтузиазма. Трудились все, образно говоря, по 28 часов в сутки. С радостью, без нытья, с надеждой на лучшую жизнь. Уж если местная школа подготовит концерт художественной самодеятельности или кино в глубинку заедет, в зри-



1944 год.

телях недостатка никогда не было. Достаточно было школьному учителю сказать детям: «Сегодня у нас концерт. Приходите с родителями», — и всегда самое большое школьное помещение не могло вместить желающих.

Откуда брались артисты? В основном были свои, доморощенные. И пели, и плясали. Спектакли ставили, стихи декламировали. Был у нас и самородок один — Николай Половцев. Сам сочинял стихи. И всегда срывал у публики самые бурные аплодисменты. Даже в Москву его приглашали. В детстве мы пасли с ним колхозное стадо — так он с коровами всегда стихами разговаривал. И на удивление, те его слушали. Жаль, погиб Николай в войну…

В школах были кружки художественной самодеятельности. Особенно отличалась в этом деле единственная в районе в 1930-х годах Пропойская средняя школа. При ней с 1919 года, когда она была еще семилеткой, существовал клуб подростков. В нем действовали кружки: литературный, драматический, певческий, сельскохозяйственный, социалистических знаний и профсоюзного движения, объединявшие более 200 человек. Тот клуб действительно был своеобразной школой начинающих талантов. Понятно, с ним не могли тягаться кружки, существующие при остальных 47 начальных школах района, но ориентир для них был хороший.

Пропойские кружковцы всегда были желанными гостями и в окрестных селах. Соперничать с ними могло лишь кино, появившееся в наших местах в разгар коллективизации. Совсем еще маленьким я был, но врезалось в память: вместе с толпой ребят постарше бежал за каким-то железным чудовищем (трактором). Потом отстал. Сел на траву и заревел… Старшая сестра Вера звала домой, а я все не шел. Тогда она пообещала сводить меня в кино. И пояснила: «Это когда на белой стене бегают люди». Потом уже надо мною, повзрослевшим, домашние смеялись, когда я доказывал: да не могут на стене даже поросята бегать!.. Но вскоре убедился: точно, в кино бегают. И не только люди, но и кони, повозки.

Поначалу кино было немым. Но и ему радовались. Посмотришь ленту в своей деревне, потом отправляешься ватагой в соседнюю. Чаще всего — в Поповку. Нас не останавливало даже то, что обратно приходилось бежать уже затемно, а главное — мимо кладбища. Его никак было не миновать. Закрываешь глаза и на ощупь топаешь, пока не почувствуешь свежесть речки… Страху натерпишься, а все равно идешь.

А уж когда стали появляться звуковые кинофильмы — это было чем-то из области фантастики. Первым таким фильмом у нас был «Чапаев». Сколько же он вызвал тогда споров, разговоров!

Кино всегда будоражило души людей. Особенно когда стало звуковым. Многие зрители своим ушам не верили. Идет фильм — все не шелохнутся. А когда меняет киномеханик ленту — гвалт поднимается. И бога, и черта, и кого только не вспомнят… Самым большим разочарованием было, когда собравшиеся в ожидании сеанса вдруг услышат: «Кина не будет — кинщик заболел». Эта фраза мгновенно стала крылатой. Услышать ее можно и сегодня, хотя, думаю, теперь не всем понятно ее происхождение.

Кино служило людям не только средством развлечения — с его помощью многие определяли свою судьбу. Посмотрев фильмы или киножурналы о сталинских стройках, десятки юношей и девушек по комсомольским путевкам уезжали строить БелГРЭС, Днепрогэс, Комсомольск-на-Амуре, работать в шахтах Донбасса, Кузбасса. Для тех, кто успел окончить семилетку, широко открывались двери техникумов, военных училищ. В рабочих руках нуждались везде, в том числе и там, где строек, хотя и менее масштабных, тоже было предостаточно. А что и где строить — решалось на районных съездах Советов.

В начале 1935 года весь наш район облетела будоражащая весть: в Пропойске намечается построить к концу года городскую баню на 30 человек и электростанцию мощностью 16 киловатт, с установкой 500—600 электроточек. Должны были возводиться и другие предприятия, но эти были самыми важными.

Из числа действующих наиболее крупными считались канатно-веревочная артель «Беларусь» и смолокурная артель имени Ворошилова, дававшие вместе продукции почти на 800 тысяч рублей в год. Неплохо работали маслозавод, хлебопекарня, кирпичный завод «Рабовка», на котором 19 человек давали 220 тысяч кирпичей в год.

На производстве кирпича-сырца подрабатывал и мой отец, я ему часто помогал. Таким образом, мы добывали деньги на оплату налогов и домашние нужды, а прежде всего — на школьные учебники, тетради, карандаши. Это были самые важные покупки в семье.

С ними у меня связано одно тяжелейшее детское воспоминание… Не помню точно год, но в то лето отец не мог по состоянию здоровья работать на производстве. Вместо этого растил молодую корову, чтобы осенью продать старую и таким образом поправить дела семьи.

Настал день, когда мы со слезами проводили отца в Пропойск вместе с коровой, которая поила нас молоком. С волнением ждали его возвращения, надеясь на обещанные книжки, тетрадки, и конечно же, сладости. А его все не было… Где-то за полночь какие-то мужики втащили отца в дом мертвецки пьяного, без шапки, без рукавиц, ничего не соображающего. Таким я видел его только раз в жизни. Дом потонул в рыданиях матери и старшей сестренки.

Что же случилось тогда с моим отцом Сафроном Ивановичем Ерошенко — трудягой и честнейшим человеком во всей округе, к тому же еще и чрезмерно доверчивым?

Охмурили его подвернувшиеся на рынке проходимцы. Помогли «выгодно» продать корову. На радостях отец отправился в книжный магазин за покупками. Рассматривая книжки, положил рукавицу с деньгами на прилавок… Ее тут же и след простыл. Рядом снова оказались «добрые» люди. Настолько «добрые», что напоили, домой привезли и даже в дом втащили, тут же растворившись в темноте.

По опыту знаю: случается что-то подобное и в состоятельных семьях — следуют разборки, взаимные упреки. У нас же тогда все обошлось только слезами. Взрослые, да и мы, дети, стоически вынесли тот удар судьбы.

Колхоз или сельсовет, помнится, помог тогда немного с налогами рассчитаться. Это укрепило в душах у родителей какое-то особое отношение к колхозу и вообще к советской власти — настолько, что они готовы были идти за нее в огонь и в воду. И шли!.. Имена моих родителей: пастуха колхозного стада Ерошенко Сафрона Ивановича и доярки Марии Павловны всегда занимали первые строчки на Доске трудовых показателей. И неизменно — рядом, что вызывало в наших детских сердцах особую гордость. Ведь мы постоянно помогали им. Значит, в этих тысячах трудодней-палочек была и частица нашего труда.

Ушли в прошлое годы тяжелейшей и упорнейшей борьбы за сплошную коллективизацию — на этом пути было немало наломано дров, искалечено судеб… Правда, в нашем Васьковичском сельсовете она была не столь длительной и не

столь жестокой, как в других местах, хотя и не обошлось без поджогов, расправ с активистами, иных различных вылазок «кулацкого элемента». А во многих хозяйствах всего этого негатива было значительно больше — с обеих сторон.

Да, встречалось и такое, когда местные руководители гнали людей в колхоз в полном смысле слова с дубинкой, бранью и угрозами. Пока райком партии не положил конец их произволу. Так, в 1931 году председатель сельсовета Степанов получил за это выговор, а милиционера Давыдова исключили из партии и завели на него уголовное дело.

Надо сказать, подобные примеры встречались не так часто. Больше было деревень, где коллективизация проходила красиво, как праздник. Так, к примеру, произошло в Гайшине. Здесь никто никого не агитировал, никому не угрожал. Еще до начала массовой коллективизации собрались трое мужиков, трое Васильковых — Даниил, Никифор, Федот, и создали товарищество по совместной обработке земли. Назвали его «Искра». Из искры вспыхнуло пламя — к тройке активистов охотно присоединились Николай Евстафьев, братья Михаил и Федот Прокопенко. За этими потянулись еще 10 хозяйств, а на следующий год колхозниками стали почти все гайшинцы. Так появился колхоз «Ленинец», который жил и процветал, пока его не накрыла черная туча Чернобыля…

В совхозах же вообще изначально все вышло по-иному. Там и трудились люди с большим энтузиазмом, и получали за свой труд достойную оплату реальными деньгами, а не палочками-трудоднями.

К середине 1934 года в нашем районе коллективизацией было охвачено уже более половины хозяйств. В помощь колхозам и совхозам создавались МТС (машинно-тракторные станции). В Пропойском районе их было две. Первая — Пропойская, она заработала уже весной 1935 года. Поначалу имела в своем парке 24 трактора и два грузовика. Потом ее техническая оснащенность удвоилась и утроилась — равно как и в Железинской МТС, появившейся чуть позже. Были на балансе этих организаций и зерноуборочные комбайны, различная другая техника.

За свою работу МТС брали 20 процентов от выращенного урожая, что считалось выгодным для обеих сторон.

В конце ноября 1935 года состоялся пробный пуск местной электростанции, причем мощностью вдвое больше проектной. В сотнях домов жителей Пропойска и других населенных пунктов заговорило радио. Вместе с электричеством в дома тружеников села пришел и достаток, особенно там, где колхозы смогли быстрее встать на ноги, где были более толковые руководители.

Вдохновляло все — далекое и близкое

Первые годы великого перелома позади. Гудят рельсы Турксиба. Сельмаш и Тракторострой вступили в ряды социалистической индустрии. Закончили большевистский сев. Совхозы и колхозы перевыполнили план. Деревня повернула на широкую дорогу социалистического строительства…

«Правда». 26 июня 1930 года

Подобные сообщения в ту пору не сходили со страниц газет, и каждое из них будоражило, вдохновляло. И неважно, что сам — в силу малолетства — еще не совсем представлял, как «гудят рельсы Турксиба», как «Днепрогэс крутит турбины». Это понимали они, взрослые. И радовались как дети. Их радость передавалась и нам. А пройдет еще несколько лет, и мы тоже начнем понимать: что значили для страны и Кузбасс, и Магнитогорский металлургический комбинат имени В. И. Ленина, и сотни других строек сталинских пятилеток.

Несколько огорчало то, что все это возводилось где-то за тридевять земель, а не в родной деревне или хотя бы в райцентре, чтобы все это можно было

увидеть собственными глазами. Конечно же, кое-что строилось и поближе.

Так, уговаривая моих родителей вступить в колхоз, сосед Нефед Беляев обещал им прямо-таки райскую жизнь: дескать, летом землю вспашет и засеет трактор. «А зимой, — выкладывал он последний козырь, — не надо будет сидеть тебе, Павловна, за кроснами (ткацкий станок, на котором изготавливались льняные холсты для одежды. — *Авт.*). Все в магазине будет готовое: в Могилеве заработали швейная фабрика и завод искусственного волокна. Только гроши надо готовить. Еще, брат сказывал, там же начали и чугунные трубы лить».



2017 год.

В трубах — хоть в чугунных, хоть в медных — деревня особой нужды тогда не испытывала. А вот когда в 1933 году заработал Кричевский цементный завод, так мужики за несколько горстей этой серой пыли-муки готовы были отдать последние копейки. И отдавали. К сожалению, на селе это чудо промышленности, воспетое потом Якубом Коласом, появлялось очень редко, равно как и обещанные соседом заводское волокно и изделия из него.

Помнится, как-то в наш деревенский магазин завезли пару рулонов ткани. Так туда сбежалась вся округа. Что там было! Шум, давка, драки — каждому хотелось приобрести хоть чуточку из тех рулонов. Но досталось не всем.

С пустыми руками, вернее, неся в руках изодранную в клочья свою домотканую рубаху, возвращался из магазина и мой отец. А ему так хотелось порадовать обновкой старшую дочь Веру, которой, по всему чувствовалось, уже было стыдно ходить в школу в убогом одеянии. Не получилось!

Слишком слабым было у Сафрона Ивановича здоровье, чтобы пробиться к прилавку через толпу дюжих мужиков, хотя для некоторых этот кусок и не представлял особой ценности. Ведь если материи (так звали сельчане купленную ткань) не было у нас, то это вовсе не означало, что ее вообще нигде не было. Была! Просто пока еще не везде в достаточном количестве. Это деревенские люди хорошо понимали, хотя и смотрели с некоторой завистью на горожан. Они не пряли и не ткали кустарным способом, как деревенские, но одевались относительно прилично. Вспомните старые фильмы.

Очень многие горожане имели родственников на селе. И по-родственному делились с ними одеждой, обувью. А те слали им сало, другие продукты питания. Смычка города и деревни, за которую так ратовали большевики, укреплялась изо дня в день.

Сложнее было сельчанам, не имевшим родственников и знакомых в городе. А в 1933 году подвернулся для некоторых непредвиденный случай малость прибарахлиться: из Украины хлынул поток людей, спасающихся от голода. Они за кусок хлеба отдавали все, что имели. И многие брали. Но к этим «многим» не относились мои родители. Они делились последним с горемычными. Просто

так, из сострадания к людям, за спасибо, уповая на то, что за добро добром воздастся.

И воздалось. Не знаю, что тут большую роль сыграло — история с отцовской рубахой или трудолюбие матери. Скорее всего, и то, и другое. Вдруг моя мать, нигде дальше Пропойска доселе не бывавшая, попала на областной слет колхозников-ударников. Вернулась домой, словно заново родившись. Счастливая и с подарками. Самыми ценными из которых, по признанию всей семьи и соседей, был отрез красивой ткани и скромненький синий платочек.

Платочек мама взяла себе, а из ткани пошили платье сестре. Перепало кое-что и мне.

И вылетели мои штаны в трубу

Родители мои не были слишком набожными. Но к причастию иногда ходили. Если не вместе, то порознь, подменяя друг друга на колхозной ферме. Направляясь за восемь километров в райцентр, где оставалась, кажется, единственная в районе действующая церковь, построенная еще князем Голицыным, мать часто брала с собой и меня. Наш путь проходил мимо сельской школы. Она, с красной металлической крышей, стояла посреди села на взгорке. Построили ее уже при Советской власти. До этого школа в нашей деревне — более 200 дворов — вообще отсутствовала. Это здание было самое красивое в деревне. В учебное время оно наполнялось звонкими детскими голосами, звуками колокольчика, которые меня завораживали больше, чем звон церковных колоколов. В школу тянуло сильнее, чем в церковь. Но я, во-первых, еще не достиг школьного возраста; во-вторых… И это было, пожалуй, главное — у меня не было штанов. Да-да. Не улыбайся, читатель. В то время их не было почти у всех моих сверстников. Обычно мы бегали в одной длинной, ниже колен, сделанной из домотканого полотна рубахе. Снимешь ее — и ты гол как сокол.

Так вот, возраст уже подходил. А штаны мать обещала пошить к осени. И слово свое сдержала. В конце августа я щеголял в новехоньких полотняных штанах, выкрашенных в грязно-бурый цвет. А младшему брату Ивану было завидно. Вот он однажды мне и заявил, что, когда я лягу спать, он заберет штаны и не отдаст. Признаюсь, любые угрозы брата действовали на меня очень сильно. А это напугало особенно.

Решил брата перехитрить: сняв поздно вечером штаны, скрутил — и в дымоход, да постарался повыше засунуть, чтобы их не обнаружили, когда будут открывать вьюшку. И улегся спать тут же, на печке…

Разбудил меня встревоженный голос матери:

— Верочка, ты, наверное, вьюшку не открыла: весь дым на хату пошел…

— Да нет, открывала… Сейчас еще раз гляну…

Я подскочил как ужаленный. И стараясь опередить сестру, правой рукой — в трубу. Обжегся, но вытащил дотлевающие лохмотья моей обновки. Понятно, заревел не столько от боли, сколько от осознания невосполнимой потери.

Словом, вылетели мои штаны в трубу, а вместе с ними — и мечты о школе.

И все же заветную учебу в ту осень я начал. Не знаю, как моя бедная мать выкрутилась: в долг взяла у кого-то кусок полотна или сэкономила каким-то чудом. А возможно, выручила жившая по соседству еврейская семья.

Как бы то ни было, а штаны у меня снова появились. Правда, коротковатые. Но потом, к зиме, мать их надточила недогоревшими лохмотьями от прежних. А что ей было делать? Ведь и отцу рубаха была нужна. А мне в моих, как сказали бы сейчас, шортах даже интереснее было бегать в школу.

И вот стою перед высоким статным человеком, снизу вверх заглядывая ему в глаза. Кажется, я знаю о нем все: и то, что он может накрутить уши, пустить в

ход линейку или, как приговор, произнести: «Марш домой за бацькам». Он четыре года учил сестру. Зовут его Петр Степанович Каплинский. Родом из соседней деревни Поповки.

Школьное помещение разделено узким коридором на две части. В каждой из них размещаются по два класса. Мне определили место в левой части. Здесь учатся 1-й и 3-й классы. В правой — 2-й и 4-й. В каждом — по 20—25 учеников. Со всеми занимается один учитель — Петр Степанович.

Как он это делал, сейчас припоминается с трудом. Но справлялся со всеми, чередуя устные и письменные задания, проверку тетрадей и воспитательные меры. При этом время рассчитывал по секундам. Часы у него были карманные на металлической цепочке. Если он достал их, значит, сейчас пойдет во вторую половину или раздастся звонок на перемену, что происходило всегда секунда в секунду.

Школьное обучение сочетал с трудовым. Это, кажется, под его руководством ученики осенью 1935 года в Поповке на косогоре вдоль шоссе соорудили галерею из фамилий пяти Маршалов Советского Союза. Давно это было. Но всякий раз, когда оказываюсь в тех местах, в памяти возникают выложенные аршинными белыми буквами и видные издалека: Буденный, Ворошилов, Блюхер, Егоров, Тухачевский. Просуществовала эта галерея года два, но запомнилась на всю жизнь. И, думается, не только мне.

А я молчал как рыба

Дорога в школу проходила мимо деревенского магазина, того самого, в котором отцу изорвали рубаху. Иногда заглядывали в него. Денег, конечно, у меня, да и у других, никогда не было, а тянуло хотя бы посмотреть на время от времени появляющиеся там лакомства, в которых дети ощущают потребность не меньше, чем в материнской ласке.

Это сегодня чуть не каждый малыш, сидя в детской коляске, настойчиво требует шоколадные батончики. Тогда же обыкновенные конфеты-подушечки, и те были заоблачной мечтой. Вот в магазине иногда и удавалось их отведать.

Нет, не сами конфеты, а то, что оставалось, если они попадали под сапог «магазинщика» Антона Продолякина. Иногда при взвешивании одна-две подушечки, обычно поступавшие в торговую сеть без какой бы то ни было обертки или упаковки, падали на пол. Антон поднимал их и отдавал подвернувшемуся малышу. Но это тогда, когда присутствовали какие-нибудь важные покупатели. В ином же случае конфета просто откидывалась в сторону. Мы же знали: она непременно окажется там, где лежала раньше.

А вот раздавленная отдавалась детям со словами: «Выкиньте воробьям», хотя и Антон, и другие взрослые хорошо знали, что будет дальше: «воробьи» стайкой выскочат на улицу и по-честному поделят добычу.

А однажды в мои руки попала целехонькая подушечка. И вот при каких обстоятельствах.

Мы жили недалеко от магазина, и частенько к нам заходили мужики с бутылкой водки, чтобы попросить стакан и что-нибудь на закуску. За это они обычно наливали немного и моему отцу.

В тот вечер мы все пошли на колхозное собрание. Когда я узнал, что «кина не будет», вернулся домой учить уроки. Не успел закрыть за собой дверь, как следом в хату зашли трое с бутылкой.

Стакан и луковицу я им дал, а хлеба, сказал, нет.

— Обманываешь, малец, — пристыдили меня. — Вон на полке что лежит? А еще, видно, пионер. Другой раз ты так не сделаешь, правда? На тебе конфетку. Выбирай, какую хочешь.

Естественно, рука потянулась за самой лучшей. И дядьки сразу же ушли вместе с отданным им хлебом. Настоящим! Обычно семья перебивалась каким-нибудь мякинным суррогатом, который даже внешне не походил на хлеб. «Что мы будем есть?» — со страхом подумал я. И чтобы не оставаться наедине с невеселыми мыслями, снова пошел на улицу. Побродил с полчаса туда-сюда, потом решил послушать, кто и что говорит на собрании.

Только протиснулся в толпу, как услышал голос отца:

— Вот мы тут о стопудовом урожае ведем речь, а у меня в это время дома последний кусок хлеба украли.

На отца зашикали из президиума…

Не знаю, что было дальше. Только помню, как отец говорил утром милиционеру:

— У меня закончилось курево, вот я и пошел за самосадом. А лежит он у меня на той же полке, что и хлеб. Табак остался на месте, а хлеб кто-то украл. Вот об этом я и сказал на собрании.

Мне б набраться смелости да и рассказать, как все случилось. Но я молчал как рыба, чем и навредил отцу. Дело дошло до суда. Впаяли ему тогда два года принудительных работ с удержанием 25 процентов из заработка. Но это, наверное, не столько за выступление на собрании, сколько за то, что когда-то топил баню «врагу народа» А. Т. Вазилло, о чем на процессе говорилось больше, чем об украденном хлебе.

Связь моего отца с «врагом народа», пусть даже не прямая, а косвенная, довлела надо мной долго. Не скажу, что постоянно. Нет. Она то затухала, вплоть до полного забвения, то вдруг всплывала из глубин подсознания, лишая сна и покоя. Да, мне еще в детстве довелось однажды видеть Вазилло. Но я ничего не заметил тогда в нем вражьего.

Правда, это было в нашей деревенской бане. А в народе говорят: «В кабаке да в бане — все дворяне». А отведать у отца бульбы с солеными огурцами Александр Тимофеевич отказался.

Со временем о нем забыли, так как больше в деревне он не появлялся. Когда же заговорили о «врагах народа» и «Ежовых рукавицах», то фамилию Вазилло стали произносить шепотом. Причину такой перемены мы узнали на том злополучном суде.

Но нас, детей, которых у Сафрона Ивановича было пятеро, никто и никогда не попрекал этим. Когда в июне 1941-го шел в райком комсомола получать членский билет, то малость поволновался: вдруг вспомнят, за что судили отца. Но не вспомнили и заветную книжицу выдали, взяв с меня уже комсомольское слово, что сдам норму ГТО (Готов к труду и обороне СССР) по плаванию. В ближайшее воскресенье. Но оно пришлось на… 22 июня. И нам уже было не до плавания…

Не возникал этот вопрос и потом: ни при приеме меня в ряды ВКП(б) в 1946-м, ни тремя годами позже, когда я поступал в военно-политическое училище. Став уже журналистом, я самостоятельно вернулся к нему. Работая в архивах, я полностью реабилитировал своего отца, а заодно — и Александра Тимофеевича.

Разное пришлось слышать в деревне об относительно мягком приговоре суда, который действительно был таковым. Ведь проштрафившийся и так без всякого принуждения вкалывал в колхозе по-черному. Что же касается заработка, то он в те годы был настолько мизерным, что можно было удерживать хоть все 100 процентов. Жила семья в основном с приусадебного участка размером в 0,5 га.

Не везло нам с колхозом. То кто-то посевы потравит, то общественное гумно с хлебом сгорит, то еще какая-нибудь напасть случится. У других же, смотришь, одна радость. Вот колхоз «Кринички». Вроде бы и рядом, но дела там шли совсем по-иному. Люди не могли нарадоваться жизни, достатку. Правда, председатель у них был толковый, из местных — К. Е. Кураленко, в прошлом командир крас-

ногвардейского отряда по борьбе с бандитизмом. Вредительства там никакого не было. Да и специализировалось хозяйство в основном на выращивании льна. Лен из «Криничек» даже экспонировался в 1939—1940 годах на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства.

* * *

Однако, как бы то ни было, со временем жизнь хорошела. Повсеместно «гудели» свои турксибы. Больше появлялось товаров даже в наших сельских магазинах, в том числе и лакомств. Товары поставляли растущие как грибы после дождя предприятия: Могилевская и Бобруйская швейные, Мозырская трикотажная фабрики, Минская бисквитная и Бобруйская кондитерские фабрики, Гомельский кондитерский комбинат «Спартак» имени 10-летия Октября и многие другие.

На фоне того положительного, что делалось в стране, как-то забывались и «босоногость», и потрепанные штаны. Ибо знали, верили: все это скоро уйдет в прошлое. Зато сколько было радости, когда наши летчики В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков совершили беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку. А трудовые подвиги шахтера-забойщика А. Г. Стаханова и его последователей во всех других отраслях народного хозяйства! Без рекордов не обходилось ни дня.

Празднование 20-летия Великого Октября проходило под знаком подготовки к первым в стране выборам в Верховный Совет СССР. Они состоялись 12 декабря 1937 года. Мои земляки единодушно голосовали тогда за прославленного конюха колхоза «Октябрь» Н. Е. Батовкина, за новую счастливую жизнь.

А в том, что она будет такой, уже не сомневались даже самые отъявленные скептики. Выборы для всех стали настоящим праздником, свидетельством того, что мы достигнем намеченного. Только надо выиграть время, хоть столько, хоть полстолько.

Но история нам его не дала. Последовали Хасанские бои, Халхин-Гол, война с Финляндией. А потом грянула и Великая Отечественная…



Искусство суждения

Олег МОРОЗ

Литература в коридоре любви и ненависти

(Заметки о повести Юрия Козлова «Белая буква»)

Новая повесть Юрия Козлова «Белая буква» («Нёман», № 3, 4, 2018 год) является второй частью своеобразного цикла произведений о литературе и жизни писателя, начатого повестью «Коридор» (Москва, «Художественная литература», 2016). «Коридор» — портрет художника в юности. «Белая буква» — перефразируя Дж. Джойса, *портрет художника в старости*. Повесть в определенном отношении действительно перекликается с джойсовским «Улиссом». Роман Дж. Джойса являл собой опыт собирания в мифе распавшейся на части действительности. Козлов тоже пишет о призрачной и в то же время реальной материи мифа, творящей жизнь человека. Да и литературных реминисценций, аллюзий, скрытых и явных цитат, до которых был охоч Дж. Джойс, в «…букве» предостаточно. Ассоциация повести Козлова с прозой Дж. Джойса, разумеется, поверхностна, но она дает представление о действительном масштабе этого небольшого по объему произведения.

«Белая буква» — зримое воплощение художественного стиля Ю. Козлова, в котором реалистическое письмо, граничащее нередко с прямолинейной публицистикой, неожиданно оборачивается искусно сотканной иносказательной речью, живущей по законам поэзии. Действие повести происходит приблизительно в 2015—2016 годах, однако завязка описываемых событий указывает на произошедшую на рубеже XX—XXI веков социально-психологическую «ломку» общества. Центральный герой повести — стареющий русский писатель Василий Объемов — состоявшийся, но не получивший широкого признания у читателя. Он приезжает в Беларусь, в город Лиду, на международную конференцию, посвященную положению русского литературного языка в современном мире. Однако совершенно неожиданно оказывается участником загадочной истории.

Волею случая Объемов знакомится в гостиничном кафе с буфетчицей Каролиной, женой летчика белорусских ВВС, шестнадцать лет назад пропавшего при невыясненных обстоятельствах во время испытания размещенной в самолете некоей биогравитационной установки. Вскоре выясняется, что считавшийся погибшим летчик Алеша, муж Каролины, неведомым образом неизвестно откуда и зачем возвращается на Землю. Спецслужбы России и Беларуси начинают на него охоту. Каролина и ее дочь Олеся, «девушка по вызову», зарабатывающая своим ремеслом на жизнь нищенствующей в Украине семьи, пытаются укрыть Алешу. Сам того не желая, Объемов помогает женщинам, через которых спецслужбы рассчитывали выйти на таинственного летчика, правда, предстает писатель в виде скорее комическом, нежели героическом. Завершается повесть еще загадочнее: вместе со случайным попутчиком — своим давним приятелем молдавским поэтом Серафимом Лупаном, некогда детским писателем, сочинявшим стихи о Ленине, а ныне — членом парламента Молдавии, воспевающим вампира Влада Дракулу — «пламенного борца за свободу Трансильвании против… русской тирании», — Объемов доставляет Алешу на частный аэродром. Обласканный новыми хозяевами жизни Фима на присланном за ним самолете куда-то увозит Алешу.

Серафим Лупан — мерцающий взаимоисключающими смыслами образ. В нем символически задана непрогнозируемая человеческим умом многовариантность будущего. Может быть, он, как и Объемов, следуя смутному побуждению, помогает Алеше выполнить его «миссию». А может быть, наоборот, ведет свою небескорыстную игру. Или исполняет волю неких потусторонних сил, тех самых «невидимых» миров, вмешивающихся в происходящие на Земле события… Не исключено, что им движет и то, и другое, и третье. Для человека, всегда руководствовавшегося принципом: «Жизнь — это результат», — это неудивительно. Вероятно, непроясненность образа Лупана связана как с образом самого Объемова, так и с неразрешенностью писателем тех вопросов, которые поставила перед ним история летчика Алеши. Объемов находит в машине оставленные Фимой 2 тысячи евро и контракт на издание в Молдавии своих книг. Помог он Алеше или предал его, как Иуда Христа? Как ни странно, ответить на этот вопрос должен сам Объемов, сделав выбор.

Разумеется, в «Белой букве» обнаруживаются знакомые, переходящие из одного произведения Ю. Козлова в другое, мотивы: «машина времени», дематериализация телесности, тяжба с судьбой и попытки ее «исправить», «соединенность» в женщине праведницы и блудницы и т. д. Однако в «…букве» эти мотивы выведены на задний план. Они образуют многомерный контекст размышлений героя Ю. Козлова о противоречивых отношениях реального и виртуального миров, их воздействия на человека. Писательство — это существование на границе миров, *пограничное существование*, заостряющее — до боли — парадоксальное ощущение *расколотого* человеческого бытия. Но еще и способ существования писателя, проекция его отношений с действительностью и самим собой.

Никита Прокофьев, герой повести «Коридор», вожделел войти в литературу (устроиться в редакцию журнала «Юность»), как *мужчина в женщину*. В финале повести, рассказывающем о Прокофьеве-пенсионере, мы узнаем, что жена Никиты, в юности так похожая на «лиственную девушку» с эмблемы журнала, умирает. Это метафора творческого пути советского писателя в постсоветской действительности: он еще жив, но литературы больше нет. Той литературы, с которой советский писатель был единой, как муж и жена, душой и плотью. Василий Объемов, герой «…буквы» — двойник Прокофьева. Но его случай — *развод* с литературой-женой. Образно говоря, молодясь, она ушла к другому. Случай Объемова открывает обозначенную в образе Прокофьева ситуацию советского писателя в постсоветское время под иным углом зрения: художник утрачивает свою — мужскую — силу, *обреченный на старение самой природой*. Показ угасания телесного эроса в Объемове, ставящий под вопрос будущее писателя и самой литературы, идет вразрез с веками казавшейся незыблемой истиной о величии искусства, выступающем залогом бессмертия художника. Мысль о прямой зависимости судеб писателя и литературы, мысль возмущающая и устрашающая, по-новому ставит вопрос о *человечности искусства*, делая невозможным больше не замечать процесс возрастающей дегуманизации творческой деятельности, охватывающий не только масскульт, как мы привыкли считать.

Драматическая в своей обыденности история оппозиционного публициста Люлинича, ровесника Объемова, ступившего на путь борьбы со старостью, показывает роковую подмену, конечно же — из лучших побуждений, которую невольно совершает этот человек, не понимая, что он делает. Люлинич пытается отодвинуть от себя как можно дальше надвигающуюся старость укрепляющими, как он полагает, тело физическими упражнениями, предаваясь им все более и более рьяно. Образ Люлинича символизирует оппозиционную литературу как таковую, художественными и публицистическими средствами обличающую мерзость новых хозяев жизни. Его стремление омолодить стареющую плоть соотносится с усилиями оппозиции поддержать ветшающую культуру советского времени. Но смерть настигает именно не желающего мириться со старением Люлинича, а не Фиму Лупана, продолжающего жить, как и в годы молодости, в тихом пьянстве и застенчивом разврате.

Дело, разумеется, не в смерти, ибо никто не знает своего срока. Дело в старении, смысл которого обретается между жизнью и смертью. В романе Ю. Козлова «sВОбоДА» (Москва, «Олма Медиа Групп, 2013), с которым «Белая буква» связана не менее тесно, чем повесть «Коридор», психоаналитик Егоров, откликаясь на замечание «вечного» диссидента старика Буцыло о том, что оппозиционные издания за много лет своей обличительной деятельности ничего, по большому счету, не добились, делает поразительный вывод о единстве антинародной власти и противостоящей ей оппозиции: «Разоблачение власти — товар, который все эти двадцать лет покупается. Поэтому власть отгружает его [оппозиционной] газете, а газета им торгует».

Но специфика капиталистической экономики не объясняет сущность этого единства. Козлов видит ее в другом. Новые хозяева жизни имеют власть и деньги, нынешнее «наше все», но ничего не могут поделать с конечностью жизни, ставящей предел власти и деньгам: «Государство не жалело средств на исследования по продлению жизни. «Ген старения», неотвратимо, как высшая справедливость, переходящий в «ген смерти», был метафизическим врагом российской власти, как, впрочем, и всех на свете богатых людей. Смерть, должно быть, казалась им усмехающимся в усы Сталиным. От смерти и Сталина нельзя было откупиться. Их можно было только бояться и ненавидеть, что, собственно, власть и делала».

Мысль о тождестве смерти и Сталина получает дальнейшее развитие в «…букве». Объемов находит в Сталине талант «земного измерения», талант, давший ему возможность преобразить Россию насилием. «Может быть, это и есть… высшая справедливость?» — задается вопросом Объемов, вспоминая кого-то из христианских апостолов, учившего, что нет наказания без преступления. Размышления подводят Объемова к пониманию смерти как *наказания за грех*. Это понимание восходит к религиозным представлениям средневекового человека. Так, люди на Руси в старину считали, что неправедная власть, к примеру, какой-нибудь злой князь, — это наказание Божие за грехи самого народа. Логика рассуждений Объемова порождает мысль, что мукой (ведущего к смерти) старения Бог наказывает человека за неизбежную для всякой плоти жизнь во грехе. Эта мысль и позволяет увидеть сущность единства антинародной власти и оппозиции. Ощущая смерть как некое наказание за неправедность, хозяева новой жизни боятся ее наравне с наделенным «талантом наказания» Сталиным, давно уже ставшим мифом. Оппозиция стремится сохранить жизнь, чтобы выплеснуть свою ненависть к власти, — ненависть, причины которой как раз в том, что власть, хотя и на других основаниях, нежели Сталин, казнит народ нищетой и вымиранием (мизерностью пенсий, высокими тарифами за ЖКХ и т. д.). Об этом откровенно говорит Люлинич, отвечая на вопрос Объемова, зачем он истязает себя физкультурой: «Хочу увидеть, чем все закончится, <…>, как всю эту сволочь поволокут из их дворцов на правеж! Может, и мне, рабу Божьему, выпадет счастье поучаствовать…»

В своей ненависти к новым хозяевам жизни Люлинич, пожалуй, не уступает ненависти хозяев жизни к народу. Отождествлять эти ненависти было бы несправедливо, у них прямо противоположные социально-политические векторы. Ненависть к народу — антропометрический показатель хозяев жизни, характеризующий самое бытие антинародной власти. Бытие, выраженное в романе «sВОбоДА» формулой: «Жизнь = Собственность + Власть». Ненависть — это психосоматическое измерение этой формулы. В этом измерении по-другому выглядит сама формула: «Жизнь = Тело + Сила». Подлинной собственностью человека является его плоть. Деньги лишь средство удовлетворения ее желаний. Желания плоти и являются точкой пересечения антинародной власти и пылающего к ней ненавистью Люлинича. Патриот Люлинич закаляет тело физическими упражнениями, чтобы дожить до часа *расправы* над новыми хозяевами жизни. Президент, стоящий на страже интересов хозяев жизни, выделяет огромные средства на программы по омоложению как раз для того, чтобы вечно *править*

подвластным народом. Для новых хозяев жизни желания плоти — суть существования. У молодящегося Люлинича иначе: он идет *против своего существа*. Горячее сочувствие народу у Люлинича, как (нередко) и у других сторонников оппозиции, оборачивается жгучей ненавистью, за которой в человеке теряется человеческое. Образ консьержки Белокрысовой, которая, кстати говоря, и сообщила Объемову о смерти Люлинича, это подтверждает. Она — гротескно-зловещий двойник оппозиционного публициста. Консьержка ошарашивает Объемова, заявляя, что смерть Люлинича — праздник (для всех, и в первую очередь для покойного): «<…>. Ничего не надо. Тишина. <…>. Я думаю, рай — это тишина». И ведь не скажешь, что Белокрысова равнодушна к смерти Люлинича. Интеллигентная женщина («шестидесятнического» закваса), поклонница блестящего русского композитора С. В. Рахманинова, теплятся в ней и какие-то религиозные чувства. В Люлиниче и Белокрысовой есть что-то общее: в его «радости через силу» и ее «празднике» (смерти). Вот оно, это общее. В дверях появляется юноша-«задрот», ему совершенно наплевать, что его облепленный грязью велосипед пачкает подъезд, консьержке он дежурно хамит. «Разве это правильно, что такие живут, — говорит Белокрысова, — и не торопятся на “праздник”. Лучше бы жил Люлинич, чем этот…»

Эти слова мы уже слышали — в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Так говорил Дмитрий о мерзостном родителе Федоре Павловиче. С ними, наверно, он и шел убивать отца, и убил бы, если бы не покойная мать, явившаяся уберечь сына от преступления. Ф. М. Достоевский показал, что в этой мысли — «Зачем такой человек живет?» — и происходит превращение человеколюбия в ненависть, открывающее путь на кровавый правеж, не щадящий ни правых, ни виновных. И неспроста на висящем в каморке Белокрысовой фотографическом портрете ее кумира Объемову чудится молодой Гитлер. Тут не только внешнее сходство — модные в Европе 1920-х, и в СССР тоже, усики-щеточка, но и загадка притягательности идеи дать людям «радость через силу». По кроваво-красной дорожке интеллигентского гуманизма триумфально восходят властные мифы. И именно потому, что за глаза не признающие друг друга интеллигенция и антинародная власть *едины в ненависти*.

Идея «радости через силу» — одна из важнейших в творчестве Ю. Козлова. Возможно, наиболее полно и объемно она рассматривается в романе «sВОбоДА». Художественное воплощение этой идеи связано с образом жены Шефа (вице-премьера), человека патриотических настроений, который в финале романа фантастическим образом — случайно и в то же время закономерно — сменяет у руля власти доведшего страну до ручки Президента. История Жены такова. Некогда, будучи юной, она подверглась сексуальному насилию. Насильник надругался над девушкой и столкнул ее со скалы в пропасть. Она чудом выжила, но потеряла рассудок. В больнице девушка стала жертвой другого насильника, однако это сексуальное насилие стало для нее спасительным. Разбросанные по роману намеки дают понять, что насиловали ее соперничающие ныне за власть Президент и Вице-премьер. Но кто из них был губителем, а кто спасителем, — так и остается неизвестным: оба насильника *по-своему любят* ее. Как можно понять, Жена — это символический образ России. История жены иносказательно изображает судьбу России. Взаимозаменяемость насильников Жены-России — губителя и спасителя — отвечает раз за разом повторяющемуся циклу смены ее мужей-властителей. История свидетельствует, что власть способна любить только силой. Насилием Россию и губят, и спасают. Это и имеет в виду Жена, говоря, что «в России один не имеющий права на существование строй сменился другим не имеющим права на существование строем. А скоро, возможно, его сменит очередной не имеющий права на существование строй. И так — до самого конца…» Бесстрастно-отстраненное отношение к институту российской власти определяется знанием Жены о неправедности стремления дать народу «радость через силу».

Идея «радости через силу» — ключ к пониманию отношения Ю. Козлова к власти: советской, центрированной образом Сталина, и постсоветской, представленной в произведениях писателя галереей образов новых хозяев жизни. Это отношение имеет множество тонких смысловых нюансов, делающих его чрезвычайно сложным, несмотря на кажущуюся публицистическую однозначность. Симпатии и антипатии Козлова очевидны, но куда важнее проведенное писателем историческое исследование феномена российской власти — губительной или спасительной, но всегда следующей идее «радости через силу».

Значительное место исследование феномена власти занимает и в повести «Белая буква», где этот вопрос ставится в ином смысловом регистре: что поддерживает повторяемость властной любви-насилия? Почему и как человек оказывается ею очарован? Решение этого вопроса заставляет Ю. Козлова выйти за пределы проблематики, очерченной кругом социальных противоречий русской истории. Действительность современной России предстает в сознании Объемова в публицистических образах, фигурирующих на страницах оппозиционных изданий. В годы Перестройки российская власть вырождается в диковинного монстра. «Казалось бы, не имевшая шанса выжить, злобная тварь присосалась к природным и трудовым богатствам России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, тварь эта словно остановила само время, превратила его в клейкий — из костей народа — студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия — солью земли русской. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха». Козлов саркастически обыгрывает образ интеллигенции — *соли земли русской*, однако вкладывает в этот образ обширное *поэтическое* значение. Речь идет не только и не столько о предательстве интеллигенцией народа. Новые хозяева жизни, та самая «злобная тварь», используют интеллигенцию как приправу к основному блюду — студню «из костей народа». Но интеллигенцию-соль они пожирают точно так же, как и народ-студень. Хотя причины гастрономических пристрастий новых хозяев жизни в отношении к интеллигенции-соли иного рода: без нее блюдо из народа-студня не съесть.

Смысловое содержание метафоры: интеллигенция — соль земли русской, — конкретизируется в романе «sВОбоДА». Интеллигентный госчиновник Вергильев приходит к заключению, что «государство — это идеология плюс власть, заключающая социальный контракт с населением; <…> при том, что государство было, есть и всегда пребудет узаконенной несправедливостью». Иначе говоря, интеллигенция создает идеологию, поэтому она, наряду с властью, *необходимый* элемент государства. Однако соединяют интеллигенцию и власть противоречивые связи, и метафора Объемова это подтверждает. Соль — органический кристалл, горький на вкус и едкий по своим химическим качествам. Интеллигенция-соль может быть (и часто бывала) приправой к народу-студню, но может оказаться и разъедающей (и это тоже было) едока-власть кислотой. Именно с действием интеллигенции-соли связаны взлеты и падения властных мифов русской истории — мифов о Ленине и отождествляемом сегодня с Гитлером Сталине. Объемов припоминает генерала Де Голля, который (будто бы) сказал, что Сталин, «превратившись в миф, не умер, а растворился в будущем». Интеллигенция-соль «растворила» в будущем, да, пожалуй, что уже и в настоящем, и Сталина, и Гитлера. Передавая мысли Объемова, Ю. Козлов пишет: «<…> Временно невостребованные массами мифы, подобно штаммам бактерий, рассеиваются в книгах и среди безразмерных пространств Интернета, заражая умы отдельных отщепенцев. Они везде и нигде». Однако «растворенные в будущем» Гитлер и Сталин при благоприятных условиях готовы в любой момент материализоваться — «подобно кристаллам в перенасыщенном соляном растворе».

Это, по мнению Объемова, и происходит в интеллигентских диспутах о судьбе России. Так, Сталин, измоловший Русскую Православную Церковь в пыль, в соляном растворе диспутов напитывается «белокрылым ангельским светом» и стараниями интеллигенции-соли обращается в иконописный образ святого. Здесь

нельзя не вспомнить *православных коммунистов* во главе с бывшим советским прокурором, а ныне отцом Драконием из романа «sВОбоДА». Размышления о мифах Ленина, Сталина и Гитлера вызывают у Объемова ощущение, что кристаллы их мифов таинственно взаимодействуют, «возможно, приуготовляя раствор к переходу в новое, неизвестное человечеству качество. Объемов склонялся к мысли, что это будет всерастворяющая существующий мир кислота».

Согласно Ю. Козлову, народ лишь реагирует на властные мифы — принимает или отвергает их. Создает мифы — интеллигенция-соль, та самая художественная интеллигенция, плоть от плоти которой Объемов. В непосредственной связи с властными мифами автор и рассматривает образ Объемова — жизнь писателя, природу литературного творчества и художественного воображения. К размышлениям о творчестве Объемова подталкивает не столько тема конференции, на которую он приехал, сколько старение, которое он ощущает и в себе, и в своей *когда-то возлюбленной* — литературе. Языки как люди — жизнь их начинается на весенних лугах юности и завершается осенней порой старости, когда земля покрывается колкими сорняками. Со старением Объемов связывает свое писательское бессилие, ассоциативно уподобляя отношения писателя и языка отношениям мужчины и женщины. Рассуждая об участи русского литературного языка (и неотделимой от него литературы) в постсоветской действительности, Объемов воображает его беззащитной женщиной: «<…> его, как кроткую домохозяйку в темном подъезде, настигали языки-мигранты». Эта ассоциация получает продолжение в рассказанной чуть позже буфетчицей Каролиной историей арабки Шапюризы, ее напарницы (она работали уборщицами в Лейпциге в парке «Балантис»), изнасилованной мигрантами-сомалийцами.

Образ женщины в творчестве Ю. Козлова — многогранный и противоречивый. В «Белой букве» он символически воплощает и Россию, и литературу, и народ — людей вообще и одновременно читателей литературных произведений. То есть в нем воплощаются образы, к которым влечет его героя стремление обрести целостность существования. Женский образ России — России-жены — был, вероятно, воспринят Ю. Козловым из поэзии А. А. Блока, тем не менее, прочитанной далеко не всегда комплементарно, скорее даже полемично. В «…букве» не раз и не два приводятся блоковские цитаты и реминисценции. Впрочем, он включает в себя и материнские коннотации. Автор изображает прожитую Объемовым жизнь запутанным клубком ассоциаций, в центре которого образ женщины. Так, размышляя над отсутствием своей писательской *славы,* он с иронией вспоминает историю из давних студенческих времен о необъяснимой любви Маши, комсорга их группы, к неказистому, мрачному и не погодам пьющему *«человеку Славке»*. Вот так же — необъяснимо — любовь читателя обходит и Объемова.

В юности, в пору прохождения студенческой практики в детском журнале, Объемов не был обойден женским вниманием. Любовные романы, на первый взгляд, не связанные с его писательскими устремлениями, каким-то образом составляют его экзистенциальный опыт, крайне значимый, как он теперь понимает, для литературного творчества. Были женщины, любившие Объемова, а значит — были и книги, написанные в пору его мужского цветения, вызывавшие интерес у читателей. Теперь ничего этого нет: свою любовь читатель, как комсорг Маша, отдал «человеку Славке». Размышляя об отношениях народа и власти, Объемов констатирует *«ненависти, идущие навстречу друг другу»*. Он — интеллигенция-соль, и как в соли, в нем живет нечто, что в одних обстоятельствах становится *приправой* к народу-студню, а в других — разъедающей едока-власть *кислотой*. Это «нечто» коренится в самой природе творческой деятельности интеллигенции.

Ю. Козлов пунктиром намечает процесс превращения интеллигенции-соли в приправу, показывая отношения Объемова с читателем через призму его писательского дара: «<…> его измученное, генерирующее ненужные массовому

читателю смыслы и образы сознание определялось еще чем-то, помимо бытия. Быть может, такой вот внезапно-пронзительной (или пронзающей) алкогольной ясностью. Мир как будто ужимался в точку, а безмерно заострившаяся мысль Объемова упиралась в эту точку как копье. Однако же, упершись в истину (во что же еще?), копье всякий раз ее калечило, превращало в какого-то жалкого уродца, от которого брезгливо отворачивались нормальные люди. Массовый читатель, чьей любви он алкал, вдруг увиделся ему в образе того самого Славки, в которого безнадежно была влюблена комсорг Маша в деревне Костино. Объемов мучительно вглядывался в угреватое, тупое, в выпуклых очках лицо массового читателя, и ненависть слепила его, потому что он понимал: ничто не заставит это существо взять в руки его, писателя Василия Объемова, книгу. Славка никогда не полюбит Машу».

Однако было бы точнее назвать отношение Объемова к читателю *недоверием*. Автор переносит возникающие у Объемова читательские образы в плоскость его отношений с буфетчицей Каролиной, являющей собой в определенном смысле как раз обобщенный образ народа-читателя, и рисует пронизанную *трагическим комизмом* картину мышления писателя. Неожиданный интерес Каролины к своей особе, то ли женский, то ли профессиональный, Объемов фантасмагорически толкует как подготовку к его отравлению. Это результат действия писательского воображения, работающего у Объемова «в режиме изначального, на грани шизофрении, недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла, мерзостей». Ю. Козлов уподобляет писательское воображение Объемова следователю сталинских времен, ищущему доказательств несуществующего заговора. И хотя Объемов знает об этой мрачной особенности своего воображения, не может ничего с ней поделать, так как без нее его жизнь превратилась бы в пустоту: «<…> Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а чего угодно), точнее, существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объемовского несуществующего. Это была персональная беда Объемова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда».

Никита Прокофьев, герой «Коридора», читая пришедший в редакцию самотеком эротический рассказ «Ремонт» (неизвестного в ту пору автора из Таллина Н. Геллера), сравнивает этот рассказ с зеркалом, заглянув в которое, он увидел «не то отражение, к какому привык». Никита со всей ясностью осознает, что автор «Ремонта» произвел трансформацию мира реального («привычного», так сказать, фактического) в мир виртуальный (идеальный — в смысле платоновской метафизики). В этой трансформации Никита ощущает преображающую действительность силу писательского воображения. Оно не принадлежит ни реальному, ни виртуальному мирам. В романе «sВОбоДА» компьютерщик Бунин, специалист по трансформации миров, называет пространство действия воображения «средним миром». Мысль о «среднем мире» воображения определяет и формулируемую Никитой Прокофьевым теорию романа-голограммы. Это произведение, «содержащее не только линейное, но и объемное, то есть вероятное, а еще точнее, любое, какое только могло прийти в голову читателю, изображение». Никита имеет в виду синтетическое сочетание в произведении реального и виртуального миров, то есть создание с помощью воображения нового, имеющего свою, ни на что не похожую, логику мира. Эту логику Козлов объясняет в том же романе «sВОбоДА» на примере статьи Вергильева, посвященной космической отрасли России.

Вергильев создает точную до мелочей картину крушения российской космонавтики. Вскоре она становится реальностью. Но Козлов заостряет внимание на том, что статья Вергильева в момент ее создания изображала *странную* картину:

реальный мир настоящего в ней был *уже* иной, но эта инаковость *еще* не была реальностью. Пока настоящее не прошло, а будущее — не наступило, созданная Вергильевым картина существует одновременно нигде и везде, она — голограмма. Именно такова природа писательского воображения Объемова. Собственно говоря, об этом свидетельствует его фамилия, отсылающая к рассуждениям Никиты Прокофьева об объемности изображения романа-голограммы. Воображение — это («средний») мир, который нигде (не существует) и (существует) везде, где угодно. На голографичность воображения Объемова и указывает Ю. Козлов, характеризуя особенность его художественной мысли: она, как копье, упиралась в ужавшийся до точки мир, упиралась в истину, но при этом калечила ее и отпугивала от его книг читателей. «<…> неправильные мысли несли в себе заряд удручающей ясности относительно природы человека и общества в целом, были чем-то вроде негатива Божественной истины. Той самой, от которой человек бежал, как заяц от орла. В темных линиях и перекрестьях этого негатива многие люди искали — и самое удивительное, находили! — смысл, уродливую красоту и оправдание собственного существования. Их сознание смещалось с Божественного «кремнистого пути» с говорящими в небесах звездами на нехоженые тропы, где отсутствовали правила движения. Эти тропы вели в никуда, неизвестно куда, куда угодно, но только не туда, куда надо».

Вергильев в романе «sВОбоДА» был удивлен, что его статья, с величайшей точностью предсказавшая будущее космонавтики, не нашла отклика (успеха) у читателя. Эту загадку нетрудно разгадать в контексте теории романа-голограммы. Воображение Вергильева сотворило мир, который нигде и везде. Этот мир — «несуществующее» или, что одно и то же, существующее только в сознании отдельно взятого человека. Для того чтобы возникшее у Вергильева «несуществующее» было воспринято читателем и имело успех, оно должно убеждать в том, что оно истина. Однако в самом «несуществующем» убедительности нет и не может быть. Убедительность может дать лишь *отношение писателя к миру своего воображения*. Чтобы сделать свое «несуществующее» убедительным, Объемов берется его *доказывать*. Образ сталинского следователя, доказывающего несуществующий заговор, в котором Объемов представляет свое воображение, объясняется теорией романа-голограммы, хотя сама теория не исчерпывается этим образом.

Доказательство — не единственный путь придания убедительности «несуществующего» писательского воображения. Так, в повести «Коридор» редактор отдела науки журнала «Юность» Моня, Михаил Львович Капустин (напоминающий писателя А. М. Борщаговского), мудрый, как библейский змий, наставляя Никиту, предсказывает автору непроходного в настоящем рассказа «Ремонт» будущий читательский успех. Запрещенная сегодня эротика *страхует* рассказ Н. Геллера, подобно лонже (цирковому страховочному канату), являясь гарантом его успеха в скором времени. Предсказание, разумеется, сбывается (в постсоветское время). Но суть его — в том, что «несуществующее» можно сделать убедительным, застраховав его низкой, пока еще невозможной в официальной советской литературе, эротикой. Литература будет отделена от государства, — пророчит Моня, — чтобы не путалась под ногами: «<…> Никому не будет ни малейшего дела до ваших писаний. Это сейчас вы в заповеднике, где на каждом шагу кормушки, а потом всех вас, кстати, вместе с читателями, выгонят в лес. Там-то, в первозданном лесу, и узнаете, что народу плевать на Толстого с Достоевским, а вот на Олялина, девчонку и огурец (речь идет о рассказе Н. Геллера) — нет!»

Объемов догадывается, что специфика воображения является следствием двойственности человеческой природы писателя. Объемов писал свои произведения, ставя целью разоблачение лживости существующего мира, но тем не менее жаждал признания этого мира, потому что «признание являлось одним из условий существования пишущего человека…». Еще конкретнее эта мысль высказана

Ю. Козловым в романе «sВОбоДА» — в связи с неуспехом статьи Вергильева. Размышляя над словами компьютерщика Бунина о «всесокрушающей прелести «среднего мира», Вергильев обнаруживает, что словом «прелесть» Бунин, как скальпелем, вскрыл его «тайное желание <…> “прельстить” изуродованный Сетью мир собой и самому прельститься этим миром. То есть, умножив несовершенство уже не реального, но еще не окончательно виртуального мира на собственное несовершенство (зачем туда лезешь?), получить… (всесокрушающее?) удовольствие. Все и (или) ничего — такова была цена “прелести”». Писательское воображение умножает несовершенство мира на несовершенство писателя, и это — объективный фактор голографического письма, справедливый как в отношении писателя-«неудачника» Объемова, так и писателя-«счастливца» Н. Геллера. «Неудачник» и «счастливец» только меняются местами — в зависимости от изменений социальных обстоятельств. В советское время печатали реалиста Объемова, в постсоветское «счастливцем» становится порнограф Н. Геллер.

Объяснение формулы писательского воображения как умножения несовершенства мира на несовершенство писателя можно найти в повести «Коридор». Глядя на цензурное коверканье армейских очерков начинающего писателя Максима, Никита Прокофьев теряется в догадках: что это — праведное желание дать позитивную картину советской жизни или подлый идиотизм? Эта дилемма возникает у Никиты именно ввиду несовершенства мира, в котором сосуществуют негатив и позитив. Он страстно мечтает стать писателем. «Лиственная девушка» — символ литературы над входом в редакцию популярного в то время журнала «Юность» свидетельствует, что писательство есть своего рода восполнение человеческого несовершенства. Принимая в расчет несовершенство мира и самого себя, Никита и формулирует теорию романа-голограммы: «<…> суть, она же истина. Находится в пространстве между тезисом и антитезисом, совсем как знаменитое библейское зерно между каменными жерновами. Значит, из этого, растертого в муку, зерна мне надлежит выпекать мой хлеб, вздохнул Никита, потому что я сам это зерно. <…> Правда, немного смущало, что в пространстве между тезисом и антитезисом, то есть между безжалостных каменных жерновов, оказывалась вся окружающая жизнь».

Воспоминания о работе в другом — детском — журнале, где он отвечал на письма юных авторов, возвращает главного героя повести «Белая буква» Объемова к вопросу о несовершенстве мира и писателя. Объемов знакомится с рассказами незнакомца, укрывшегося под псевдонимом *Каспар Хаузер*. Он обнаруживает, что произведения Хаузера *совершенно* не соприкасаются с реальным миром. Подобно герою романа Якоба Вассермана, имя которого стало и его именем, автор рассказов отрешен от лжи и мерзости мира. У него, по эротической ассоциации Объемова, отрицательная реакция Вассермана (на сифилис). Каспар Хаузер здоров, а мир — болен. Но здоров Каспар Хаузер только потому, что между ним и миром нет никакой связи. Нет, по той же самой эротической ассоциации, близости. Любви. Объемов проявляет симпатию к Каспару Хаузеру, но его не оставляет ощущение неестественности писательских отношений Каспара с действительностью. Он избирает другой путь, подсказанный ему, по всей видимости, еще одной неординарной рукописью — пьесой ученицы девятого класса «Весеннее волшебство», изображающей последние минуты жизни Гитлера.

Содержание «Весеннего волшебства» имеет большое значение для понимания рассмотренного в повести феномена властной мифологии. Переклички «Весеннего волшебства» с экзистенциальным мифом о Гитлере позволяют увидеть в пьесе девятиклассницы голографическое произведение. «Весеннее волшебство» и есть тот хлеб, который, по мысли Никиты Прокофьева, писатель выпекает из перетертого в муку зерна своей жизни.

Механизм создания произведения-голограммы, созданного воображением, умножающим несовершенство мира на несовершенство писателя, Ю. Козлов детально изображает, рассказывая о том, как в голове Объемова складывается замысел рассказа «Тамань-2». Объемов обнаруживает отдаленное сходство приключившейся с ним в гостинице «Лида» истории (невольное участие в спасении летчика Алеши) с историей лермонтовского Печорина из «Тамани». Понятно, что Объемов стремится следовать традиции русской классической литературы. Однако его смущает одно обстоятельство: «<…> если Печорин не возражал сыграть с контрабандистами на собственную жизнь, то у пугливого и осторожного Объемова подобное желание отсутствовало напрочь». Объемов стыдится нежелания идти на риск, но вспоминая собственную статью «Коэффициент бездействия», делает вывод, что такова Россия, поэтому его бездействие — всего лишь малая толика бездействия народа. Путаясь в астрономических дефинициях, Объемов представляет себя крохотным астероидом, вращающимся на орбите непредсказуемой российской истории: не то красного гиганта (СССР), не то белого карлика (вероятно, антисоветская Россия 1990-х годов), не то черной дыры (постсоветская РФ). Единственная надежда — на сильную личность, которая пробудит народ ото сна. Объемов, естественно, приходит к мысли о революции. Эта перспектива его пугает, но и с затянувшимся сном народа он согласиться не может. Мысль его совершает очередной кульбит: ему приходит на ум, что он все-таки «не дал проиграть Каролине, Олесе, свалившемуся через шестнадцать лет с неба майору Алеше», а значит — не струсил, рискнул.

Это самообман, но не банальный. На такую мысль наводит рассказ-голограмма «Тамань-2», *исправляющий* сюжет лермонтовской «Тамани». Печорин примкнул к контрабандистам и организовал «настоящую бандитскую империю». У слепого юноши, которого Печорин приблизил к себе, открывается дар предвидения: он предсказывает Крымскую войну и поражение России. Печорин отправляется на тайную встречу с царем Николаем I и сообщает о катастрофическом будущем. На этом сюжет рассказа обрывается, но дальнейшее и так очевидно: русская история меняет направление, Печорин становится спасителем России. Замысел «Тамани-2» позволяет реконструировать объемовское представление о сущности писательства. Согласно Объемову, творчество писателя направлено на создание голографической реальности, которая, не скрывая мерзости мира, обличая ее, в то же время должна служить предупреждением о грозящей миру опасности.

Ю. Козлов изображает процесс возникновения замысла «Тамани-2» как *рефлекс* писательского воображения. Замысел-наваждение заставляет Объемова почувствовать некую ошибку, заложенную в фундамент принятой им теории произведения-голограммы, ошибку, в которую *отказывается* верить его разум. Ошибочность этой теории подтверждает сон Объемова о выступлении на некоей конференции. Объемову снится, что он стоит перед людьми с «расплывающимися, как блины на сковородке, лицами», даже не людьми, а «человеческим материалом, из которого кто-то что-то всегда хотел сшить, руководствуясь собственными мыслями о качестве материала и моде». Объемов судорожно ищет куда-то запропастившиеся тезисы выступления: в них содержится предупреждение о близящейся катастрофе, которая потребует сильной личности и большой крови. Зал со слушателями неожиданно превращается в бассейн, а тезисы Объемова — в бытовой прибор вроде фена или электробритвы: «Прочитать тезисы было все равно что швырнуть в бассейн электрический прибор!» Объемов понимает, что тезисы-предупреждение, которыми он надеялся спаси людей, несут гибель присутствующим в зале. Происходящее кажется ему абсурдом. Он чувствует, что «лица-блины» обречены — вне зависимости от того, услышат они его тезисы или нет. Выступив с тезисами, он погибнет вместе со всеми, но прежде того будет осужден слушателями за человеконенавистничество.

Губительность тезисов-предупреждения имеет, однако, объяснение. Страшный образ, в котором они предстают перед Объемовым, — электробритва в бассейне с водой — это метафора, отсылающая к ключевой сцене романа «sBOбоДА»: сцене открытия аквапарка. Отчаянный, вызванный слепой ненавистью к созданному новыми хозяевами жизни миру, бросок посоха-копья отца Дракония, вождя православных коммунистов, приводит к замыканию в системе управления аквапарка, и находящийся в бассейне со своей свитой Президент растворяется (исчезает), тем самым освобождая место правителя страны Вице-премьеру, воплощающему в романе сильную личность. Отсылка к роману «sBOбоДА» указывает на то, что предупреждающие тезисы Объемова не способны спасти людей, напротив, в них есть нечто, что ставит их на службу идее «радости через силу».

Прихотливо выстроенный Ю. Козловым образный ряд сна о выступлении на конференции позволяет связать иллюзорность представлений Объемова о тезисах-предупреждении с его теорией произведения-голограммы. Это и есть «средний мир» воображения писателя, вынужденного обретаться между жерновами обличения лживости мира и стремления получить у мира признание. Произведение-голограмма синтетически сочетает в себе ненависть писателя и его любовь. Это сочетание парадоксально, но писательское воображение разрешает его противоречия, позволяя видеть в ненависти к миру *отложенную* любовь. Отношение Объемова к читателю наполнено желанием близости. Но его понимание творчества как умножения несовершенства мира на собственное несовершенство порождает в нем недоверие к читателю. Именно оно превратило его любовь к ближнему (в данном случае потенциальному читателю) в *любовь к дальнему*.

Писательское воображение порождает «несуществующее», и в этом Объемов абсолютно прав. Отношение своего героя с читателем автор рисует через призму отношений с буфетчицей Каролиной.

Объемов теряется в догадках, что его связывает с Каролиной: его писательское обаяние или какой-то личный интерес женщины? Ему приходит на ум фраза американского поэта Уолта Уитмена: «Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить?» Эта фраза возникает в сознании Объемова неспроста. Она — отзвук его размышлений об успехе. Уитмен снискал благосклонность читателя благодаря демократизму, доверительности своей поэзии. Однако Объемов обнаруживает в уитменовском демократизме какую-то поддельность (характерную, вероятно, для американской культуры в целом, одновременно и дружелюбной, и агрессивной). Поэтому доверительность Уитмена так легко становится у Объемова своей противоположностью: «Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?» Но уитменовский демократизм важен прямотой постановки вопроса о любви к ближнему.

Объемов ведет себя с Каролиной недоверчиво, воображая, что она хочет его отравить. Затем, ублажив себя графинчиком водки, становится намного добрее к буфетчице и даже не возражает против того, чтобы она его и в самом деле отравила. Смена настроения Объемова показательна, но куда интереснее определить причину совершенно нелепого предположения об отравлении. Мысль об отравлении приходит к Объемову *взамен* мысли об интересе Каролины к нему как мужчине в тот момент, когда он отклоняет самую возможность любовной близости с ней. Объемов не хочет любить Каролину, она физиологически отталкивает его. Немолодая, с выпирающим животиком-утюжком, венозными ногами и, как ему чудится, недостачей во рту. Как ее — такую! — можно любить? Эта сцена в чем-то воспроизводит логику невозможности любви к ближнему, которую развивал Иван Карамазов перед братом Алешей, ссылаясь на историю Иоанна Милостивого.

Косвенно на это указывают воспоминания Объемова о любовной близости с письмоводительницей Светой, определенным образом перекликающиеся с ситуацией Каролины. Оказавшись среди молодых женщин, сотрудниц журнала «Пионер», юный Объемов предпочел Свете замужнюю Марину. Марина источала запах духов с горчинкой, а от Светы шел удушливый запах пота. Но близость со Светой однажды все же была. Объемов вспоминает, как, задерживая дыхание, чтобы не задохнуться от запаха пота, раздевал девушку в общаге под музыку рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Jesus Christ Superstar». Хелен Редди, исполнительница роли Марии Магдалины, ангельским голосом пела: «Я не знаю, как любить Его?» А он, Объемов, искажая слова певицы, думал о Свете: «Я не знаю, как любить ее?» Объемов любил Свету, но любил неискренне.

Нетрудно увидеть, что воспоминание Объемова фактически иллюстрирует рассуждения Ивана Карамазова об Иоанне Милостивом. К порогу жилища Иоанна пришел грязный больной человек, с дурным запахом изо рта, но ни язвы на его теле, ни исходивший от него смрад не отвратили Иоанна от этого человека. Иван не отрицал подлинности истории Иоанна Милостивого, но ни на секунду не мог допустить искренности любви праведника. Любить ближнего невозможно. Любить человека можно только издали, только дальнего. Даже не любить, а любоваться, как любуются нищими завсегдатаи балета, когда они, овеянные идущими от их живописно-пестрых лохмотьев запахами духов, грациозно танцуют.

В отношениях с Каролиной проявляются отношения Объемова со своим читателем, поэтому эта сцена образно характеризует его творчество. Как и Иван Карамазов, Объемов не может принять людское страдание. Все, на что способен писатель Василий Объемов, это любовь к дальнему, но не ближнему. Заслонение духовности любви телесным началом питает писательское бессилие Объемова, и его старение это лишь подчеркивает. Признание своей мужской слабости, неспособности «поехать» даже со скульптурной красавицей Олесей заставляет ощущать *недостаточность* телесной жизни. Объемов постарел, женщины его не хотят, да и сам он уже не может. Телесное бессилие, обнажая неутоляемую нужду в любви, рождает в нем тоску об иной близости, иной жизни.

Художественный мир «Белой буквы» наследует идею Ф. М. Достоевского о — христианской по сути — любви к ближнему. Но особенным образом. «Белая буква» не дает оснований говорить, что Объемов преодолевает гнет телесно-чувственного отношения к миру и уясняет идею духовной любви. Происходящие в Объемове внутренние процессы поясняет история деда Каролины. Из путаного рассказа буфетчицы явствует, что в детстве, во время войны, Дед видел в оккупированной немцами Умани Гитлера. (Сцена встречи на городском рынке Гитлера с Дедом вызывает ассоциации со знаменитой фотографией Сталина, «друга всех советских детей», запечатленного с Гелей Маркизовой на руках.) Эта случайная встреча во многом предопределила судьбу Деда. Немцы отрядили отмеченного вниманием фюрера мальца на продуктовый склад, а когда Красная Армия освобождает Умань, Деда репрессируют как пособника оккупантам. Ныне Дед, переживший и Гитлера, и советскую власть, получает двойную пенсию — и от своих, и от немцев. Живет без телевизора (он расстрелял его из охотничьего ружья), читает истрепанные номера «Роман-газеты» советских времен. По намекам Каролины, еще силен по мужской части, и это в свои девяносто лет. Что здесь правда, а что — вымысел, разобраться невозможно. Но главное не это.

Не спешащая (почему-то) деформировать тело старость Деда вызывает зависть в Объемове: мол, отъелся при немцах на продуктовом складе, пока пионеры-герои жертвовали своей жизнью, получает две пенсии и, заправившись «Виагрой», балуется с бегающей к нему очкастенькой учительшей-пенсионеркой. В зависти к Деду выговаривает себя нежелание Объемова смириться со своей судьбой. Дед сохранил себя. Об этом и говорит Каролина, пересказывая думы Деда о старении человеческой плоти: «<…> в определенный момент у человека пути

души и тела расходятся <…>. Организм берет курс на смерть, потому что так велит природа, а человек, если слаб душой, ему подчиняется. <…> Не дай телу себя одолеть, говорил дед. <…> цивилизация существует по физическим законам человеческого тела. Никакая война <…> случайно не начинается. Только когда уровень зла, страданий и несправедливости в мире зашкаливает». Зло, страдание, несправедливость — болезни человечества, и смерть — даруемое Богом лекарство. Смерть лечит, ибо есть жизнь вечная, жизнь души. Думы о старении приводят Деда к формуле существования: «Жизнь = Смерть + Бог».

Формула Деда не становится откровением для Объемова. В ней дано иное измерение формулы новых хозяев жизни: «Жизнь = Собственность + Власть». Плоть, единственная действительная собственность человека, обречена на смерть, и нет власти могущественнее той, что в руках Бога. Согласно Ю. Козлову, за формулами стоит не идейный выбор, но отчуждение плоти от души, забвение души. Именно идеологические наслоения отчуждают человека от самого себя, своей полноты и подлинности. Откровение — в открытии человеком духовной реальности своего существования. Открытии, подобном поэтическому творчеству, когда обыденная человеческая речь становится божественным языком. Не случайно Платон писал о метафизической соприродности любви и поэзии.

Глядя на происходящее вокруг, Объемов с удивлением замечает, что ни Гитлер, ни Сталин не умерли. Они действительно растворились в будущем — в ожидании нового воплощения. Это странное свойство властных мифов он уподобляет увиденному им в детстве на уроке физики процессу собирания железной пыли при воздействии на нее электрическим током в напоминающий совиную морду рисунок. Властные мифы творит писательское воображение, но их реальность подчинена законам природы, властвующим над человеческой жизнью. Есть связь между природой и воображением, и в конце концов Объемов ее обнаруживает, находя в никем не придуманной истории жизни Алгбеты смысл сумасбродной пьесы Белой буквы «Весеннее волшебство».

В самый разгар брежневского застоя, где-то в конце 1970-х, ленинградская девятиклассница сочиняет пьесу о Гитлере. Сюжет пьесы — спасение инопланетянами обреченного на гибель фюрера. Гитлер как бы дематериализуется и отбывает на космическом корабле пришельцев в неведомые дали. Фюрер оставляет своих соратников, обнадеженных обещанием инопланетян материализовать его плоть и возвратить на Землю через сто лет, когда наступит действительный срок того мира, за который он боролся. Объемов даже не стал отвечать Белой букве, настолько пьеса была нелепа. Но проходят годы, и он убеждается в том, что ошибался.

В начале 2000-х в Братиславе, возвращаясь с (опять-таки) литературной конференции, Объемов знакомится с Алгбетой, пожилой женщиной, говорящей по-русски. Отец Алгбеты был наполовину судетский немец, наполовину словак, мать русская — она познакомилась с ним в годы Гражданской войны в России и, выйдя замуж, последовала за мужем в Чехословакию. Алгбета вступает с Объемовым в разговор, заметив у него в руках книгу Иоахима Феста «Гитлер», дорожное чтиво, не более того. Неожиданно выясняется, что не кто иной, как фюрер сыграл в жизни Алгбеты решающую роль. Словаки восторженно встретили появление немецких войск в Чехословакии. Отец Алгбеты служил министром почты в пронацистском правительстве Тисо. После войны он был расстрелян коммунистами. Помыкавшись по лагерям, Алгбета бежала из страны. Дорога привела ее в Южную Африку, она вышла замуж за фермера-бура. В 1990-х в ЮАР были отменены законы о расизме, от белых африканцев власть перешла к черным. Новые хозяева жизни спалили ферму Алгбеты, муж ее был убит. Женщина в который раз вынуждена бежать, теперь в Европу.

Алгбете довелось пережить не одну *перестройку*, и уж кому, как не ей, дать ответ на мучающий Объемова вопрос: «Что делать?» И она его дает — цитируя

Гитлера: «Люди, не способные собрать силы для битвы, должны уйти». Самое поразительное, что Алгбета стоит на этой истине, люто ненавидя самого Гитлера. Впрочем, ее отношение к фюреру не сводится к обиде за искореженную жизнь. В словах Гитлера она видит проявление жизненного закона, и только поэтому они для нее значимы: «Перестройка и туман — это пауза, затишье перед очередным концом <…>. Сила не в нем. Она спит в людях. Если он знал, как собрать ее для битвы, значит, появятся и другие, кто сможет. Пусть даже отправная точка будет диаметрально противоположной. С кого он начал? С социал-демократов, душевнобольных, педерастов, евреев? Кто их уничтожал? Немцы и другие белые европейцы. Законы в Европе сегодня устанавливают те, кого он уничтожал. Белые в Южной Африке пострадали первыми. На очереди — белые в Европе. Суть в том, что уничтожение первично, а отправные точки вторичны. Зло можно победить только более сильным злом, чтобы потом его победило еще более сильное зло. Он был всего лишь звеном в этой цепи. Звеном, но не цепью».

Только тогда, кажется, Объемов и начинает понимать, что означала мысль Белой буквы, точнее, осознавать ее художественный образ, в который она заключила невозможную мысль о возвращении Гитлера на Землю через сто лет. Алгбета воочию видит в торжестве европейского либерализма материализацию Гитлера. Материализация фюрера осуществляется помимо идеологии, идеологические построения мало что значат, они «вторичны», ибо в этом мире «уничтожение первично». Ибо этот мир — замкнутый круг ненависти и борьбы. Любви к дальнему, которая оборачивается ненавистью к ближнему.

Ю. Козлов меньше всего стремится разоблачать либеральный режим современной Европы, если у него вообще было такое намерение. Есть нечто в людях, что заставляет их добавлять звенья к и без того длинной цепи зла. Что-то не позволяет им прекратить это страшное дело. Зло становится неизбежным, когда духовное начало человека подменяется плотским, и его любовь, отвергая ближнего во имя дальнего, утрачивает искренность и заканчивается ненавистью. Но происходящей в человеке подмены не понять, *не признав* в его ненависти странной, искаженной, болезненной *любви.* Так, рассказывая о выступлении Гитлера, свидетельницей которого она оказалась, Алгбета вспоминает: «<…> Он разрушил мою жизнь. Но был момент… на площади в Граде. Мне было пятнадцать. Не знаю, как это звучит на русском… Скрытый оргазм, да, я его ощутила. Тот теплый весенний ветер с сиреневыми и розовыми лепестками… как будто влетел мне под юбку… С тех пор я в бесконечном полете <…> только уже без оргазма…»

Вероятно, и дикая художественная фантазия девятиклассницы, взявшей псевдоним Белая буква, в пьесе о Гитлера была вызвана тем, что Алгбета назвала «скрытым оргазмом». И Алгбета, и Белая буква пережили «скрытый оргазм», будучи невинными девушками, не знавшими плотской любви. В этом эротическом переживании нашло выражение женское стремление к любви, желание любить и быть любимой. Дело тут не в Гитлере — это закон природы. Может быть, в этом разгадка очарования России сильной личностью, о котором Ю. Козлов пишет в своих романах и повестях. Россия-жена отдается сильной личности, следуя своему естеству, и подобно пушкинской Татьяне, не может увидеть в избраннике «фальшивку». В этой ошибке — незнание самой себя. Так было и с Россией, и с Германией. В свое время они горячо любили Сталина и Гитлера, и только потом открывали «фальшивость» их правителей-мужей. Любовь Гитлера была губительной, Сталина — спасительной, но эта близость заслонила собой ту любовь, которой жаждала народная душа.

Согласно автору, телесная любовь входит в замысел Бога о человеке. Объемов постигает пустоту своей души, но вдруг открывает в себе истинную любовь. Спасает его Каролина. В женской душе, как в зеркале, он видит свое отражение. В ее душе — свою. В этот момент между Объемовым и Каролиной возникает одухотворенная близость. «Спать интереснее, чем жить», — с горечью говорит Каролина, и хотя не сразу, до Объемова доходит, что она ведет речь о сне. Он это

знает, он и сам теперь живет только во сне. Счастье сна — оборотная сторона старения, той муки, которую претерпевает плоть. Страдание тела, подсвеченное миром сновидений, где идет иная — не плотская — жизнь, рождает в Объемове что-то похожее на любовь Иоанна Милостивого. И он искренне обнимает Каролину, забыв о ее непривлекательности. Объятие длится лишь мгновение, но оно бесценно. Иван Карамазов отказывал Иоанну Милостивому в искренности, не верил в то, что любовь к ближнему *существует*. В мгновение, когда несуществующее стало подлинной реальностью, Объемов чувствует, что всю свою жизнь заблуждался точно так же, как Иван. Возможно, в это мгновение Объемов убеждается и в ошибочности своих представлений о литературе. В любви к ближнему одухотворяется воображение писателя, и тогда литературе не надо ни доказывать, ни страховать «несуществующее» писательского воображения. «Несуществующее» становится *существующим воистину*.

Эту мысль Ю. Козлов разворачивает в «Белой букве» с помощью художественных образов, работающих на осмысление феномена властных мифов. История спасения летчика-испытателя Алеши — то ли сон Объемова, то ли явь, — это история открытия души писателя, показывающая ошибочность теории произведения-голограммы. Невозможно не увидеть проводимую писателем параллель между созданным Белой буквой Гитлером и живущим, в сущности, только в сознании Каролины Алешей. И Гитлер, и Алеша дематериализовались — растворились в будущем, в мифологическом пространстве воображения. Алеша, как и Гитлер, миф. Миф о Гитлере — это проявление закона природы, подобного силе тяжести. Миф об Алеше — иной. Это миф о человеке, преодолевшем земное притяжение и устремившемся в космос, человеке, плоть которого обрела *невесомость*. В этом мифе угадывается образ первого космонавта человечества — Юрия Алексеевича Гагарина, и внешний облик Алеши, и его судьба свидетельствуют об этом. Но миф об Алеше опирается не только на образ Гагарина.

В романе «sВОбоДА», характеризуя Аврелию, «человека судьбы», Ю. Козлов писал о некоем коридоре, существующем между миром «силы вещей» и миром «отдельного» человека. Аврелия полагала, что этим коридором, пройдя который, человек может выйти за пределы гнетущей его телесной зависимости, являются деньги. На них можно купить все, что необходимо для жизни. Она мечтает о необитаемом острове, это ее образ Рая. Но иногда, когда Аврелия нечаянно становилась «отверткой» некоего неподвластного разуму действия, оказывалась в границах Божьего промысла, ее охватывало ощущение невозможной невесомости. Это ощущение она отождествляет с невесомостью самолета-тренажера, используемого для подготовки космонавтов к полету в космос, переведенного в режим свободного падения. Но неожиданно ей приходит в голову, что эту невесомость ощущают и пассажиры гибнущего авиалайнера: «<…> неужели это происходит со всеми падающими самолетами, и несчастные пассажиры перед неизбежным преодолением притяжения жизни преодолевают еще и притяжение Земли?»

В мифе о летчике-испытателе Алеше в идее невесомости соединяются оба значения: преодоление земного притяжения и приближение к гибели. В этом миф об Алеше противостоит властному мифу о Гитлере. Миф об Алеше — жертвенный. Алеша дематериализуется, думая лишь о спасении своего напарника и людей, над домами которых падает его самолет. Алеша не умер, он живет в снах Каролины, незримо находится рядом. Несуществующий Алеша воистину существует в душе его жены, и его невозможное существование одухотворяет ее жизнь. Подлинное понимание жертвенности мифа об Алеше связано, безусловно, с житием Алексия человека Божия — праведника, который, посвятив свою жизнь служению Господу, втайне, как бы незримо, долгие годы служил своим родным, облегчая телесные тяготы их старости.

Мифы о Гитлере и летчике-испытателе Алеше — властный и жертвенный — существуют в сознании героев «Белой буквы» одновременно. Они противостоят

друг другу в самом человеке, как два закона — закон «Я» и закон Христа, о которых писал Ф. М. Достоевский, переживая смерть своей первой жены — Марии Дмитриевны Исаевой. Это противостояние мифов в человеке отражает мысль Объемова об истории, которая представляется ему качелями, качающими человечество из стороны в сторону: «Бог хотел одного, люди — другого, в результате получалось что-то третье, что не нравилось ни Богу, ни людям…» В коридоре, между этими мифами, обитает и сам писатель Объемов. Он не может его покинуть, потому что не обладает ни силой таланта Иисуса Христа, даровавшего людям прощение и жизнь вечную, ни силой таланта Сталина, преобразившего Россию наказанием. Литературе не дано перевернуть мир, признается Объемов, ее участь — вырождение, ведущая к смерти старость. Ее-то он и чувствует в себе. Разлучившая его с литературой старость возвращает Объемова в коридор, по которому когда-то отправился в путь его двойник — юный Никита Прокофьев, сформулировавший теорию романа-голограммы. Он видел в ней следование библейской притче о зерне: писать — значит печь хлеб из муки, намолотой из зерна, которым он сам и является. В «Белой букве» эта метафора творчества поверяется *жизнью* Объемова, и эта поверка открывает ее ложность. Творчество писателя, в котором нет жертвенной любви к ближнему, обречено состариться и навсегда почить. Об этом и говорит притча, до конца так непонятая Никитой Прокофьевым: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

Козлов в «Белой букве» не дает *другой теории* литературного произведения. В повести изображается трудное постижение мысли о возможности иной жизни в литературе — жизни несуществующей, но жизни истинной. Мысль автора об иной жизни писателя — *точка преодоления* противоборства сохранившей себя с советских времен литературы-доказательства и набравшей силу литературы-страховки. Именно поэтому «Белая буква» вызывает молчаливое неприятие представителей обоих литературных лагерей. Это действительно пугающая мысль.

В жертвенном мифе о летчике-испытателе Алеше отражается самосознание писателя Объемова. Бессилие писательского воображения подводит его к мысли, что литература обретает подлинность, лишь становясь духовным подвигом писателя. Без него она утрачивает свой божественный язык и, по большому счету, перестает *быть нужной* людям. Именно об этом говорил один из бойцов командира красноармейского отряда Чепурных в романе А. П. Платонова «Чевенгур», книге, как и «Белая буква», создававшейся *в период кризиса* русской литературы: «Нам нужно сочувствие, а не искусство». Через призму этих слов Ю. Козлов и рассматривает в своей повести настоящее и будущее русской литературы. Мысль его об иной жизни в литературе требует выхода за пределы литературного творчества. Вероятно, эту мысль лучше всего передает житие Алексия человека Божия. Духовный подвиг любви к ближнему требует от писателя сослужить людям ту службу, в которой они больше всего нуждаются. Только тогда, может быть, его творчество, станет *существующим воистину*.

Иная жизнь писателя предстает в повести как момент постижения истины Василием Объемовым. Его судьба остается недосказанной, как и финал «Белой буквы». Может быть, они снова встретятся, писатель-муж и утраченная им литература-жена. Встретятся здесь. Или в вечности.



С точки зрения рецензента

В поиске истинного пути



Имя одного из старейших белорусских прозаиков Ивана Копыловича хорошо известно читателям, особенно старшего поколения. На протяжении почти четырех десятилетий творческой деятельности писателя в журналах «Полымя», «Нёман», «Маладосць», иных республиканских изданиях печатались его произведения, после чего выходили отдельными книгами.

И журнальные, и книжные публикации Ивана Ивановича вызывали и вызывают самые теплые отзывы у читающей публики, получали и получают высокие оценки критики. А такой мастер родного слова, как Иван Пташников, еще на ранних этапах литературного творчества Ивана Копыловича отмечал жизненную правду его повествований, психологизм, образность, умение автора вызывать у читателя сопереживание героям, в своем большинстве, простым людям, на которых, как говорят, земля и держится.

Зная все это, соглашаясь с оценкой творчества Ивана Ивановича, данной ему и И. Пташниковым, и иными его коллегами, соглашаясь с их мнением, я, как давний почитатель прозы Копыловича, этого самобытного художника слова, восхищался и восхищаюсь его свободным владением полесской речью и всегда с нетерпением ждал и жду новые произведения писателя. А когда они появляются — радуюсь: правдиво он рассказывает о людях, наших современниках разных поколений, ярко и красочно живописует родную природу. И еще отмечаю: прозаик Иван Копылович в каждом своем новом произведении, верный своим жизненным принципам — во всех ситуациях, даже в самых трудных, всегда остается человеком. Но быть человеком, трудно и непросто во все времена. Для этого требуется не только недюжинная сила воли, но и способность понять самого себя, людей, среди которых жил и живешь, и, в конце концов, правильно осмыслить действительность, не поддаться на всяческие искушения, особенно часто появляющиеся перед каждым из нас в наше сложное время. И еще: меня всегда по-хорошему удивляло умение писателя «строить», создавать, «орга-

низовывать» сюжет своих произведений, как это умели делать классики, да и сейчас делают некоторые наши ведущие мастера слова: веришь им, вымышленное воспринимаешь как действительное. Как, впрочем, удивляет это и во всех трех повестях новой книги Ивана Копыловича «Ураган», вышедшей в 2018 году в издательстве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі».

В книгу включены три повести писателя. Главный герой первой из них, повести «Рубеж», журналист Антон Мурашка, в ком мне, давно лично знающему Ивана Ивановича и как человека, и как творца, угадываются некоторые его черты, находится как бы на жизненном распутье.

На работе, в газете, где он трудится, у него вроде все и получается, и как будто не совсем… Писать он умеет, свою работу любит, с людьми общителен, всегда готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Да и в личной жизни у Антона все хорошо.

Правда, случается, начальство иногда проявляет недовольство. И кажется, есть за что: бывает неточен в своих материалах, растерян, что ли… А еще — вдруг появилась новая забота: он строит дачу…

Вообще-то, с дачи, ее постройки, с желания Антона — сегодняшнего горожанина, а по сути в чем-то все еще сельского жителя, — иметь свой загородный уголок, со своей землей (пусть даже ее пятачок), и начинается все то неприятное, что не дает ему спокойствия и на работе, и дома. А именно: хлопоты о том, где и как «достать» лес на постройку, как наладить отношения с соседями по дачному участку да как при этом остаться самим собой на работе и в быту, или точнее, во взаимоотношениях с людьми…

Казалось бы, что может быть проще, как, впрочем, нередко происходит в жизни: не обращай ни на что и ни на кого внимания, делай свое дело — что тебе остальные… Но нет, Антон понимает, что, ступая на стезю «не обращай…», ты незаметно и постепенно можешь потерять самого себя, как человека. И что очень и очень важно: человека, формирование которого начиналось в том мальчишке, а затем крепло в том подростке и в том юноше, который когда-то с открытой добру душой и верой в справедливость ушел «в люди» из своей полесской деревни. А семена, ростки всего этого, конечно же, у Антона прежде всего от матери (отец погиб на фронте), которая фактически одна и вырастила его в трудные послевоенные времена, хотя и не без помощи отчима, хорошего человека, да и односельчан, таких же горестных, как она, но прекрасных жителей нашей земли…

А тот мир, в который окунулся Антон, приехав из глубинки в столицу учиться и жить, встретил его далеко не с распростертыми объятиями: у каждого свои заботы, интересы, свои трудности: и ты здесь чужой…

Об этом в свое время писали многие наши прозаики поколения, предшествующего поколению Ивана Ивановича Копыловича, да и идущие после. В частности, В. Адамчик, М. Стрельцов, А. Дятлов, В. Гигевич, В. Рубанов, В. Гаврилович и др. И каждый — по-своему: все они как люди и как писатели разные, а это прекрасно!.. Ведь мы видим жизнь с самых разных точек зрения, воспринимаем его во многом по-своему, даем всему свои оценки. Но видим и общее. Видим, знаем, что, к примеру, не всегда при столкновении добра и зла первое сразу же побеждает. Случается, видим, что понятия справедливости в том или ином трудовом коллективе не особенно в чести. И многое иное негативное замечаем. Но остаемся в стороне: пусть, а мне-то что. Дескать, мир большой, а я в нем такой маленький…

Все это замечает и видит и Антон Мурашка, главный герой повести. Как журналист он часто выступает за справедливость для других, а в редакции порой не может постоять за себя. Постоять за других легче, ибо считалось, что общество, государство всегда на защите человека от той несправедливости, которую, случается, отдельные чиновники проявляют к нему, а вот

как постоять самому за себя… Когда-то же, в детстве и юности, верилось, что большой мир людей, как говорят, примет тебя с радостью. Очень верилось…

Вот тут и возникает вопрос: а тот ли ты сейчас, Антон, каким некогда был? Не утратил ли постепенно себя, того мальчишку, подростка, юношу, который в свои самые трудные времена смотрел на жизнь доверчиво и открыто?.. Да, да, того самого, который хотел добра и себе, и людям, и верил, что именно личная доброта и является той «закваской», на которой должны строиться твои взаимоотношения с остальным миром… Что предшествовало этой утрате, если она случилась?..

Вопросов, как видим, немало. И каждый требует ответа, прежде всего для самого себя. Но, наверное, следует выделить главное: а когда твое прежнее миропонимание начало рушиться?.. Поразмыслив, понимаешь: тогда, когда в новой, некогда такой заманчивой действительности увидел, что в ней не все так просто, как тебе представлялось… За примером далеко ходить не надо, взять хотя бы работу, коллег. Того же Жору… Тот не перетруждает себя, начальство особо его не трогает, и живется Жоре неплохо. А почему? Да потому, что у него есть покровитель, занимающий пост повыше, чем главный редактор газеты, в которой они работают: дядя. И это покровительство якобы дает Жоре право выделяться среди коллег, и в отличие от них, легко жить. У главного героя повести Антона такого покровителя нет. Понимает он это или не понимает, но зависть к Жоре исподволь, как червоточина, начинает потихоньку влиять на поведение Антона. Отсюда и якобы вполне житейские стремления: достать, получить, приобрести и в том числе стройматериалы для дачи, используя свое журналистское имя, — Антон Мурашка хорошо известен в республике… А коль так, то сам может своим печатным словом влиять и на судьбу того, кто имеет возможность помочь ему с теми же стройматериалами, например…

Вирус покровительства с пользой для личных благ, а не с пользой для общества, укрепился в обществе еще в не такие уж и далекие времена. Верховенство связей, как знаем (об этом наша литература писала и сейчас пишет), довольно заметно заявило о себе именно в 90-е годы, о которых и повествует писатель. Этот вирус начал тогда активно проникать в самые разные сферы человеческой деятельности, несмотря на то, что подавляющее большинство людей напрочь не принимало такое положение дел. Иногда даже становилось страшно: куда катится мир?.. Что с нами будет дальше?.. И только активное противодействие этим чуждым понятиям (бескорыстная помощь другим, нуждающимся в ней, имеет совсем иную природу, чем «кумовство»), конечно же, сохранилось среди людей, не исчезло из общества и дало хорошие результаты. А именно: сегодня все подобное, доведшее до страшной коррупции, беспощадно искореняется самим государством, что поддерживается обществом: дальше так жить нельзя…

Так вот, тем писателям, которые знают, как и чем живут люди самых разных слоев общества, и которым дано предвидеть, как дальше будут развиваться события в нашей действительности, есть о чем писать. И писатели, если они настоящие мастера слова, мыслители и аналитики, показывая истоки всего наносного, чуждого людям, настоящим труженикам, стоящим на извечных позициях добра и справедливости, хотят они того или нет, приходится отождествлять себя с этими людьми. Да только ли писателям? Всем неравнодушным и не утратившим совесть. Таков и Антон Мурашка, в котором, например, я, давно знающий Ивана Ивановича Копыловича, нахожу некоторые его черты и как человека, и как журналиста с многолетним стажем, и как настоящего, остро чувствующего время писателя.

А коли так, веришь и герою, и автору, которые, что бы ни случилось в их жизни, через раздумья, через поиск самих себя приходят к выводу, что

никакие заманчивые обстоятельства не могут сломить тебя, если ты сам не поддашься искушениям. А искушений в действительности немало…

Каких?.. Да каждый читатель сам может назвать немало этих искушений.

«Было, есть и будет! — скажет кто-то. — Это заложено в человеческой психологии, этого никому не изменить. А если и изменить, то очень и очень тяжело».

Не буду спорить, повсеместно так это или нет, во всех ли жизненных сферах. Но было, есть, и, не хочется про это думать, наверное, будет. А как тогда быть?.. Как видим, один из извечных вопросов литературы. Прямого ответа нет. А ответ, давно уже известный, дескать, каждому жить по совести, конечно же, правильный. Вот только всегда ли получается каждому так жить постоянно, ежечасно, ежеминутно не поступаться принципами добра и справедливости, как основы «жить не во лжи»…

В книге писателя Ивана Копыловича, в ее подтексте, эта мысль звучит постоянно. И путь героя к ее пониманию непрост. Он — через личные, наедине с собой, мучительные размышления о своей жизни, а также через размышления вместе с людьми об их жизни и жизни вообще.

Кажется, в бытовом плане Антон постепенно достигает всего, чего хотел. Он и дачу построил, и заимел прекрасную квартиру, и работу денежную получил, на которой преуспевал и которая открывала перед ним большие перспективы, вводила его чуть ли не в круг властелинов, пусть и не самого высокого ранга. Но… Но не было у него самого главного: ощущения себя человеком, живущего свободно, спокойно, в согласии с самим собой.

Конечно, легко это констатировать, а вот как изменить?

Антон долго искал свой путь. Он метался между городом и деревней, встречался с самыми разными людьми, пытался учить некоторых, но при этом прежде всего сам учился у них отличать истинную доброту от мнимой, правду от вранья, ложное от настоящего (казалось бы, ему-то, журналисту надо ли этому учиться). О многом передумал Антон, многое вспомнил из своей жизни. Вспоминал тяжелое детство, людей, среди которых рос, мужал, которые бескорыстно помогали ему, а он им… Он часто возвращался в деревню, как говорят, к своим истокам. Подолгу беседовал с матерью об их прежней простой и такой понятной человеческой жизни: хороший человек тот, кто помогает другим. (В послевоенной деревне без этого нельзя было выжить.)

Он уходил в природу, там искал душевное спокойствие, такое необходимое для принятия какого-нибудь важного решения. И чтобы там ни было, врожденный крестьянский прагматизм просматривался в его мыслях, поведении, в действиях. (Между прочим, этот прагматизм, как оказалось, далеко не самая худшая черта в его характере.) И в конце концов пришел к храму, нет, не как истово верующий, а просто как человек, который осознал необходимость этого прихода.

Оказывается, случается и такое меж нами, людьми верующими и неверующими, когда путь вроде и виден, а ты теряешься на нем, не зная, правильно ли идешь. И тогда размышляешь, анализируешь, находишь и теряешь, забывая при этом, что в тебе самом есть тот ориентир, который подскажет тебе, куда идти, что делать, как быть. Это…

Здесь вновь прерываю себя. И вот почему. Об этом ориентире мы хорошо знаем из классической художественной литературы как таковой. Читали. И, наверное, многие из нас даже понимали, что там к чему. Но одно дело читать, знать, другое — прочувствовать.

Антон, главный герой повести «Рубеж», конечно же, прочувствовал это в самом себе. Но очень долго, находясь среди самых разных людей и в городе, и в деревне, откуда его корни и куда постоянно возвращается, куда его эти корни влекут, не задумывается, почему все так происходит в его жизни: вроде все довольно «складно»,

а если задуматься, то не совсем. Да, ушел от больших денег, работая на других. Да, нашел свое дело — создал свой журнал, который не дает таких финансовых благ, как давала предыдущая работа. Да, есть лад в семье, есть понимание с матерью, с людьми, а чего-то душе не хватает… Она, может, и не такая мятущаяся, как, скажем, в подобных ситуациях (поиск себя) душа русского мужика в произведениях некоторых русских писателей еще недавнего прошлого, кого мы читали и читаем: ищет, мечется, находит… (Здесь менталитет немножко различается, и просторы действия иные, да и пространство, смещение жизненных пластов — тоже.) Но все же душа Антона по-своему также мечется, ищет. Православный, безусловно крещеный в детстве, видя, как меняется жизнь и в городе, и на селе, и часто не в лучшую сторону (в бытовом плане — да, а вот в моральном…), неожиданно для себя, везя мать к себе в Минск, сворачивает с шоссе, направляется в сторону церкви, которую, приезжая в деревню, много раз видел. «Чамусьці захацелася зірнуць на яе зблізку яшчэ раз, зайсці, калі яна адчынена, і моўчкі памаліцца, аддзякаваць Палессе за ўсё добрае, што яно дало Антону, калі ён рос і адчуваў яго падтрымку, ласку спагаду». И когда мать спросила, дескать, «Куда ты?», ответил:

«— Хачу паспавядацца. Перад сабой, перад табой, маці, перад Палессем, перад Богам. Хіба я не грэшны? Грашыў міжволі, браў грэх на душу, не задумваючыся. Ці не пара пакаяцца?»

И здесь вновь то, на что я обратил внимание вначале: «Хіба я не грэшны?» Вот только ранее, в самом начале метаний Антона по дороге своей жизни это, «хіба я не заслужыў?», воспринимается как что-то якобы дающее ему право на материальные блага, на то, чтобы жить припеваючи. Но, оказывается, не все так просто. Не было лада в душе. А почему?.. Да потому, что, дескать, много грешил в прежней жизни своей. Но не в понятиях криминальных грешил. (Вот сводный брат Слава грешен как уголовник, а я…) И когда мать, у которой одинаково болит душа за своих сыновей, «путевого» Антона и «непутевого» Славу, да уточняет, о каких своих грехах говорит первый, последует правдивый, очищающий душу ответ. Правда, не сразу, а после ее слов:

«— Што ты, сын, гаворыш?— не паверыла пачутаму маці. — Пра які грэх ты здумляеш? То вунь Слава… Разбасячыўся ён, адбіўся ад рук, а ты… Ты ў мяне, сынок, святы. Я заўсягды табой ганарылася, за цябе не пераживала, як за Славу, знала, што ты дрэннага не зробіш. Ты ў мяне галавасты, з розумам, таму і…

— Эх, маці, маці! Кажуць жа — у ціхім балоце чэрці водзяцца. Я і сам часам не разумею. Не ўсё ты пра мяне, маці, ведаеш, ды і не трэба табе ўсё ведаць. Але будзь спакойная. Мае грахі і крымінал — рэчы розныя».

А далее уже авторское о том, что Антон «…і сам добра не разумеў, за што за якое трэба каяцца. Хіба за тое, што не заўсёды быў цвёрды ў думках, іншы раз пасупаўся сумленнем дзеля нейкай нязначнай выгады, баяўся іншы раз гаварыць праўду, якая магла абвастрыць сітуацыю, магла давесці да белага калення, магла парваць тую адзіную нітачку, на якой трымаўся і сам, і тыя, хто верыў яму, як сабе самому. Верыў, што ён чалавек сумленны і на подлыя ўчынкі не здольны?»

Но матери тогда он сказал иное:

«— Да гэтага часу Бог бярог мяне, не адвярнуўся ад мяне, калі я рабіў нешта няправільна, калі памыляўся. Бог любіў мяне, я выбіўся ў людзі, але мая дарога да Храма парасла забыццём. І хіба я сам ў гэтым вінаваты? Час быў такі, нас выхоўвалі ў нелюбові да бога, і мы гэтаму не супраціўляліся. Хіба гэта не грэх?»

Вновь это «…хіба я сам ў гэтым вінаваты?.. Да как оправдание, что обстоятельства были такие. И вместе с тем о том, что *это* грех. Тогда все же чей? Тех, кто *нас* воспитывал? (Общество.) Личный? Или наш общий?.. А ведь воспитывали *нас* сызмальства к «нелюбові да бога», когда детская душа все сказанное воспринимала

таким, каким и должно быть. И *где* воспитывали, знаем.

Но то, что это не оправдывает героя (мол, прежде всего не моя вина), все же подтолкнуло его к самым глубоким размышлениям о своей взрослой жизни. Ведь Антон понимает, что он, как и многие, в свои уже зрелые годы не сопротивлялся многому ложному в жизни. И понимает, что это и есть грех. И грех здесь не только в религиозном понятии, а, наверное, прежде всего в личном, нравственном, когда пусть и в таком зрелом возрасте, которого достиг, к нему постепенно пришло прозрение. Прежде всего для самого себя, вызывающее на философские размышления — правильно ли жил, живет и как жить далее… И финальная сцена входа Антона в храм, но еще не приход его к вере по-настоящему, встреча и разговор со священником, который когда-то был обычным гражданином, работал инженером-конструктором, многое проясняет главному герою повести. Да, есть диалог, есть две точки зрения на жизнь, есть соприкосновения понимания ее разными людьми, и есть главное: Антон обретает себя как полноценный человек. Вот здесь и открывается то, чего не хватало ему на жизненном пути. А именно — понимания самого себя, ибо, как сказал ему отец Игорь: «Трэба слухаць сваю душу і сэрца. Праз іх ідзе шлях наш да ісціны».

Конечно, сказать, констатировать можно. Но как будет на самом деле? Но верится, Антон обретет себя. Ибо «толчок», данный ему на этом пути служителем культа, известен если не всем, то многим еще от дедов и бабушек, отцов и матерей, да и людей старшего поколения. Слышали, и не раз: дескать, прислушайся к себе, старайся жить, как люди живут, не делай зла и т. д. Ведь не только сказанное священником, а и многое иное, о чем твердит Священное Писание, веками живет в народе, помогло ему выстоять в самых суровых испытаниях. (А здесь, казалось бы, всего-навсего какие-то личные неурядицы, а заставляют задуматься, свое ли место он занимает среди людей.)

Здесь уже ничьи поучения ему не нужны: думай сам… И как показывает писатель, прежде всего именно сам человек должен искать свой путь и находить его. А люди, заметив его доброту и честность, конечно же, помогут в этом. Здесь важно прийти к себе. И здесь священник только констатирует это, ведь он и сам некогда сначала пришел к самому себе, а потом уже к вере. А вера плохому не учит…

Прекрасная эта повесть, «Рубеж». О жизни настоящей. А настоящую жизнь писатель Иван Копылович знает не понаслышке. Не хочется говорить без разрешения автора о его личной жизни, но одно могу отметить: это жизнь необычайно мужественного человека. И он, как настоящий художник слова, как и многие наши писатели его поколения, да и не только его, в своем творчестве всегда был в самой гуще жизни народа. Это важно отметить в связи с тем обстоятельством, что в наше время, например, многие так называемые писатели как раз и идут мимо жизни как таковой, играя с читателем, да и с ней самой. И тенденция эта довольно заметная…

Впрочем, эта тема иного исследования… Я же сейчас обращу внимание читателя на следующую повесть книги Ивана Ивановича Копыловича. Называется она «Ураган». В ней — герой тоже ищет себя. Вот только в иной ипостаси, и посыл поиска там иной. В «Рубеже» — поиск духовности, как жизненного ориентира. В «Урагане» — прежде всего поиск физического спасения себя. И время несколько иное, так называемое доперестроечное. Хотя главный герой Глеб в чем-то такой же, как и Антон из «Рубежа». Родившийся и выросший в деревне — в зрелые годы горожанин. Но не журналист, а заводской парень. Ему, казалось бы, и жизнь изучать не надо, как Антону, он прошел армию. А эта школа жизни в те времена была особенная. Служил он, Глеб, в ракетных войсках. В начале повествования живет в общежитии. А там — свой мир. Там ежедневно, ежечасно сталкиваются самые разные жизненные понятия. Там и сознание

будто бы и рабоче-классовое, если официально, но все еще иное, — большинство ребят и девчат, работников завода, оторвавшись от земли, от деревни, не стали горожанами, рабочими. Впрочем, как и он.

Это писатель подмечает довольно точно, создавая атмосферу того времени, когда в 50—60-х годах молодежь стремилась уйти из деревни в город. И. Копылович показывает причины такого ухода. Это — тяжелый по тем временам и почти бесплатный труд на селе. И так же, как и в предыдущей повести, — нередко пренебрежительное отношение начальства и уже выбившейся «в люди» некоторой части бывших сельчан к тем, кто там, на земле…

Но оставим это уже известное из «Рубежа». Сейчас нас интересует судьба главного героя «Урагана». Еще бы, преуспевает Глеб. В начальство выбился. Ему уже и квартиру дают. А он… возвращается в деревню.

Нет, не по причине ностальгии. Жизнь показала, что ею в реальности «болели» далеко не все горожане, бывшие сельские жители как лирические герои авторов стихов и песен да персонажи рассказов, повестей и романов многих литераторов, вышедших из деревни. В нашей литературе особенно это было заметно в творчестве литераторов поколения Ивана Ивановича. Впрочем, вполне понятно: эти литераторы, придя в город из деревни, где все казалось простым и понятным, неожиданно столкнулись во многом с иным укладом жизни, иными правилами поведения, отношений между людьми…

Так вот, в описываемые И. Копыловичем времена ностальгия у его одногодков-литераторов по деревне была необычайная. Дошло до того, что читатели, сам слышал, не выдерживали: «Так возвращайся, поэт в деревню!..» Конечно же, никто не хотел возвращаться… А вот Глеб, не поэт и не прозаик, а рабочий человек (ладно, что хоть и небольшой, а начальник, который мог возглавить цех), возвращается. Возвращается потому, что так советует врач ему, служившему три года в армии в сложных условиях и потерявшему там здоровье. Дескать, деревня, воздух, земля, все чистое на ней спасет тебя… И вот перед отъездом Глеб навещает брата, успешного юриста, городского жителя, который, между прочим, очень грустит по деревне.

«З’едзеш — і я засумую. Па сутнасці, апроч цябе, у мяне тут ніводнай роднай, блізкай душы. Ёсць сябры, калегі, знаёмыя, добрая сям’я, каханая жонка. Дзеці. Але хіба яны заменяць цябе?» — говорит ему брат Геннадий, и мы запомним это…

И здесь же его, Глеба, рассуждения, который «…разумеў брата: туга па Палессі, людзях, сярод якіх вырас, пасталеў, з гадамі не меншала, не знікала, а ўвесь час жыла ў ім. І Генадзь не-не ды і вырываўся на дзянёк-другі да бацькоў, каб пераначаваць у бацькоўскай хаце — старой, накрытай гонтаю, якая парасла кароткім, слізкім імхом».

Для ностальгии этого мало?.. Тогда добавим это: «Зімою ён абавязкова загляне ў школу, каб адчуць дыханне юнацкай пары, папрасіць у выкладчыка фізкультуры лыжы і па старой звычцы пайсці на лыжах у поле, у блізкі ад вёскі лес… На вуліцы ён сустракаў аднавяскоўцаў. Якія скардзіліся на сваё жыццё, на тое, што чыноўнікі крыўдзяць іх, прасілі заступіцца, і Генадзь ніколі не выкручваўся, калі можна было — дапамагаў».

Вот это «чыноўнікі крыўдзяць» в отношении к сельским жителям во времена, описываемые автором, было довольно распространенным. И природа этого явления, между прочим, была четко раскрыта в нашей литературе тех времен. В произведениях одних авторов — осторожно, у других ярко, хотя, отмечу, в те времена давать оценку в литературе подобным явлениям не очень приветствовалось. Критиковать можно было чиновников самого нижнего звена, типа бригадиров, и то не очень…

И. Копылович, в принципе, и не критикует. Он показывает: думайте, зачем и почему. (Кстати, об этом — во всех трех повестях книги.) Наверное,

это — прежде всего по причине человеческой психики… А как еще, если не унижая человека труда, мог утвердиться в должности иной никчемный во всех отношениях человечек?.. Как и чем он мог возвыситься над другими?..

А новая генерация чиновников пришла несколько позже. И наступало время, когда вырос образовательный и культурный уровень общества. И многие чиновники стали побаиваться возвышаться над людьми через свое хамство, грубость, чванство и т. д. Появилось следующее: утверди себя делом да отношением к людям… Хотя и многое осталось... Как, к примеру, местное руководство родной Глебу деревни, хозяйства, да и школы, в которой он учился, кажется, осталось прежним в своем отношении к людям…

Пришел Глеб, специалист с высшим образованием, к председателю правления колхоза к Сымону Платоновичу, который знал его с детства, проситься на работу, а тот посмотрел на него, как на умалишенного. Еще бы: «…дзе гэта бачна, каб нехта з гэтакай пасады, са сталіцы, як тапелец, пёрся ў палесскую глухамань? Вунь у яго, у старшыні, дзве дачкі, і хоць адну ён прыстроіў тут, у вёсцы?»

Короче, Сымон Платонович «сосватал» его на должность председателя сельсовета, между прочим, выборную. А вот директор школы, которого Глеб тоже знал с детства, был недоволен: а нужен ли здесь бывший ученик, который, может быть, займет его должность…

В повести есть и конфликты, как говорят, местного значения, и попытка Сымона Платоновича «приручить» Глеба как руководителя сельсовета. Более того, Сымон Платонович хочет отдать за него свою дочь. Женится Глеб на дочери председателя — тот обеспечит ему прекрасную жизнь: дом, деньги, иные блага. Но Глеб не спешит поддаваться, с тактом объясняя, что у него проблемы со здоровьем… А живет он пока в родительском доме рядом с братом, с односельчанами, среди которых жил, пока не уехал в город. И возвращение его на малую родину, так сказать, вынужденное. Подчеркну, что пресловутая ностальгия здесь ни при чем…

Глеб постепенно «возвращается» к деревенской жизни. Вскоре даже строит свой дом. А еще: встречается с девушкой, которую помнил со школы и которая, кажется, его не забыла. Ее он и взял в жены. И родила Катерина ему двоих сыновей…

Повесть охватывает большой период в жизни главного героя. За это время многое изменилось и произошло в его жизни. А главное — выросли сыновья, и с одним случилось непоправимое…

Писатель Иван Копылович умеет сочувствовать своим героям, проникать в их внутренний мир, умеет вызвать в читателе сопереживание. А еще приглашает посмотреть нас на жизнь с самых разных сторон. Он показывает ее такой, как есть, многогранной, не подгоняя под литературные шаблоны. Он во всех своих повествованиях от начала до конца придерживается правды жизни, дорожит ею, не признает фальши. И как психолог И. Копылович писатель своеобразный: поступки его персонажей не надуманные, хотя часто и не продуманные тщательно. Чаще всего они — следствие совестливого, откровенного и лишенного зависти к другим восприятия жизни.

Не знаю, это у Ивана Ивановича от врожденного писательского таланта — остро чувствовать жизнь во всех ее проявлениях, или от приобретенного опыта многолетней журналистской работы… Не в этом суть. Главное, что писатель в каждом своем произведении, и не только в этих, из которых состоит книга, а и во всех предыдущих, написанных им за десятилетия творческой жизни, остается неравнодушным ко всем жизненным процессам, к самой жизни. И жажда жизни у его героев вроде и припрятанная, а все равно хорошо ощущается. И не важно, кто по профессии его персонажи, как и не важно, сельские или городские они жители.

Важно иное: какие они люди… В этом, в частности, убеждаешься, чи-

тая повесть «Правінцыялка». Это произведение автор посвятил своей матери. А она из поколения тех наших матерей, на долю которых выпали самые тяжелые жизненные испытания военного времени, да и после, когда восстанавливалась послевоенная жизнь, — тоже. Это не только, как в первом случае, смертельная опасность им и их детям, не только слезы многих из них по утраченному личному женскому счастью, это и бытовая неустроенность, и, как во втором случае, — горечь и трудности в мирной жизни, когда на первом плане — общее, а потом уже свое.

А свое, оно и есть свое. Горестное, полное страданий, непоправимых бед… Жизнь ее, провинциалки, почти прожита. И прожита нелегко, но с честью и достоинством. И казалось, сейчас, на склоне лет, женщине радоваться бы, что в конце концов все наладилось. Но нет… Умирает от тяжелой болезни в 38 лет дочь, оставив сиротами двух малышей, рожденных от второго брака, и старшего — от первого мужа-пьяницы. И если у этих есть отец, то как быть с первым?…

Непростая жизнь Надежды открывается нам в повести. Открывается ярко — смотрите, что со мной сейчас, и какой я была на протяжении всей своей прежней жизни… И тогда я отдавала всю себя, свой труд людям, и сейчас…

Нет, открыто Надежда не исповедуется, ей это и не нужно. О личном она не сетует, если бы не страдания и горе. Личное для нее и есть личное, а вот что подумают, скажут о тебе люди… Ведь и слово, «приклеенное» к ней одним чиновником, «провинциалка» несет в себе много самых разных оттенков. А коль так, ты, читатель, словно призывает писатель, сам рассуди, что в этом слове для «приклеившего» его к ней и для нее самой…

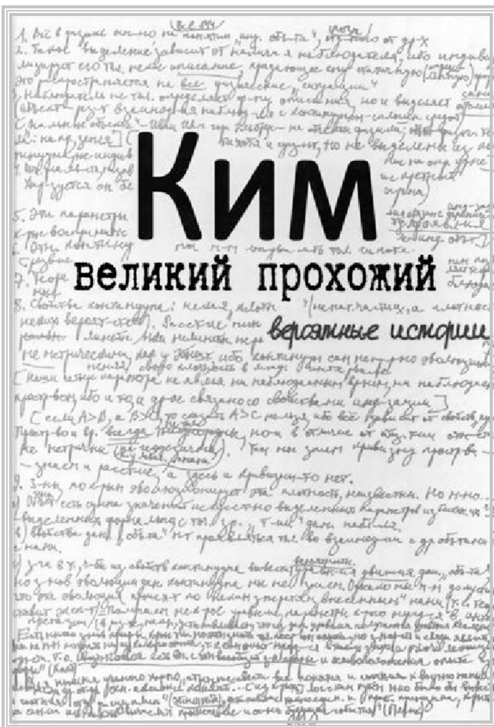
В свое время публикации этих трех произведений в журнале «Полымя» вызвали у читателей и коллег по перу самые теплые отзывы. Иван Иванович Копылович — известный литератор, по праву стоит в ряду наших ведущих мастеров слова. Оставаясь преданным своему предназначению — созидать, Иван Иванович Копылович заслуживает быть, как и прежде, читаемым и почитаемым.

Владимир САЛАМАХА



С точки зрения рецензента

Попытка найти истину



«Лимариус» подарил читателю неожиданную книгу — рассказ более пятидесяти авторов об одном уникальном человеке *(Ким. Великий прохожий. Вероятные истории / сост. Александр Сушков, Елена Будинайте. — Минск: Лимариус, 2019. — 404 с.: илл.)*. Сборник памяти «Ким. Великий прохожий. Вероятные истории» (составители — Елена Будинайте, Александр Сушков) восстанавливает образ легендарного минчанина Кима Хадеева (1929—2001), последние свои годы жившего в одном из домов по улице Киселева.

Кто он — Ким Хадеев? Человек, которого все знали? Человек, к которому шли поэты, драматурги, сценаристы, режиссеры? Человек, который, чтобы выжить, писал диссертации будущим кандидатам и даже докторам наук? Который писал чужие монографии? Который, который… Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов закончил ту же, что и Ким Хадеев, школу. Вот что пишет об этом известный культуролог Юлия Чернявская: «Выпускники, включая и Кима, вспоминали школу добром: даже песни о ней слагали, трогательные и настолько слабые, что становится ясно: его рука к этим текстам не прикасалась. Сейчас 42-я гимназия носит имя Жореса Алферова, однокашника Кима. Вспоминая о школе в одном из своих интервью, нобелевский лауреат говорил: «Я что? Вот Ким!»…

В 1949 году студент филологического факультета БГУ Ким Хадеев был арестован за публичное выступление с трибуны, выступление против Сталина. Спустя некоторое время после собрания Ким был арестован и помещен в Ленинградскую тюремную психиатрическую больницу… Вот как об этом рассказывал сам Ким: «В сорок девятом году в первых числах января был балет Золотарева. Значит, такой драмбалет. Золотарев был учеником Римского-Корсакова. Это было государственное мероприятие. Это был второй белорусский балет. Нас тогда, троих студентов университета, попросили выступить. Мне было девятнадцать лет и два месяца. Мы выступили. Нас обвинили в формализме и космо-

политизме. Двое других покаялись. Вместо того чтобы покаяться, я на комсомольском собрании факультета (причем сделал это сознательно, не от истерии, — я не хотел жить в стране, где от убийства людей переходят к убийству идей) выступил с призывом к убийству Сталина. После этого меня еще месяц держали, наблюдая, есть ли кто-нибудь вокруг меня. Вокруг тогда уже никого не было. Потому что только три человека осмеливались со мной здороваться. Это известный в Минске Коля Крюковский, Володя Нехамкин и Наум Кислик. Потом меня отправили напрямую, естественно. Но поскольку, так сказать, мое выступление было уж слишком чудовищным по тем временам, то меня отправили одного, как нормального психа, в Ленинград, где я провел, как ни странно, одни из лучших лет своей жизни в смысле общения и информации. По сути это был осознанный шаг. При том, что я тогда был звездой университета. Все у меня складывалось идеально благополучно. Начиная с сорок восьмого года, с компании борьбы с космополитами, с нападения на идеи, я почувствовал, что попал в мир, который надолго и в котором я жить ни при каких обстоятельствах не хочу. Я понимал, что это бессмысленный шаг. Но от таких бессмысленных жестов остается хотя бы память. Я тогда получил пятнадцать лет «крытки». Потом подох Сталин, и через полтора года нас выпустили. Мои тюремные университеты. Мне здесь еще повезло встретить фантастически интересных, много знающих людей. А во-вторых, я нарвался на огромную билиотеку. А в тюремных библиотеках нам давали все. Говорили: «Вы, фашисты, все равно не выйдете, поэтому вам все можно». То есть, мы имели все, что было запрещено на воле. Появился я в Минске в пятьдесят четвертом после первой посадки, вернулся в него. А в шестьдесят втором на полтора года загремел в тюремную "психушку"…»

Второй арест был в 1962 году. Вся его жизнь — история сопротивления яркого человека существующей системе, существующему укладу жизни. Он мог быть ярким философом, способным затмить множество академиков и разных премий лауреатов. Он мог быть писателем (Он и писал свой раблезианский роман всю жизнь. И когда понял, что идет не той дорогой, уничтожил 700 страниц текста!), которого уж точно читали бы и боготворили. Он мог быть проницательным литературоведом (когда-то «Дружба народов» опубликовала его яркую рецензию на два сборника стихотворений Юрия Кузнецова)… Впрочем, он и жил, существовал во всех этих ипостасях — философа, литературоведа, писателя. И даже — экономиста, каковым его сделало новое время, переворачивавшее мир рычагами советской перестройки. Вот только не было книг с его именем на обложке. Он проговаривал свои теории — «двоичности» или «навстречности» — не с академических трибун, а в своей и чужих квартирах. Сохранилась запись его 24-часового философского монолога. Может быть, эта запись его теории станет книгой, выйдет к читателю, подскажет что-то мыслителям сегодня и завтра?..

Сборник «очерков памяти» полон притягательных историй. Люди, знавшие Кима, говорят свободно, легко, в большинстве своем не стремятся рассказывать о самих себе в своей сопричастности с легендарным минским жителем. В трех главах — «Группировка», «За столом с Богом» и «Уходящая натура» — в «проекте памяти» о Киме Хадееве говорят Лариса Будинас, Алла Левина, Юлия Чернявская, Адам Глобус, Николай Захаренко, Сергей Заблоцкий, Дмитрий Строцев, Ольга Любич, Римма Володько, Юрий Зиссер, Леонид Хоботов, Ян Пробштейн, поэты, переводчики, режиссеры, ученые…

Все по-разному входили в жизнь Кима Хадеева… Все по-разному сосуществовали с этой маленькой планетой по имени Ким. Уходили от него и возвращались. Исчезали и находились. Были разные истории…

Но каждый запомнил себя в сопричастности с Кимом.

Юлия Чернявская: «С Кимом меня связывают долгие годы диалога — начавшиеся при его жизни, продолжающиеся после его смерти. Долгие годы близкой дружбы: верности, любви, неохватного тепла и понимания. «Мы с тобой одной крови», — говорил он мне. А другим: «На старости лет я обрел семью», имея в виду нас с Юрием Зиссером, нашу дочь Женю, наших друзей Олега Трофимовича и Славу Сащенко, и даже нашу дворнягу Лушу».

Алла Левина: «Для меня Ким был не миф, а реальный человек, знакомством и общением с которым отмечена лучшая пора жизни — молодость.

И в то же самое время он остается для меня загадкой. Когда я слышу его имя, я тотчас вижу его. Не с седой бородой, кашляющего, немолодого, а того, каким увидела его возле «Табаков» — молодого, симпатичного, с выбивающимися из-под берета черными, слегка вьющимися волосами, с неизменным мундштуком во рту…»

Лариса Будинас: «Мы очень много и тесно общались. Это был единственный человек в моей жизни, который мог объяснить все что угодно — доступно и очень индивидуально. А мог, кстати, наевшись борща, приготовленного моей сестрой, благоговеющей перед заумным интеллигентом, затянуть до слез украинскую песню. Кстати, моя сестра была из тех женщин, которые обожали Кима, как любимое дитя. Этот ребенок-мудрец провоцировал их на неистовые проявления материнской заботы, когда желание накормить, обогреть, почистить превращалось в легкую одержимость».

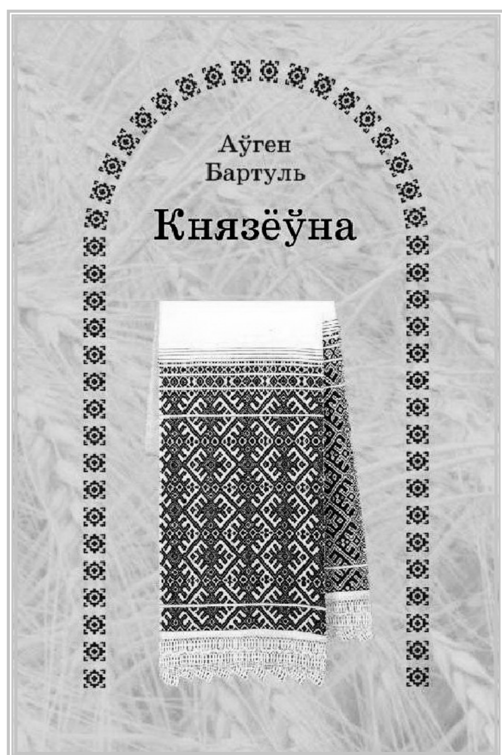
Вспоминают даже о том, что философ, культуролог и, пожалуй, первый представитель минского андеграунда Ким Хадеев участвовал и в составлении, написании программ экономического развития страны. Об этом подробно пишет Эдуард Эйдин («Уходящая натура»).

Сергей ШИЧКО



С точки зрения рецензента

Запрет, который стоило ли нарушать?



В литературе любой страны есть сотни, если не тысячи имен, которые малоизвестны читателю в силу различных причин. Книга «Князёўна» (Мн., «Кнігазбор», 2017) — сборник произведений Евгения Бартуля — открывает имя забытого западнобелорусского поэта (1890—1900-е — после 1947 гг.).

Это единственный существующий сборник автора. О самом поэте известно чуть более чем ничего. Неизвестна точная дата его рождения, а также дата смерти, так как сведенья о нем пропали, как только он уехал за границу. Был общественным деятелем, из тех, кого называли националистами.

Помимо прочего, Евгений Бартуль был писателем. Если точнее, поэтом. Вот только профессиональным писателем назвать его сложно, ведь при жизни не вышел ни один его сборник, а тот, что вышел, появился только сейчас, спустя сто лет со дня рождения автора. Учитывая мнение о нем как о националисте, который хотел, чтобы Беларусь была отдельной страной и чтобы в ней говорили по-белорусски, можно предположить, что ему просто не давали печататься. Но прочитав сборник, мне кажется, что проблема не в его политических взглядах, которые можно назвать контрреволюционными, националистическими и так далее. Дело в другом.

Евгений Бартуль, к сожалению, приходится констатировать, откровенно скучный поэт. Да, он писал по-белорусски, да, у него много стихотворений, где он напрямую говорит о белорусской государственности, но разве одно это делает его хорошим поэтом?

Стоит ли вытаскивать из небытия произведения человека, который сам бросил писать, и более того, запретил их печатать? Даже несколько раз судился по этому поводу. Мне кажется, что сам Евгений Бартуль оценивал свои поэтические способности гораздо более здраво, чем Сергей Чигрин, составитель сборника, который на полном серьезе называет Евгения Бартуля хорошим поэтом романтического направления, но при этом сам же приводит в пример строчку «бунтавала

кроў бунтарная», что является тавтологией.

Повторение одинаковых приемов — главная болезнь Евгения Бартуля. Писатель постоянно использует одни и те же сравнения и эпитеты: як срэбра, як золата, залаты, сярэбраны. От слова «аксамітны» рябит в глазах. Это признак отсутствия фантазии, что для поэта и писателя — смертный приговор, ведь они становятся известными как раз благодаря необычным, ярким образам, которые врезаются в память раз и навсегда. Евгений Бартуль словно и не пытается быть оригинальным. Его стихотворения буквально пестрят цветами, но из-за того, что он использует их в каждом втором стихотворении, многоцветие блекнет, оставляя после себя только шелуху осыпавшихся лепестков.

Наиболее ярким примером такого отсутствия фантазии могут служить стихотворения «Русалкі» и «Машэка». Оба эти стихотворения можно назвать романтическими, ведь в основе первого — народная мифология, а во втором на первый план выводится образ сильного героя-бунтаря, который погибает в конце при трагических обстоятельствах. Вот только проблема в том, что к двадцатым годам XX века все это уже настолько истерлось и потеряло актуальность, насколько в принципе это возможно. Стихотворение «Машэка», которое почему-то в предисловии названо поэмой, — очень слабое подражание «Магіле Льва» Янки Купалы. Машека тут выступает не спорным, неоднозначным персонажем, а героем-защитником, одномерным и неглубоким, что сводит на нет даже тот минимальный интерес, который может возникнуть у читателей сборника «Князёўна», проведшим параллели с поэмой Янки Купалы.

Помимо стихотворений в сборнике также есть одноименная пьеса — о Рыцаре, который борется со злыми ведьмами, усыпившими Княжну. Но даже тут Рыцарь приезжает именно в серебряных доспехах на золотом рассвете, ведь ничего другого западнобелорусский поэт придумать не может, а эти образы он уже тысячу раз проверил в своих похожих друг на друга стихах. В предисловии про пьесу сказано мало, но если честно, про нее лучше не говорить совсем, потому что это откровенно слабое произведение.

После прочтения сборника напрашивается один вывод, который, как мне кажется, стоит услышать: далеко не все, кто писал по-белорусски и продвигал национальные идеи, стоят того, чтобы сейчас переиздавать их сборники. Не все белорусскоязычные писатели должны попадать в пантеон классиков. Мы же не уделяем внимания всем тем авторам, которые выкладывают свои произведения на samlib'е или стихах.ру. Девяносто девять процентов там — электронная макулатура, которая не стоит внимания. Какие же критерии оценки необходимо применять к затерявшимся в прошлом авторам? Сергей Чигрин надеется, что названная книга станет лишь первым сборником «забытого литератора». Евгений Бартуль запретил издавать свои произведения. Так к кому же из них стоит прислушаться?

Тимур ВЫЧУЖАНИН



Память

Старинная церковь живет

Если случится вам проезжать по дороге, ведущей через Узду на Копыль, — сбавьте скорость перед знаком «Цялядавічы» и через пару сотен метров, перед новым прочным мостиком, взгляните налево — вы увидите... Что за чудо? Сине-золотой град Китеж, что ли, встал со дна зачарованного озера?.. А ведь похоже — хотя мы, цивилизованные, давно уже не верим в прекрасные легенды. Это старинная церковь Святой Живоначальной Троицы с малой зимней церковью и часовней, а облеклось все это такой красой несказанной недавно — заботами нынешнего настоятеля церкви, благочестивых спонсоров и трудолюбивых прихожан.

Не пожалейте немного времени — сверните на дорогу, ведущую туда, в этот особый малый мир; поздоровайтесь с теми, кого встретите возле церкви; если возможно — зайдите в нее. И тогда, может быть, ваш взгляд на жизнь станет немного иным...

Если это произойдет летом, ваш глаз порадуется веселому разноцветью клумб внутри ограды, сложенной из простых камней. Эта цветочная радость — дело рук матушки Ларисы и ее помощниц-монашек. Ваше внимание привлечет большой мраморный крест перед церковью, установленный недавно, к ее 220-летию: он расскажет вам о ее настоятеле *о. Валериане Новицком*, пострадавшем за веру в недоброй памяти 30-м году прошлого века. Немного подальше, слева, в глубине церковного двора, встретится вам одинокая могила с табличкой на простом кресте: «Священник Василий Новицкий (1870—1922)».

Почему помнит этих Новицких старинная церковь, много чего повидавшая за века своего трудного существования? Об этом полезно, и даже нужно, узнать — если мы *не чужие* на своей земле.

На исходе XIX века старший Новицкий, Василий Дионисиевич, окончил Минскую духовную семинарию, служил священником в нескольких церквях Минского и Слуцкого уездов, а с 1909 года — настоятелем церкви в селе Телядовичи. За верную и беспорочную службу награждался особыми церковными знаками отличия — набедренником и скуфией. У них с матушкой Людмилой Николаевной было шестеро детей: четыре сына и две дочери. Старшим был Валериан, 1897 года рождения. С малолетства влек его к себе Храм Божий, радовала красота богослужений — потому и ясным виделся ему жизненный путь: по окончании духовного училища поступил он в Минскую духовную семинарию и готовился просто и естественно продолжить дело отца.

Не получилось — просто. «Век мой, зверь мой» решил иначе. В 1918 году семинария была закрыта постановлением богоборческой власти. В 1921-м Валериан поступил на юридический факультет только что открывшегося Белгосуниверситета. Сложно представить, что происходило в сознании молодого человека в эти три года... Окончательное решение, вероятно, было таким: не дать выбросить себя из жизни, и если нельзя продолжить духовное образование, то надо получить хотя бы достойное светское — и быть полезным людям как добросовестный служитель закона (если не Божьего, то справедливого человеческого). Однако учиться пришлось недолго. В 1922-м умер отец, и Валериан оказался перед труднейшим выбором, от которого зависела вся жизнь. Найти свое место в жизни мирской? В те годы это было еще возможно: дети священников пока не преследовались слишком жестоко. Или, как всегда хотел, последовать за отцом в служении Господу?.. А времена для Церкви наступали страшные...

Были ли колебания в душе сына священника — этого мы никогда не узнаем. Думается, что их и не было:

вскоре он был рукоположен в иереи и назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви в селе Телядовичи Копыльского района — стал прямым преемником отца. Когда у о. Валериана потом спрашивали, почему он сделал такой выбор, он отвечал: «Надо спасать веру». Такие слова не говорятся всуе — за них надо отвечать жизнью, и он это понимал... И стал добрым пастырем и прекрасным проповедником. Во всем поддерживала его замечательная матушка Доменикия; в любви и согласии родилось у них трое детей...

Семь лет прослужил о. Валериан в Свято-Троицкой церкви. Но какие это были семь лет!.. Местные власти намеревались забрать церковь под хранилище зерна, но люди свою церковь отстояли — до поры до времени... Вовсю была развернута оголтелая антирелигиозная и антицерковная пропаганда. Приход сокращался, а налоги росли; семья священника выживала на грани нищеты.

«Пустыми» призывами отречься от Бога и Церкви власти не ограничивались. Крестьян чуть ли не насильно загоняли в «антирелигиозные кружки», где требовалось разыгрывать кощунственные «спектакли», оскорблявшие чувства верующих. О. Валериан отказался совершать требы для тех, кто издевался над церковью, — это был прямой долг честного священника. Своим примером и даром убеждения он сумел вернуть к вере немало людей... но к нему уже давно присматривались — «те, кому следует»...

И тут грянула коллективизация. Крестьяне отнеслись к ней с настороженностью и даже неприязнью. Они не ошиблись: самую здоровую их часть ждало разорение, а потом и высылки целыми семьями — на верную гибель... Дело «создания коллективов» продвигалось туго, и понадобилось срочно обнаружить «корень зла». Он был «найден»: высказывания о. Валериана против «антирелигиозных кружков» были объявлены агитацией против колхозов, поскольку те кружки числились обязательным «звеном» в новообразованных коллективах.



При обыске у о. Валериана нашли неосторожное письмо к родственникам в Западной Беларуси, входившей тогда в состав Польши: «С каждым днем становится все хуже... У меня нет мысли бросать священство, но страшит близкое будущее — голод для детей... Имеете ли вы, дорогие мои, хотя бы смутное представление о том, что делается у нас?.. Обновленчество[1] у нас не привилось. Нами управляет владыка Николай Слуцкий, он недавно от нервных потрясений совсем оглох. В Минске отняли кафедральный собор и женский монастырь. Если у нас церковь займут под клуб, придется могилу папы сровнять с землей, крест и ограду снять, чтобы не было поруганий...» Такой «крамольной» правды власти, конечно же, потерпеть не могли...

14 января 1930 года о. Валериан был арестован и заключен в слуцкую тюрьму. На допросах он не признал себя виновным и никого не оговорил. Больше месяца содержался он там и подвергался усиленной «идейной обработке»: ему предлагали отречься от сана и публично заявить об этом через газету. Когда матушка Доменикия приехала навестить его в тюрьму, свидеться им не дали. Удалось лишь передать записку: «Диночка! Мне для сохранения жизни предложили отречься от Бога и от священнического сана. Я отказался. Как ты справишься одна с детка-

[1] Движение в среде духовенства, объявившее о согласии с советской властью и сотрудничестве с ней.

ми?» Матушка, как всегда, оказалась достойной своего мужа. Она ответила: «Валечка! Не отрекайся ни от Бога, ни от сана. Мне поможет Господь». Это были их последние слова друг другу.

23 февраля 1930 года священник Валериан Новицкий без суда и следствия был приговорен к расстрелу. О последнем дне его сохранился — промыслительно — рассказ, записанный одной его родственницей: «В конце 70-х годов умирал убийца о. Валериана, проживавший в деревне Гута Копыльского района. Перед смертью совесть не выдержала, и он признался, как были вывезены в тимковичский лес трое. Двое из них были в подрясниках и с крестами на груди. Один из них был о. Валериан. Им еще раз предложили отказаться от веры и от сана. После того как они отвергли это предложение, их заставили собственноручно вырыть себе могилу и затем расстреляли». Было священнику Валериану, исповедовавшему Христа «даже до смерти», 33 года...

Захоронение в лесу под Тимковичами не найдено до сих пор.

О жестокой кончине мужа матушка Доменикия не узнала: «народная власть» не торопилась рассказывать о себе правду — видимо, «из милосердия»... Дальнейшая судьба Доменики Игнатьевны Новицкой и троих детей заслуживает отдельного рассказа. Здесь можно сказать только одно: самые страшные трагедии — те, что написаны самой жизнью...

Через много-много лет все пережитое высказалось у сына Евгения такими строками:

Темные тучи над нами сгущались,
В памяти с детства — те страшные дни:
Как нас с отцом навсегда разлучали,
Выслали мать — мы остались одни...

Мне тогда жизнь казалась загадкой:
Злых — черной птицей несла на подъем,
Многим другим — долей стала несладкой,
Третьих — рубила жестоко крылом.

Как ты, любимый отец, был нам дорог!
Как с той поры не хватало тебя!
Скорбный твой путь был жесток и недолог:
Веру сберег ты, не предал Христа.

Мама, я помню: стоишь на распутье,
Вслед нам тоскливо глядишь...
Знаем, родная: что б ни случилось,
Ты нас, детей, сохранишь.

В трудах и заботах покоя не знала —
Бывало, всю ночь напролет...
Нас вера, надежда, любовь согревала —
И Бог не оставил сирот.

Еще очень долго семья продолжала ждать и надеяться. После настойчивых обращений Доменики Игнатьевны Новицкой в Прокуратуру СССР священник Валериан Новицкий в 1957 году был реабилитирован — верная матушка отстояла доброе имя супруга, сняла с него клеймо «врага народа»... Некий «благодетель» подослал письмо о том, что о. Валериан жив и должен скоро вернуться — жестокое «утешение»... Обрадовались чрезвычайно, продолжали ждать... Ждала до самой своей смерти в 1976 году Доменика Игнатьевна. Не узнала правды и младшая дочь Нина, рано умершая. Только в 1992-м старшие дети Ирина и Евгений получили официальный документ о расстреле их отца Валериана Васильевича Новицкого.

Юбилейным Архиерейским собором 2000 года о. Валериан Новицкий причислен к лику новомучеников и исповедников Российских.

Старинная церковь после гибели молодого своего настоятеля все-таки уцелела, но жизнь в ней замерла на долгие годы. Одно время служил в церкви псаломщиком местный житель Юльян Михайлович Жилко. Его дочь, Татьяна Юльяновна Жилко, рассказала о трудной судьбе церкви после ее закрытия в 1930 году. В послевоенные годы постоянного священника долгое время не было, церковь была «приписной»: иногда приезжали священники из церквей Несвижского района. Но приближалась знаменательная дата — год 1988-й, тысячелетие Крещения Руси, и наступил новый этап в долгой истории Свято-Троицкой церкви. С 1986-го по 1997 год постоянно служил в ней о. Николай Миранюк. Под его руководством церковное здание «оживили»: покрасили, провели свет, восстановили разрушенную каменную ограду. В 1997-м настоятелем церкви был назначен о. Геннадий Корнев. Двад-

цать лет своей жизни отдал он военной службе, а настоящее призвание обрел вот здесь, в служении Богу и людям. В 1998 году было торжественно отмечено 200-летие Свято-Троицкой церкви с участием митрополита Минского и Слуцкого Филарета.

...Закипела работа в старинной церкви и вокруг нее. Обновлен был иконостас, написано несколько больших икон — традиционных, но среди них внимательно смотрит на нас и *новомученик Валериан*... Поскольку старинное здание не отапливается — была построена малая зимняя церковь, службы в которой идут от праздника Покрова до Вербного Воскресения. В притворе ее — большая деревянная скульптура ангела, созданная минскими мастерами. Построенная позднее часовня посвящена памяти новомученика Валериана; расписал ее образами святых сербский художник, приезжавший на лето в наши края. В ней есть колодец с чистейшей водой, и вода та непростая: со многих святых мест привозили прихожане и паломники по малой толике воды и вливали в колодец... Старое пустующее здание школы отремонтировано и используется для «административных» нужд: конечно, проще и дешевле было бы его разрушить, но столько уже всего порушено на нашей многострадальной земле... Эта школа ведь тоже памятник своего времени — с наивными гипсовыми фигурами детей, встречающими у входа. Пристраивается к нему «домашняя» церковь — зная размах, усердие и безошибочный вкус о. Геннадия, можно не сомневаться, что она достойно присоединится ко всему уже сделанному.

Любит настоятель телядовичской церкви свою духовную «вотчину» и делает все, что в его силах, чтобы стала она воистину благодатным местом. Но как известно, один в поле не воин. Есть у него «правая рука» — староста церкви Миладин, серб по национальности. Занесло добрым ветром человека к нам в Беларусь — и прижился он здесь, нам на счастье. Таких бы людей — да побольше. Строг на вид, неразговорчив, но энергии для добрых дел на десятерых хватит. Все нынешнее синезолотое великолепие храмового комплекса — во многом его золотых рук дело. Кстати сказать, он еще и отец шестерых детей. Это нашим «добрым молодцам урок».

Нельзя благодатному месту быть и без «братьев наших меньших»: на хозяйственном дворе живут козочки, воркуют голуби самых разных пород; нашли себе пристанище несколько бездомных собак и кошек — они-то умеют быть благодарными и несут свою службу с большим старанием.

Предполагается еще разбить возле храмового комплекса большой парк — и можно не сомневаться, что у хороших хозяев (это и администрация Копыльского района) одними намерениями дело не ограничится.

...Сколько ни рассказывай про телядовичский «град Китеж», поднявшийся из забвения и запустения, — лучше самим увидеть и прочувствовать такую, иную, жизнь...

А самое главное — прихожан с каждым годом заметно прибавляется. Ведь церковь — это не стены, даже самые прекрасные, а сообщество несуетных душ человеческих. На большие церковные праздники люди даже из Минска приезжают.

...Яркое августовское утро. Дорожка к дверям храма устлана травами и цветами. Много нарядно одетых людей в церковном дворе: это постоянные прихожане, но немало и тех, кто давно не бывал в своих родных местах, а сейчас вот приехали — узнают друг друга, общаются в ожидании службы. Праздничный колокольный звон. Девушки в народных «строях» встречают хлебом-солью епископа Антония в сопровождении копыльского священства. И наконец все вместе, радостно настроенные, заходят в храм. Так старинная церковь торжественно отмечает свое 220-летие... Жизнь продолжается.

В данном очерке использованы воспоминания Ирины и Евгения Новицких, Татьяны Юльяновны Жилко, материалы газеты «Церковное слово», «Жития», составленные игуменом Дамаскиным (Орловским).

Елена ЧИЖЕВСКАЯ

КОЖЕДУБ Алесь (Александр Константинович). Родился в 1952 г. в г. Ганцевичи Брестской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, Высшие литературные курсы в Москве. Автор книг прозы «Гарадок», «Размова», «Лесавік», «Дарога на замчышча» и других. С 1990 г. живет в Москве.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

ЖДАН-ПУШКИН Олег Алексеевич. Родился в 1938 г. в Смоленске (Российская Федерация). Окончил историко-географический факультет Могилевского педагогического института и Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг прозы для детей и взрослых. Живет в Минске.

БЕЦКО Анжела Михайловна. Родилась в 1968 г. в г. Барановичи Брестской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор поэтических сборников «В центре круга», «Яблоко», «Бражник», книги прозаических миниатюр «Про одну девочку». Живет в Минске.

КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Иосифович. Родился в 1981 г. в д. Вятеро Чашникского района Витебской области. Окончил Витебский радиотехнический колледж. В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в поселке Гатово Минского района.

КАЛИНИЧЕНКО Валерий Иванович. Родился в 1949 г. в д. Уборки Будо-Кошелевского района Гомельской области. Окончил Минский автомеханический техникум, факультет журналистики Белорусского государственного университета, Минскую высшую партийную школу. Автор нескольких сборников поэзии, романа «Обреченные на счастье», повести «Тайное голосование» и др. Лауреат нескольких литературных премий, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин Будо-Кошелевского района. Живет в Москве.

СЕМЕНЯКО Валентин Михайлович. Родился в 1963 г. в д. Лысково Пружанского района Брестской области. Окончил Гродненский государственный университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Автор сборников стихотворений «На скрыжаванні», «Зорка залатая», коллективного сборника поэтов Зельвенщины «Зоры над Зяльвянкай». Живет в деревне Князево Зельвенского района Гродненской области.

МАРШ Эдит Найо. Родилась в 1895 г. в г. Крайстчерч (Новая Зеландия). Окончила колледж Святой Маргариты в Крайстчерче, изучала живопись в школе искусств Кентерберийского колледжа. Писатель, театральный деятель, одна из «королев британского детектива». Автор более тридцати романов. Умерла в 1982 г. в Крайстчерче.